

ЮНОСТЬ

4'95

В номере:

Таисия Пьянкова
«ОНЕГИНА ЗВЕЗДА»
Сказ

Геннадий Головин
«ЖИЗНЬ ИНАЧЕ»
Повесть

Морис Метерлинк
«ПОГРЕБЕННЫЙ ХРАМ»



«Купание младенца». Холст, масло.



Надежда ЛЕБЕДЕВА

г. Москва

На первой странице обложки:
«Портрет дочери» (фрагмент),
холст, масло.

«Полночь». Холст, масло.



ЮНОСТЬ[©]



С. Красаускас. 1962 г.

Апрель (475) **1995**

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Елена ДУБЧЕНКО
заместитель
главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
Николай НОВИКОВ
главный художник
Юрий ПЕТЕЛИН
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заместитель
главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ

Редакционный совет:

Геннадий ГОЛОВИН
Сергей ДЫШЕВ
Сергей ЕСИН
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Буллат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР
Представитель журнала в Париже
Валерий ПРИЙМЕНКО



ОНЕГИНА ЗВЕЗДА

Сказ

Илька Резвун был еще каким подскокышем — у батьки своего на ладошке помещался, а уже тогда нырял да плавал по омутам-заводам речки Полуденки, что твой щуренок-непоседа. И все потому, что, опять же, батьку своего, Матвея Резвуна повторил.

Был Илька в семье, после сплюшного девчатника, пятым, каб не шестым приплодом. Зато последним. Потому, знать, и прирос он к отпову сердцу больше всякого сравнения. Селяне говорили, что раздели Резвунов хотя бы все той же речкой Полуденкой — вода меж ними чистой кровью возьмется!

Эта самая речка Полуденка больше всего и соединила их непоседливые души. Сам Матвей на речке таким был рыбаком да ныряльщиком, что, сказывали, меньков* под водою зубами хватал, а то брался пронырнуть из проруби в прорубь.

Шибко тому вся округа дивилась. А надивившись, похваливала. А похваливши, поругивала. Особенно изводились тревогою всезнающие старухи. Они-то и путали Матвея:

— Гляди, черт везучий! Кабы твоего задору-смелости да водяной не пресек! И чего ты все шныряешь по его наделам? Каку-таку заботушку потерял ты в речке Полуденке? А и правда ли нами слыхана, что сулился ты Живое бучало** скрозь пронырнуть? Чо ж, нырять-то нырни, да обратно себя верни. Хотя бы мертвым, — добавляли они и дальше стращали: — Не было еще

* Мень — самая скользкая рыба.

** Бучало — бездонный омут.

такого удалца, кому провал тот измерить довелось. Когда-никогда, а доныряешься! Расщелкнет тебя водяной, как сухое семечко!

— А может, я и есть тот самый водяной, что в Живом бучале обосновался? — как-то позубоскалил над чужими страхами Матвей Резвун. — Только скроен я не по привычным меркам. Разве вам не помнится, что пращурка моя, древняя бабка Онега, два века жила?

— Помнится. А то как же?

— Так вот, ежели б она свое бессмертие мне не передала, топтать бы ей землю и по сей день! Понятно? Поэтому я никаких глубин, никаких водяных не боюсь.

— Изгаляется над нами Резвун, — засуетилась меж говорух самая неумная стращалка Марьяна Лупашиха. — Вровень с недоумками ставит нас. Играется, вроде, с нами, старухами. Ничо-о! Доиграется бычок до веревочки... Ежели его из-под воды никто не дернет, так на бережок выбросит... Ведь мною чего слыхано: будто Матвей, ныряючи, рыбу под водой из чужих снастей выбирает! Он и сына своего Ильку тому же самому научает...

— Брось ты, Марьяна, золу поджигать! — тут же пресекли ее балкатню редкозубые товарки. — Чо ж ты греха не боишься? Не такой уж кот вор, чтобы кобылу со двора свел... Ежели не тобою самой придумана эка блажь, то какого-то лоботряса тянут завидки за язык. Наловивши, поди-ка, одних головастика, он от безделья и разбрасывает о Резвуне брехалки. А ты подбираешь...

— Так ведь мое дело дударево, — поторопилась оправдаться Лупашиха. — Я ить только дуду про беду, я к ней ноги не пришиваю. Но скажу и от себя: резвый конь подковы теряет. Помяните мое слово!

Вот ведь штука какая!

Будто на черных картах выгадала та Лупашиха подтверждение своему пророчеству.

Да и сам Матвей Резвун как бы почуял правоту Марьяниных слов. В ночь, как тому быть, пошел он с Илькою на сеновал отдыхать. Там и поведал он сыну тайну, что завещала ему пращурка Онега в последний час своей непонятной долгой жизни.

По словам Матвеевым получалось, будто бы древняя Онега, будучи еще в одних годах с теперешним Илькою, собственными глазами видела, как среди бела дня упала в речку Полуденку с высокого неба яркая звезда! Упала она туда, где верстах в трех от деревни, ниже по течению, в кольце Колотого утеса ныне таится то самое Живое бучало.

В свое время Онега не смогла всполошить народ своим испугом — свалилась замертво! И пролежала она без памяти аж трое суток. А после того долгое время владела ею немота.

Будучи безъязыкой, она и додумалась до того, что о звезде лучше будет вовсе молчать. Одно дело — никто не поверит, другое — могут приписать безумие, а и того хуже — святость! Кто ее тогда замуж возьмет? Никто!

Вот так и прожила древняя Онега свой чрезмерно долгий век с великой в себе тайною.

Может быть, с годами, накопивши сомнений, она и сама бы поколебалась в правде виденного. Однако с той самой поры правду ее просветляло то, что вода в провале, прежде стоялая, теперь время от времени оживала — как бы принималась дышать. Омут разверзлся широкой воронкою и всякий, кому выпадало быть тому очевидцем, бежал в деревню с криком:

— Бучало ожило! Снова хлебает...

И опять занимался тревогою народ! Гадали-перегадывали: не ворочается ли кто в провале настолько большой да неуклюжий, что и всплыть-то ему нету никакой возможности...

Когда Онегин век перевалил далеко за сто, сохраняя хозяйку в полной силе, сообразила она, что столь крепкую и долгую жизнь подарила ей полуденная та звезда за ее молчание! Поняла и веры своей до самой смерти из головы не выбросила.

А умерла Онега очень даже завидно.

Притомившись топтать землю, она признала в себе еще одну особенность: не избить ей века до той поры, пока она носит она в себе замкнутой великую тайну. Вот тогда-то древняя взяла и натопила жарко баню, выпарилась в ней, как душа того просила, обрядилась во все смертное, легла на лавку и попросила остаться возле себя одного лишь Матвея. Ему-то она и поведала сокровенное. А поведавши, померла...

— С той поры и взялся я нашу речку обживать, по омутам-заводям упражняться, — признался Матвей сыну, когда лежали они на сеновале. — Хотелось мне привыкнуть к воде настолько, чтобы до самого дна пронырнуть Живое бучало. Мне и теперь хочется верить, что не погасла навосе Онегина звезда! Вот и прикидываю я — не она ли ворочается в провале; пытается воротиться в небо? Не упомяну, сколько раз кидался я в омут, только достичь его предела так мне и не довелось. Не получился, выходит, из меня тот самый ныряльщик, который способен дать звезде подмогу. На одно теперь уповаю: может, из тебя получится...

Высказал Матвей такую надежду, обнял своего любимца, и скоро они засопели в два носа на весь вольготный сеновал.

Утром Илья распахнул глаза оттого, что мать тормозила да спрашивала его:

— Куда отец подевался, не знаешь?

Только за полночь, когда уже вся деревня полыхнула тревогой, бабу Лупашиху вдруг осенило. Вспомнила она, догадалась наконец:

— Так ведь то ж Матвей нонешней ночью да перед самым рассветом Полкана моего булыгой угодил...

И закрутилась старая меж людей — каждому взялась поднести по худому слову:

— Подхватилась я темной от собачьего визга. Не скотинка ли, думаю, чья шалава в огород мой заперлась да кобеля рогом поддела? Выбегла я глянуть. Присмотрелась, вижу — чей-то мужик берегом Полуденки в сторону омута ушагивает. Идет и на звезды широко-о крестится — ну точно, как перед смертью! Так до Живого бучала напрямик и подался. Теперь-ка вот я вспомнила, что левой рукою он точно так же помахивал, как Матвей Резвун. Ночью-то его маханье было мне ни к чему, а теперь понятно...

От лупашихинского понимания Резвуну пришлось водою отливать. Сестры ж Илькины в пять голосов так реванули, что парнишка в конопля кинулся. Забился он в те зеленя да и пробыл в них, сгорая душой, чуть ли не до новой ночи.

На закате Илья понял — не притуши он в себе слезою душевного пожара, пламя может охватить его голову, испепелить разум.

Однако парнишке показалось больно стыдным ощущать на своих глазах мокрень, оттого он и припустил к реке, оттого и бросился в ее глубину, где дал волю невидимым в воде слезам.

Нанырявшись до одури, Илья доверил свою уста-

лость волнам — дозволил реке нести себя неторопким течением куда той вздумается...

И надо же было парнишке очнуться от забытья да прямо против Живого бучала.

С трех сторон охваченный высокой подковою Колотого утеса, омут при закате отливал кровавым глянецом своего покоя. Крутом было тихо, безлюдно...

Не больно раздумывал Илья — доплыл до полового за скалой берега, вышел на песок, глянул на вершину утеса. Не раз и не два сиживал он на обрывистой его кромке — смотрел на стальной покой омутовой воды. Все прежние разы провел он там в ожидании — не покажется ли из глубины косматая голова чудища?

Но теперь, со слов отца, Илья понимал, что никакого чудища в провале нет. А если что и имеется, так скорее всего Онегина тайна. И что познавшему эту тайну держать ее надо при себе, иначе худо!

Вишь вот, затянуло Живое бучало Илькиного отпа, и ни единой морщинкою скорби не покорило его тяжелого покоя. Сиди теперь Илья не сиди над омутом, вряд ли дожидаться ему добрых перемен...

Однако Ильку, который успел за невеселыми думами подняться на утес, будто приморозило до каменного среза. Так и досиделся он над провалом до той поры, когда завспыхивали, заотражались в омутовой глубине страшно далекие звезды...

С каждой минутой подводное небо густело этими неведомыми огнями, мрак меж которыми густел и проваливался того глубже...

Вот и заподмгивали парнишке из черной бездны те огни — попробуй, дескать, пронырни до нас: может, здесь отыщешь своего отца? Ныряй же. Ну!

Понятно, что за отцом Илья нырнул бы до того самого, до поддонного неба. Только вот не пропустит омут. Не пропустит...

И тут вроде бы легкий ветерок пробудился внизу. Вспорхнул ветерок до парнишки, и в теплом его дыхании тот явственно распознал отцовский шепот:

— Пропу-устит!

Илья отпрянул от провала, неловко подвернулся, опрокинулся на спину и покатился безудержно с каменной крутизны к подножью Колотого утеса...

Весь в ушибах, царапинах опомнился он только внизу. Немного посидел, посоматражал — что к чему, и настырным неусеюдо полез обратно. Ему захотелось удостовериться — на самом ли деле была тому причина, чтобы так потерять себя.

Добрался Илья опять до крутого края, но садиться над обрывом не стал, а лишь голову повис над ним и замер в ожидании.

Сколь он там ни проглядел вниз, а вот и видит — вода в провале задышала! Будто огромная живая грудь заходила туда-сюда. Глубина омутовая вспенилась, взялась обильными пузырями, забурилась, закрутилась и раздалась посередке просторной воронкою...

Была бы внизу сквозная дыра, вода бы в нее устремлялась постоянным самотоком. Тут же и вправду выходило, будто бы кто-то огромный сидит в глубине и время от времени развешивает немеряную пустоту...

Пока Илья думал так, поверхность омута сомкнулась, ровно тот, кто сидел на дне, опомнился и захлопнул крышку.

Вот когда Илья задался отцовским рассказом всерьез: что как и в самом деле закатилась в глубину Онегина звезда?! что как ею заткнуло в омуте подземную протоку? Звезда ворочается там, рвется на волю, да не хватает в ней силы одолеть водяную тягу. Эвон какое жер-

ло-то просторное отворяется! А вода какво рвется вниз! Что как потоком этим да захватило отца, да унесло Бог знает куда? Может, сидит он теперь в какой-нибудь глубине, кличет на подмогу сына, а голос его из невидимой расщелины идет наружу. Эх, взять бы теперь Ильке да кинуться в ту широченную воронку! Вдвоем-то они с отцом уж как-нибудь выбрались бы наружу...

Вот какие отчаянные думы наложило на Илькино сознание! Отворись перед ним заново Живое бучало, он этих дум и отбросить бы не успел — так бы вниз головой и ринулся со скалы...

И Живое бучало отворилось!

Уже на великой глубине почуял ныряльщик, как вода сомкнулась над ним, завертела, закружила его малой соринкою, упрругим обвоем* потянула за собой — вниз, вглубь, в неведомое...

Скоро Илькина голова от бешеной карусели потеряла ясность, дурнота подступила к горлу, а там и вовсе — заволокло память безразличием...

Снова живым человеком понял себя парнишка тогда, когда осознал вокруг толщу совсем спокойной воды; ему оставалось только лишь разок-другой отдать ногами да руками гребануть, чтобы привычно подняться на поверхность, что Илька и проделал машинально. Вынырнул парнишка и сразу же почуял в душе досаду. Похоже было, что никуда ему пронырнуть не удалось. Видно, Живое бучало вытолкнуло его обратно к материнским слезам, непоправимому горю. Только вот над собою не увидел он ни тех небесных огней, ни черных в ночи стен Колотого утеса. Не почуял он и земной сумеречной прохлады. Да и слух его настороженный не уловил ни шуршания речной воды, ни дальнего бреха деревенских собак, ни близкого стрекота луговой кобылки...

По духоте, по тишине, его обступившей, Ильке показалось, что он вовсе и не выныривал из воды!

«Когда это столь плотная туча успела заполнить небо? — подумалось Ильке. — Ажно земля перед грозой задонхулась».

Подивился он спертому воздуху и размашкою пустился до невидимого во тьме предела, чтобы ощупью отыскать выход на реку.

Но никакого скорого предела перед собою он не обнаружил. Становилось похожим, что вынесло его потоком в какой-то неведомый простор, и теперь парнишке оставалось надеяться только лишь на везение.

Илька было уж забеспокоился всерьез, когда перед собой ущупал рукою плоский да ровный, вроде скамьи, камень. Парнишка вылез из воды, устроился на нем, стал гадать в какой-то такой глуши мог он оказаться за такое недолгое время, ничего не выгадал и потому решился подать голос: не вскинется ли на крик какая-нибудь чуткая собачонка? А повезет, так, может, откликнется запоздалый рыбак...

Никакая собачонка, никакой рыбак на зов не отозвались. Да и сам-то путем не расслышал своего голоса — так глухо прозвучал он в темноте. Зато, немного спустя, на крикуна обрушилась целая лавина отголосья, будто бы надумала дразнить его из темноты ярая ватага злых озорников.

Однако темноте на этот раз не удалось обмануть Ильку. Он вдруг сообразил, что раскололо его тревогу подземное эхо. Стало понятным — поток и в самом деле затянул его в какую-то пещерную пустоту, наполнив залитую водой...

Илька прислушался — не последует ли за угасаю-

щим эхом ответный голос отца? Но ожидание никаких перемен не принесло. Выходило так, что либо отец погиб, либо вовсе его тут не было. Тогда кто ж подавал Ильке голос? Морока? Что же тогда получается? А получается то, что парнишка зря отчаялся нырнуть в омут. Зря.

И тут Илька представил себе бедующую наверху мать. Теперь она наверняка хватилась не только отца, но и сына. Представил Илька бедующую мать и сам забедовал окончательно. Такая ли безысходность навалилась на него, такая ли память разыгрывалась, что и получасу не минуло, а уж ему стало казаться, что он в западне своей больше году сидит. А вот уже, гляди, и почудилось малому, что зовет его кличет голос матери. Да и не голос то вовсе, а скорее всего само отчаянье. Будто бы материнская душа оставила тело, проникла в подземелье и заполнила собою всю черную пустоту. И вот теперь, заодно с Илькою, она, в страхе перед бесконечной разлукою, и тоскует, и мятется, и жалуется...

Скоро материнская боль сделалась для Ильки доступной настолько, что он мог бы словами пересказать ее. Да вот только из пересказа складывалось что-то этакое — не совсем понятное. Получалось-выходило так, будто бы каким-то боком Илька оказался причастным не к одним страданиям родной матери, а изнывает в нем и неведомая ему, какая-то неземная душа. Вроде сочтется она в подземелье откуда-то из межзвездной бездны, проникает в парнишку и теснится в его и без того трепетном сердце как бы его собственным отчаяньем и его же собственной болью пытается растолковать ему что-то, край как необходимое. Вот и слышит в себе Илька явную скорбь оттого, что

до чего же страшна доля матери, у которой сын, точно как Илька, в западню попал по случайности. Уж не час, не день и не год земной — третий век идет ожидания... И терзаться ей страшной мукою, безотвязною нескончаемо! А и жить она не живет теперь, и глаза закрыть нет возможности... Лишь одно в удел остается ей — день и ночь просить мироздание, чтоб оно мольбу материнскую, не рассеявши, приняло в себя, унесло бы в даль бесконечную, заронило бы в душу добрую, в ту, которая согласилась бы доброй волею пособить в беде, в ту, которая своей жалостью через смертный страх несуразности до конца пройти пожелала бы...

Сидит Илька на камне, вслушивается в то, что помимо воли изливается в темноте из его сердца, и понимает — что странная в нем кручина звучит уже заклинанием, от которого начинает как бы оживать глубина подземного озера.

Поначалу робкими, потом все более решительными световыми штрихами вспыхивают и обрисовываются в толще воды какие-то занятные знаки. Получается так, будто сидит в озере некий искусный мастер изображения и молниеносно прочерчивает воду тлеющим концом лучины...

Вот быстрые линии осмелели, перестали гаснуть и принялись смыкаться да заполнять охваченное собою пространство мерцанием разного цвета...

* Обвой — спираль, винт.

Илькою же озерное представление воспринималось так, словно бы неведомая, далекая чья-то мать надеется таким способом ознакомить его с чем-то позарез необходимым, приблизить его к чему-то необычному и одновременно не напугать его внезапностью...

Понимал парнишка еще и то, что пожелай он, и в подземелье придут прежние тишина и темь. А может и такое произойти, что он вовсе очнется ото всей этой наволоки и вдруг очутится дома, на сеновале, под боком у своего отца...

Однако же, наряду с пониманием, Илька того острее осознавал боль вечной разлуки, потому и встряхивал упрямой головою — как бы отнекивался покуда быть отпущенным на волю. При этом он старался не отрывать глаз от озерного чародейства.

А в глубине, мастерством прямо-таки обаянного своей чудесной работою живописца, уже распускались цветы прелести несказанной! Они живым ковром выстилались по огромной чаше озерного дна, всползали по крутым уклонам боковин до самой поверхности, струили красочным цветением покой и надежду...

Постепенно всякая тревога отпустила Илькино сердце. А в подземелье уже звучал голос не безысходной тоски — напев уверения и согласия...

В чистой озерной глубине Илька теперь мог различить даже самые малые лепестки чудесного сплетения. Ему становилось все догадней, что перед ним открывается вовсе не случайная красота какой-то неземной природы, а видит он творение ума! Узоры по живому ковру были наведены с великой выдумкой и явным повторением. Перед Илькою красовались не то разубранное чье-то гнездо, не то богатый покой. Покой тот имел на глубине сводчатый выход куда-то под скалу...

Недавнее Илькино представление о возможном водяном или о большепотом чуде со всем тем, что предстало его глазам, никак не вязалось. Не может в такой красоте обитать лихая жизнь — так подумал парнишка и без особой тревоги устоял на ту дыру. Он ждал непременно появления в мерцающем свете сказочной морской владычицы, прекрасной и печальной, как сам голос подземелья. Но из темноты сводчатого проема осторожно высунулась гибкая, узкопалая, только до запястья голая лапа. Выше того она была покрыта не то поседелой ухоженной шерстью, не то порослью жемчужной, стриженной травы.

В переливе дрожащего света лапа повела туда-сюда распушенной, похожей теперь на плавник, пяттерней. Ей вроде бы хотелось позволить Ильке полностью разглядеть себя. Затем она дополнилась точно такой же второй лапою. Обе они сцепились в пожатии, потянулись в сторону Ильки и откровенно его поприветствовали...

Парнишка от воды не отпрянул, а еще с большим интересом взялся наблюдать, что же будет дальше?

А дальше, понятно: следом за лапами образовалась в проеме голова. Сплошь покрытая мелким пластинчатым перламутром, она была увенчана красным продольным гребнем. Гребень брал свое начало от самого переносья, уходил через темя на затылок и дальше, на захребетье. По обе стороны его основания блестела пара ярких зеленых вздугин. Они сильно смахивали на глаза лягушки. Эту зелень подчеркивал толстый выворот желтых губ.

Если бы на голове имелись хоть какие-то уши, можно было бы сказать, что желтый рот растянут до ушей — так зеленоглазая улыбалась Ильке. Чутко приотворяясь, улыбка рот испускал те самые звуки, что наполняли подземелье и ласково проникали в Илькину душу. Это пение было теперь посулой долгого воз-

можного счастья — если у Ильки хватит терпения довести дело до конца...

Скоро желтогубая улыбка образовалась в глубине полным видом своим. Сплошь покрытая седой шерстью, она была поставлена своею природой на перепончатые красные плюсни*. Сама небольшенькая, Илькина росточку, она владела великим хвостом! Хвост не метелкой, не веревкою — легким шлейфом колыбался за ее спиной. Был он окаймлен цветными блестками, а сам сплошь искрился, будто свежий снег в полнолуние.

Красотища невероятная!

Если бы существо это да имело какую-нибудь мрачную окраску, Ильке, может быть, показалось бы и не очень приятной его необычайность. Могла бы вновь зародиться в нем тревога при виде этой, изо всех видов собранной, живности. Но естественный ли наряд красавицы, придуманный ли добрым разумом столь ладный костюм ее до такого согласия сливался с чистотою голоса, что парнишка напрочь забыл о себе. К тому же зеленоглазая взялась извиваться гибким телом да медленно кружиться на всплыве, почти полностью укрытая кисеей сверкающего хвоста...

Порою красавица оказывалась так близко от Ильки, что тот мог ухватить ее за шлейф. Но лишь пробовал он пошевелиться, как сразу же осознавал ненадежность, одну только видимость происходящего. А он пока не желал никаких перемен и потому затаивался вновь — ждал, что будет дальше.

А дальше? Дальше зеленоглазая красавица вдруг прилипла телом до крутого озерного уклона, маленько перевела дух, шевельнула гребнем и побежала по боковине, вроде бы по ровному полу.

На близкой глубине, против Ильки, она остановилась, подождала чутко, затем осторожно принялась всползать к поверхности воды. Зелень ее глаз была уставлена прямо на Ильку! И хотя человеческих зрачков парнишка среди той зелени не обнаружил, однако неудобство передалось ему точно такое, какое зарождается в любом из нас при чужом дерзком внимании.

Но ни сморгнуть, ни отвернуться от пристального глядения Илька уже не сумел — его так и приковало полным вниманием к тем лягушачьим наростам, хотя ни злонамеренья, ни алчности какой в красавице по-прежнему не чувствовалось. Во всем ее виде была лишь мольба...

Как у нее такое получалось, понять Илька не мог. Он только ясно сознавал, что бояться ему нечего, что видимое всего лишь призрак, отражение далекой подлинности. Что этот мираж сотворен силою бескрайнего горя где-то в межзвездной пропасти и неимоверной материнской верностью направлен сюда. Как всякой морю, ему не дано обратиться плотью, но и раствориться теперь уже немыслимо, потому как не выдохнуть повторения! О, как слаб он перед неизмеримой далью, куда как, может быть, слабее Ильки, оказавшегося в западне.

И еще зеленоглазая заверяла парнишку в том, что лишь обоюдное их согласие, обоюдная подмога способны выволить и того и другого из непонятности, избавить от беды. Но для этого теперь же надобно Ильке, волею подсказанного ею воображения, оборотиться мерзким гадом, способным одолеть какие угодно глубины, уклоны и пролазы; гадом, наделенным неимоверной силою, ловкостью, цепкостью...

И не только осознавал Илька такую необходимость, он уже успел когда-то почуять себя многоногим, огромным, косматым пауком!

* Плюсня — широкая стопа.

Им-то парнишка, не раздумывая больше, и нырнул в озеро. Махнул он косматыми лапищами раз, другой и вот, гляди, оказался в окне какого-то колодца. Колодец стволom своим уходил в черную неведомую высоту.

Илька легко оставил воду и побежал проворно по отвесной стене колодца...

Скоро подъем осекся, круто завернул в сторону, оказался узким пролазом, который заставил Ильку удивляться тому, как это удастся ему каждой шерстинкою на теле чутко самый малый впереди выступ, загодя зная любой подъем и поворот? А сколь верно, сколь уха-

тисто действовали его ноги, сколь надежна была в нем жилистая сила, сколь неуклонно желание пройти до предела взятый путь...

Наслаждаясь полнотою своих новых способностей, человеческое в пауке завидовало ловкому гаду, хотя больно-то увлечься этой завистью Ильке было некогда. Его несла и несла вперед тупая сила направленной и бесповоротной цели многоногой твари...

Скоро Илька почувал впереди глухую стену. Вот и его паучьи лапы нащупали помеху. Человеческий же рассудок подсказал парнишке, что расщелина в скале пресечена вовсе не каменной преградой, а, скорее всего, каким-то щитом, крышкой ли. В нес-то и не замедлил Илька тут же удариться тараном; перегородка отозвалась долгим, тихим гулом. Так отзывается на хлопок ладонью огромный, но чуткий колокол. Для верности Илька шибанулся о перегородку еще разок и вдруг почувал, что перегородка шевельнулась, ровно пожелала отодвинуться в сторону. Но не смогла одолеть неведомой тяжести и потому осталась на прежнем месте. Ес, видать, заклинило в скальной расщелине.

Косматому гаду в Ильке сразу же потребовалось порушить помеху! Он с тупой, остервенелой силой рвущейся к выживанию твари уперся растопыренными лапами в каменные стены лаза, резко ими выпружинил и паучьим своим хребтом ударил в перекрытие!

Илька еще успел услышать, как над ним что-то хрястнуло, затем опрокинулось, дало ему тупым краем по спине и... вновь водяной, бешеный поток узлом скрутил все его паучьи лапы, поволок обратно — вглубь, вниз, в подземную западню...

На этот раз осознал Илька себя живым оттого, что послышалось ему далекое петушиное пение. Сразу прикинулась мать. Она шла мимо, не касаясь земли. Вся черная и слепая! Встречный ветер пытался развеять ее черноту, да не мог. Только зря рвал на ней платок и просторное платье.

Илька вдруг понял, что теперь идти ей да идти такую черною до самой оконечности земной, а там и до смерти, а там и того дальше...

Сердце в парнишке захолонуло от жалости. Он потянулся к видению, крикнул:

— Мама!

И сразу же солнце опалило ему глаза. Во все горло грянул на заплоте петух свое победное кукареку, загораживали радостные голоса:

— Во! Очухался! Гляньте-ка.

— Поди ж ты, живучий какой!

— Так то ж Резвун — чему тут удивляться? Им всем по крови от древней Онеги живучесть досталась...

И тут до Ильки дошло, что лежит он, ровно малец какой, на отцовых руках. Улыбчивый родитель так глядит в его глаза, будто бы ему все как есть известно — ничегошеньки не надо Ильке ни спрашивать, ни рассказывать. Так все хорошо, столько покою! Рядом отцово сердце — тук-тук, тук-тук...

А некоторое время спустя не отходивший от постели еще долго слабого сына Матвей Резвун среди ночи разбудил Ильку, поднял его на ноги, потихоньку от всех семейных вывел за недалекую околицу, сказал:

— Гляди!

И вот. Над рекой Полуденкой, над тем самым местом, где покоилось Живое бучало, медленно засветилась чистая зарница. Она чуток подрагивала, разгораясь, словно бы ей спросонья немного было зябко подниматься в ночной прохладе.

Вот она, как бы нехотя, оторвалась от вершины Колотого утеса, неспешно спустилась, вспыхнула и вдруг пошла ввысь. Полоснула по всему небу яркой звездой и вскоре затерялась среди своих сестер...



Рисунок Дмитрия Пригласного

Евгений САБУРОВ

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ КАК ИДЕОЛОГИ

В Керчи, древнем Пантикапее, уже два года подряд проходит Боспорский форум, на котором чего только не услышишь. Организатор и вдохновитель его, крымский поэт Игорь Сид, завлекший туда и Василия Аксенова, и Фазиля Искандера, и Михаила Айзенберга, и Тимура Кибирова и еще много всякого народу, ставит перед выступающими всего два условия: во-первых, надо подчеркнуть, что Крым — центр мира; во-вторых, выставить на обсуждение идею сногшибательную. В прошлом году на Боспорском форуме выступил Евгений Сабуров. Поскольку в то время он был не только замечательным русским поэтом, но возглавлял правительство Крымской республики, на его доклад явились и «отцы города». Надо было видеть их растерянные лица! Нет, что ни говорите, в правительстве может быть даже внук писателя, но умному человеку там не место!

Уехал Сабуров из Крыма, а доклад — остался. Мы его редактировали самую малость, и теперь вы его прочтете на наших страницах.

Имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия чрезвычайно популярны среди славян и почитаемы во всем христианском мире. Однако, во-первых, вокруг их имен разбродилось немало мифов, приходится даже слышать, что они-де проповедовали на территории Болгарии, и прочую ахинею, что не вписывается ни в какие рамки. Еще говорят

(конечно, на другом уровне знаний, но тоже совершенно мифические вещи) о том, что якобы Кириллу попадались на глаза какие-то совсем древние русские письма... Это было бы смешно, если бы не было... потребности глубже изучить наследие этих людей, глубже, чем делалось до сих пор, чем то, что известно широкой публике. В связи с происходящими политическими и идеологическими переменами, я уверен, все это чрезвычайно для нас актуально.

Наследие Кирилла и Мефодия обширно, но поговорим лишь о том перевороте в понимании политики и культуры, который они в свое время свершили и который, изменив лицо мира, привел нас к миру сегодняшнему, хотя, может быть, к настоящему времени исчерпал свой политико-культурный потенциал... Конечно, в более глубоком смысле этот потенциал просто неисчерпаем, но в плане практических действий мы сейчас находимся в тупике, а потому не вредно вновь взглянуть на наши истоки — откуда пошло такое строение мира, с чем оно связано, чем оно вызвано? — а поскольку идеологами такого строения были Кирилл и Мефодий, то следует нам обратиться к главному смыслу их деятельности, к мотивам, подвигнувшим их на то, более чем тысячелетней давности, переосмысление картины мира.

Очень кратко скажем о них самих. Родом из Солуни, современных Фессалоников в Греции, они были сыновьями военачальника, что воевал со славянами на северном фронте. Мефодий, как старший брат, по традиции унаследовал профессию отца, служил в пограничных войсках. Существует не доказанная, но вполне правдоподобная гипотеза, что, сталкиваясь с довольно дикими славянскими племенами, Мефодий написал нечто вроде первых славянских основ законодательства. Данная гипотеза разделяется многими специалистами, но требует проверки. Кирилл или, вернее, Константин (он принял имя Кирилл только перед смертью) с самого начала «пошел по научной части». Талантливый юноша был поддержан родственниками и друзьями отца. С малых лет он попал в атмосферу дворцовых и политических интриг Византии, облеченных в религиозную форму.

Через некоторое время, после взлетов и опал его покровителей, мы встречаем Константина в монастыре, настоятелем которого был его родной брат Мефодий. Впечатление такое, будто, исчерпав себя в бурной политической деятельности,

братья углубились в духовную внутреннюю жизнь. Итак, монастырь, малая Азия. Но...

ценные политики опять попадали с правите-

лям. Их направили послами к хазарам с тем, чтобы прощупать их позицию на предмет мусульманско-христианского противостояния. Миссия имела и конкретную цель — добиться освобождения пленников-христиан, захваченных хазарами. Константин и Мефодий прибыли в Крым и находились там достаточно долгое время. Данный период в их жизни я бы особенно выделил в связи с тем, что это был первый для них выход на территорию, которую уже нельзя было назвать вполне византийской. Конечно, служба Мефодия в пограничных войсках, филологические штудии Константина знакомили

их со многими народами. Но здесь была иная ситуация. Народы Причерноморья, даже имея некоторое отношение к Византии, были все же «народы сами по себе». Тут лежит та самая точка опоры, с помощью которой и удалось «солунским братьям» опрокинуть дотоле незыблемый миропорядок.

В Херсонесе Константин продолжал свои занятия филологией. В этом космополитическом городе он познакомился с самыми разными языками. В житийной литературе особо подчеркивается то, что там, в Крыму, братьями были найдены и перенесены в херсонесскую церковь останки папы римского Климента. Как известно, Крым для Рима — это было то же самое, что Колыма для России, и религиозный диссидент, епископ Рима Климент был, естественно, сослан «куда подальше» — в Крым, где претерпел мученичество.

Это деяние Кирилла и Мефодия является эпохальным для всего христианского мира. Есть наш, особый, русский запах во всем происшедшем. Когда князь Владимир решил крестить Русь, ему надо было построить церковь, какую принято было ставить на останках святых. Именно тогда Владимир совершил набег на Херсонес, вынул из алтаря останки мученика, и первая церковь в Киеве была основана на останках Климента Римского, добытых славянскими просветителями Кириллом и Мефодием.

Итак, в Крыму было совершено действие, важное для сознания всего христианства — обретение мощей святителя Климента. Я хочу здесь немного посетовать об утрате христианского духа, и выразить скорбь по поводу того, что в Крыму нет памяти мученика, чрезвычайно важного для становления христианства, одного из самых выдающихся деятелей за всю его историю — Климента Римского. Это объясняется тем, что православные иерархи само слово «римский» воспринимают как некоторый католический шпионаж в православии. Если на то пошло, то как почитать апостолов Петра и Павла, претерпевших мученичество в Риме, и вообще всех тех святых, что так или иначе связаны с Римом?

Не надо забывать, что христианство возникло на территории собственно Римской империи, кроме того, от Климента Римского до разделения церквей прошла уже тысяча лет. Во времена Кирилла и Мефодия единая церковь еще не делилась на западную и восточную, но противостояние латинского и греческого национализма имело уже и тогда. А вот география разделения была совсем для нас странная. Венеция и Равенна были городами византийскими, и, с другой стороны, то, что мы сейчас называем Балканами, это, скорее, римский регион. Но все нестроения, которые были между западной и восточной ветвями церкви, Кириллом и Мефодием начисто игнорировались, как будто не существовали, что является хорошим примером.

Миссия братьев в Хазарии оказалась вполне успешной. Что касалось позиции хазар, то на дружественное отношение к христианам никто и не рассчитывал, а нейтралитет был этим удачным посольством более или менее обеспечен. Крымская эпопея явилась для Кирилла и Мефодия погружением в совершенно другую цивилизацию. Я вообще думаю, что посольство сыграло большую роль — расширило горизонты и несколько сместило акценты в мышлении братьев.

И здесь мы подходим к главному, в чем состояла миссия Кирилла и Мефодия и почему я назвал свое выступление: «Кирилл и Мефодий как идеологи авангарда». Дело в том что существует два типа культурологического мышления, имперский и национальный. Первый состоит в следующем: где-то существует некая культура, она оценивается как хорошая, и встает вопрос о ее распространении.

Тогда на арену выходит некий цивилизатор, что старается распространить ее вширь и создать такую цивилизацию, такое гражданское устройство, в основу которого ляжет культура той местности, что наиболее симпатична цивилизатору. Такого рода мышление является имперским, оно, собственно говоря, и есть основа империи. Его распространение может идти самыми разными путями, миссионерства ли, завоеваний... Это не важно, главное в том, что есть эталон, точка, из которой все распространяется в виде концентрических кругов, как от камня, брошенного в воду. Имперское мышление обладает невероятным количеством достоинств, как в культурологическом, так и в политическом плане. Распространение однородной культуры, в понятии цивилизации, прежде всего гарантирует сохранение мира, поэтому первая империя, которая осознала себя империей, так и называлась *Pax Romana* — Римский мир. Конечно, и до Рима были империи, но империя Александра Македонского — это все-таки лишь попытка империи. Она существовала слишком недолго, но уже Рим — это и есть классическая империя.

Имперское мышление свойственно любому человеку и теперь является одной из составных частей политического мышления вообще. Но до Кирилла и Мефодия это было единственное политическое мышление. Когда английские миссионеры шли в Африку и несли с собой английский язык, пытаясь привить английскую культуру, вели проповедь Христа — в рамках той церкви, которая их послала, — это было настоящее имперское мышление. Оно, конечно, совершенно противоположно и этически, и по своим методам мышлению Карла Великого или Наполеона, но суть остается та же. Наполеон нес не только завоевание, он нес свободу, кодекс Наполеона, новую цивилизацию. Сказать проще, что-то где-то возникает, и это «что-то» надо распространять на весь мир. Американские фильмы — это имперское действие, и проводится оно достаточно успешно. Россия тоже была империей со своим миросознанием — наше православие, наша культура, где основную роль играли российское образование и русский язык. Если внимательно проанализировать имперское мышление, то мы увидим, что для человека с имперским мышлением может быть только одна империя. Если есть две, то надо выбрать хорошую и поглотить плохую.

Мышление той поры видело вокруг только одну империю, но поскольку почти на равных существовала ее восточная часть, признавался греческий язык. А в память о том, что Иисус был из Назарета, что по крови он был еврей, допускался еще и еврейский язык. Больше никаких языков не могло быть принципиально. Имперское мышление не могло признать величия других языков, поскольку мысль тесно связана со словом, а культура не отделима от языка, и не может быть одной культуры, если есть разные языки. Имперское мышление аналогично модернизму в искусствоведении, то есть жизни в современности, бытовании и осмыслении того, что есть. Имперское мышление правильно связывают с консерватизмом — но и с ситуацией развития, модернизма. Это огромный сплав, в котором сосуществуют и консервативное, и либеральное — нет только авангардного мышления. Авангардизм — совершенно другой способ действий: признание плюрализма культур, прекращение оценок или сведение их на другой уровень. От нравственной оценки культур авангардизм уходит. Существование нескольких культур возможно именно в этих условиях.

Авангардизм — это некий десант, высаженный на совершенно незнакомую территорию, который начинает приспособляться к местным условиям. Если имперское мышление — это постепенное расширение границ уже существующей цивилизации, то авангардное — это созда-

ние цивилизации на основе совершенно иной культуры, которая осмысливается в ходе строительства новой цивилизации. Именно таким путем впервые в мире пошли братья Кирилл и Мефодий, именно поэтому они явились не только первыми авангардистами, но и идеологами авангарда. Это люди были мыслящие, думающие. Константин даже имел прозвище Философ. Они осмысливали свои действия и достаточно четко противопоставляли их империалистам. Они называли их троязычниками, а иногда пилатниками (поскольку по преданию эти три священных языка, латинский, греческий, еврейский, были зафиксированы Пилатом на табличке, которая была на Кресте Господнем).

Они совершили революционный переворот, и дело было не в трех языках, а в другом способе мышления. Может ли возникнуть христианская цивилизация на основе культуры, которая ничего общего не имеет с культурой Рима, где христианство, собственно, и возникло? Положительный ответ разрушает идею империи и порождает новую — национального государства. Культура и язык, религия и государство в те времена не были отделены друг от друга, поскольку самих этих понятий не существовало вообще. Имперское мышление не разграничивает такого рода дефиниции, оно знает только одно понятие — империю, где все соединяется вместе. Существование другого государства связано с другой культурой и языком, а язык имел право именоваться языком только в том случае, если на нем излагается Священное Писание.

Кирилл и Мефодий как раз и ударили в самую сердцевину современного им культурного процесса, оформив славянство как нацию, как культуру и цивилизацию — путем перевода на славянский язык Священного Писания. Это случилось в Моравии, продолжилось в Паннонии на территории современной Венгрии. Этим и была создана, сложилась «из ничего» славянская цивилизация, впоследствии повехшая себя достаточно имперски.

Если есть две империи, значит, уже нет ни одной. Идеи Кирилла и Мефодия об авангардном десанте в глубины еще только нарождающейся культуры, для ее созидания и оформления, оказались чрезвычайно плодотворными и способствовали устройению современной Европы, всего мира, в том виде, в каком он сейчас существует.

Имперская эпоха закончилась, как только появились Кирилл и Мефодий. Она была обречена. Но с другой стороны, имперская эпоха еще не окончилась, поскольку имперское мышление продолжает существовать достаточно плодотворно и дает прекрасные иногда плоды, прекращая войны, расширяя пространство цивилизации. Все конструирование мира сначала шло по пути империи и лишь теперь — по пути национального государства. Кириллом и Мефодием был изменен сам принцип конструирования мира вообще. От имперского — к национальным государствам, от мышления модернистского — к мышлению авангардному.

Эта идея существования различных культур, языков и цивилизаций родилась у Кирилла и Мефодия в Крыму. Именно в Крыму эта идея была зафиксирована в качестве основы структуры мира на Ялтинской конференции после окончания 2-ой мировой войны — последней имперской войны. Итоги Ялтинской конференции неоднозначны, но можно подходить к ним с точки зрения наследства Кирилла и Мефодия. С одной стороны, было зафиксировано право на существование разных и различных государств, подтверждалась их свобода и независимость как основа структурного деления мира, но, с другой стороны, фиксировалось существование как бы псевдо-империй, которые уже не включали в себя национальные государства, но влияли на них. Фраза «сфера влияния» — весьма

и весьма интересна и в сущности не может так просто быть отброшена. Если мы отнесемся к этому как к рудименту имперского мышления, то мы увидим, что возникает несколько вопросов:

1) сфера влияния — это все-таки не империя, так как признается право на существование различных государств;

2) раздел сфер влияния лишь косвенно проходит по линии общности культур, а в основу водораздела положены различия политических основ государства.

Здесь как бы подводится черта под делом Кирилла и Мефодия, которое окончательно победило лишь в 19-ом веке, и происходит переход к несколько другому принципу. Страны структурируются по политическому строю: есть строй либеральной экономики и либерализма в политической жизни, и есть строй феодально-государственной экономики с феодальными принципами внутренней жизни. Все так и было бы, но проскользнул и другой момент — по тяготению культур друг к другу.

Это не возвращение к империи, это нечто другое, тут признается плюрализм различных культур, но говорится о нескольких уровнях плюрализма. Сталин, Рузвельт и Черчилль не были настолько умными людьми, чтобы уловить в то время подобную тенденцию. Все получилось как бы само. Однако сегодня принцип структурирования по политическому строю стремительно разрушается, в то время как культурное тяготение осталось и будет развиваться и дальше.

Может, мы сейчас стоим на пороге нового структурирования, может быть, уже пора проводить вторую Ялтинскую конференцию — не в память о первой, а собственно вторую, где на первый план выйдут признаки совсем иного культурного типа. Но как спрогнозировать будущую структуру мира, которая возникнет в XXI веке? Тот мир, который был создан Кириллом и Мефодием, был, в общем-то, неподвижен, что было связано в первую очередь с недостаточным развитием средств коммуникации — до недавнего времени. Сейчас все не так, и на глазах возникает другой, совершенно новый мир — я имею в виду структуру мирового уклада. То, что сделали великие братья, чрезвычайно обогатило мир, хотя можно понять и их противников — венецианских богословов, сомневавшихся: как это немцы славяне в своих лесах будут читать на своей варварской тарабарщине Библию, и как возможно языком этих варваров изложить все тонкости богословия и передать все поэтические глубины священных книг. Все это было скандально. Но ведь и Стефан Пермский, который на язык пермяков переводил Писание, тоже когда-то вызывал у нас, русских, вопросы. Русские к тому времени уже позабыли, как не так уж и давно Кирилл с Мефодием создавали их собственную культуру — точно так же, как сейчас переводится Библия на язык племени, живущего в тропических лесах Амазонки...

Очень возможно, что практическая часть политического наследия Кирилла и Мефодия исчерпана. Очень возможно, что сегодня мы на пороге новых принципов разнообразия мира.

Каких? Не знаю.



Геннадий ГОЛОВИН

Повесть

ЖИЗНЬ ИНАЧЕ



Фото Леонида Шимановича

Геннадий Головин из тех русских людей, которые везде чувствуют себя как дома. И это идет не от нахальства или самоуверенности, просто человек осознал истину, что Головин это он — Головин, что жизнь — это жизнь, а земля — это земля, и все вокруг естественно, а потому всякие искусственности и ограничения особой роли не играют. В Милане, выходя из подземки, я услышал русскую речь, что само по себе и не диво, но уж очень поразили знакомые интонации. Головин полулежал на перилах напротив дежурного у турникетов и пытался втолковать, что ему, Головину, необходимо куда-то добраться в этой итальянской глуши. Был он слегка под хмельком и говорил какие-

то слова типа «Милый», «Уважаемый» или «Корешок»... И очень удивлялся беспонятливости итальянца, тарачившего на него глаза. Судя по всему, монолог длился уже давно и к нему привыкли и итальянец, и Головин...

Несмотря на то, что Головин родился в Америке и прожил там до шести лет, что жил он постоянно в Москве, — производит он впечатление типичного русского мужичка, сноровистого, хитроватого, временами простодушного, но всегда стойкого, устойчивого, знающего свою цель и никогда о ней не говорящего. В шутку на вопрос о его собственной философии он говорит: «Выжить». А может, и не в

штук. Если задуматься всерьез — выживание на земле и в обществе — не главная ли наука?

Писать Головин начал в четырнадцать лет под влиянием Ремарка (я помню те хмельные времена, когда все мы возбуждались от энергично покачивающей прозы Ремарка) и Паустовского, которого особенно ценит за «бродильный сок», вызывающий у людей литературно одаренных жадное желание наблюдать и сочинять. Но впервые прозу (и это был детектив) Головин напечатал лишь тогда, когда исполнился ему сорок один год и он уже научился выживать. А потом сразу выстрелил тремя произведениями: «Жил был парнишка», «Анна Петровна» и «День покойника», которые сразу превратили его в кадрового писателя. С той поры ценители литературы стали Головина отличать, потому что у него был свой стиль, тот слав иронии и лирики, свое нестесняющееся отношение к жизни, подкупающая естественность, которые обязательно вызывают симпатию у человека, еще не разучившегося удивляться неожиданному.

Писательство для Головина дело чрезвычайно органичное, это его стихия, даже сейчас, «когда писательство стало смешным». У него в голове стоит монолитный строй то ли сюжетов, то ли абрисов, то ли видений, то ли мелодии звучат, он еще не знает, что это, но оно существует и требует своего овеществления на бумаге. Любопытно, что все замыслы выстроились в порядке строгой логичной очереди. Головин попытался ее нарушить и взялся, скажем, за сюжет №3 — не тут-то было, ничего у него не вышло, пока он не написал последовательно сюжеты №1 и №2. Его повести и романы уже живут в нем взаимосвязанно и взаимозависимо, пускай там действуют разные герои, но человеческая комедия, тем не менее, выстраивается. Со стороны герой Головина часто кажется человеком обиженным жизнью, но сам он себя таковым не считает, не осо-знает, он прежде всего добрый человек с «таинственной» славянской душой, который не хочет обкрадывать или улучшать мир, но признает право всех на свою жизнь.

Ныне Геннадий Головин в расцвете своего дарования, это крупный мастер современной русской литературы, сознательно стоящий особняком.

Недавно вместе с братьями писатель возвел в Подмоскowie добротную (из бруса) в два этажа избу и сейчас строит большой камин, чтобы греться у него с «хорошей женой» (непременное условие для всякого хорошего писателя) у большого огня. А рядом будет сидеть овчарка с замечательным именем «Челкаш»... И от жизни Головина надо только одно: внутреннее спокойствие, та тишина души, которая позволяет ему найти самые заветные слова и записывать на бумаге самые заветные мысли.

У нас в журнале Головин напечатал несколько своих произведений, и они нашли самый благодарный отклик у читателя. Сейчас он начинает работу над новой повестью (или романом?) под названием «Это самое...». Такими словами «поддайте» обозначают то смутно-неясное, но чрезвычайно важное, что обязательно надо вспомнить, сформулировать, рассказать собеседнику, а возможно, и всему миру.

Виктор Липатов

Со сновидения все начиналось — со сновидения простенького, преисполненного однако странной тайны и едкой отчаянной печали. Привиделось: вошла в конуру его грустная темная женщина и склонилась над ним, и долго — безмолвно и почти беспечно — стала всматриваться в его спящее лицо. А он — делал вид, что спит.

Он боялся открыть глаза, потому что очень уж стыдно ему было перед этой дорогой для него женщиной: и за то, что он вот уже сколько лет такой и все никак не может найти в себе волю стать другим, но, главное, прямо-таки изжигала стыдом, вопияла катастрофическая мысль: «Господи! А на столе срач-то какой! Она же видит! Хотел ведь, сволочь, вчера прибраться!»

Потом все-таки отворил, насквозь виноватый, глаза и — ну, конечно же! — никого и ничего не увидел.

Один только серенький грязненький свет-полусвет неохотно царствовал в халупе, да медленно истаявало будто бы темноватое облачко некое, смутно похожее на силуэт этой странной-болезненной дорогой для него, незнакомой женщины. Быстренько растаяло облачко, и одна только нежная грусть-тоска осталась.

«Ох-хо-хо! — вздохнул он в голос. — Опять, что ли, жить!»

Сбросил на пол хурду-мурду, которой покрывался на ночь, сел на расхлябанном своем топчанчике и первым делом, даже как бы исподтишка, глянул в сторону стола. Зря надеялся.

Грубо раскуроченные консервные банки — и вчерашние, и недельной, и месячной давности; кастрюльки какие-то, все как одна по пьяни сожженные; окаменевшая полбуханка черного хлеба, уже нежно-голубенькой плесенью зацветшая; тарелки с чем-то вконец заколевшим, почернелым, уже давно несъедобным; огрызки, объедки, оглодки; водочные, весело сияющие пробки в устрашающем множестве; грудой вываленные (искали вчера окурки) пепельницы...

А надо всем императорствовала трехлитровая белесой мути банка, в которой, как в кунсткамере, плавали мертвенно-серые куски аж с Нового года протухающей, самодельного посола рыбы-ставриды, один лишь вид которых вызывал у него по утрам тошнотворное отчаяние и странное, мгновенное бессилие воли.

Он подумал о давешней женщине из сна, и его опять замысловато скрутило от стыда: «А каково ей-то было в такой помойке?» — подумал, как о живой.

Он сидел на краю топчана, скрючившись. Привычным жестом грел ладонью привычно ноющее брюхо и будто бы с интересом даже разглядывал красиво рифленные лепехи красной глины на полу. Углубленно размышлял: «Чьи же это сапоги могут быть?..»

Потом он мечтательно сказал себе: «А что, если мы с тобой, ДэПроклов, напрягемся и хоть какой-никакой порядок наведем? Нельзя же все-таки так, в самом деле...» — и тут невероятно оживился.

Итак, первым делом надобно принести с улицы таз, куда все сваливать. Консервные банки — в пустое ведро, и — на сухую помойку, на окраину господского сада. Кастрюльки — за порог. Залить до

поры до времени водой, пусть отмокают. Тряпку — где тряпка? — в дождевой кадке намочить, слегка отжать. Все, на столе остающееся, одним махом! к чертовой матери! в таз! Тряпку еще разок намочить и клеенку от закаменевшей грязи этой отдраить! Ать-два! Любо-дорого глядеть, какая наступила чистота!

Все это он с превеликой бодростью проделал, задницы, однако, так и не оторвав от топчана своего.

Затем, маленько отдохнув, усилился волей, не разгибаясь, приподнялся и извлек из кучи окурков бычок пожирнее. Закурил и точнехонько вернулся в нагретое продавленное место тюфяка.

Снова стал сидеть, тихо претерпевая похмельную нуду в желудке и с любопытством следя квелые, серенькие, бестелесные мыслишки, которые, подобно сонно-очумелым жукам-плавунцам, коротенько и бестолково дергались, надолго вдруг замирая в оцепенении, на поверхности мелко дрожащего студня, каковым, вместо мозгов, полна была его голова... и все крутилась-крутилась, надоедно повторяясь, фраза: «Нет того веселья... то ли куришь натошак... то ли пьешь с похмелья... нет того веселья... то ли куришь натошак...»

Вот так он жил.

Вот так он жил уже года три, что ли. А может, и пять — утомительно подсчитывать было, да и страшновато было подсчитывать сроки бичевания своего.

«Черная полоса! — объяснял он всем, кто хотел слушать. — Ничего уж тут не поделаешь, брат, коли черная полоса в жизни».

А сам про себя не без схиждства комментировал: «Ну, конечно, ага, черная полоса. Аж до горизонта. Просто забичевал ты, паря!»

Теперь-то такая откровенность даже и не пугала.

Было, конечно, время, когда и дергался и что-то этакое, чтоб вырваться, сделать пытался. Прошло то время.

Дивно вспоминать, но в самом начале так даже и в удовольствие было — плыть по течению, ручкинкой разбросав, обиду в себе делеять: «За что, сволочи?!» — это, когда отовсюду ни за что ни про что повыгоняли, печатать напрочь перестали, в командировки посылать перестали, когда знакомые, как один, стали делать вид, что видят впервые, когда и жена ушла (ну, это-то даже и к лучшему), — когда в одночасье, одним словом, поползла под откос вся его драгоценная жизнь.

Тогда еще верилось, что это все не всерьез, не может быть такое всерьез, надо маленько переждать, и все вернется в наезженную колею. Хрен-два.

Что-то где-то (а *что* именно, а *где* именно — он даже и предположить не мог) он нарушил, натворил, что-то таинственное преступил, о чем ни одна сволочь прямо в глаза ему не сказала, даже и не намекнула, но что, как по команде, заставило вдруг всех начать относиться к нему, как к прокаженному.

Сперва, чего уж скрывать, было и страшновато и тошно, и так было довольно долго.

Потом стало зло и скучно.

А потом: «Ну и идите вы все к чертовой матери!» — такое пошло настроение.

И даже усада стала смотреть, как погрязает в незаслуженном дерьме ДзПроклов-золотое перо, любимый его человек.

В долг, понятное дело, давать перестали. Мгновенно, тоже, как по команде.

Стал загонять книги. Таскал вначале по одной-две, стеснялся, потом уже и связками таранил, пока не остались ото всей библиотеки «Книга о вкусной и здоровой пище» (любимое на безденежье чтение) да облитая киселем «Семья Тибо» французского писменника Роже Мартен дю Гара, которую несмотря на огромные художественные достоинства ни в одном букинистическом даже и к оценке не принимали.

Аппаратуру, натурально, тоже спустил. Оставил себе только старенький «Асахи» с дежурным полтинником и телевизором-90. Должно быть, надеялся — да ведь и в самом деле долго надеялся, — что вдруг призовут, вдруг предложат сгонять куда-нибудь к черту на рога, а у него, будьте любезны, уже и аппаратура наготове.

Потом даже и до одёжонки дошло.

А затем — тут некий туманчик в памяти... — оказался вдруг здесь, в подмосковном этом поселочке, в гнилом на отшибе флигелечке. Сторож — не сторож, батрак, — не батрак, прихлебал — не прихлебал.

Когда к хозяину-благодетелю гости наезжают, на глаза велено не лезть. Чтобы не оскорблять, так надо понимать, тонкие эстетические чувства отдыхающих антиобщественной своей рожей.

Если зовут к себе, то по делу — гамак, к примеру, повесить или костерок для шашлыка разложить. Стопарь только раза два-три предложили, редкостные жмоты.

Здесь, в дачном этом поселке и наступил, наконец, утомон всех и всяческих его претензий. Легко стало жить, невесомо. Изумительно простейшая жизнь началась: мирная, мерная, от пузыря до пузыря, от получки до подачки. Пить если и бросал иногда, то ненадолго — от Вознесения до Поднесения.

Иной раз пытался оглянуться назад, пытался деревеннейшей своей башкой вспомнить, как, например, последний год, месяц прошли, — ничего, хоть головой вниз закапывая, не мог внятного припомнить. Все было словно бы серенькой оловянной пылью пухисто припорошено, сплошная зевота скуловоротная, тоска-тощища заскорузлая.

Благодетеля своего дачного он раньше вроде бы и знал. Память однако у ДзПроклова стала за эти годы изрядно дырява — сколь ни напрягался, никак не мог вспомнить, где же они с ним пересекались. Где-то в редакциях, это точно. И смутно помнится, что был он в те времена, благодетель, из самых что ни на есть бездарных бездарей, жутко энергичен, изумляюще плодовит и абсолютно безнадежен в смысле журналистики. Над ним посмеивались, помнится, хоть и свысока, но даже как бы и жалючи.

Теперь не шибко посмеешься: вознесся вчерашний графоманчик из грязи в князи: золотые очки, костюм-тройка, за рулем толстозадой тачки — мордovorот в камуфляже (считается, что из «афганцев»), чем-то ворочает, а чем именно — сам черт не поймет. Когда сидит в сортире и по радиотелефону команды раздает (излюбленное занятие), чего только не услышишь! Тут тебе и цемент, и тампексы, и рафинад, и кругляк.

Обожает повторять через фразу: «Мы, бизнесмены...» — и при этом непременно цвиркает зубом.

Бассейн зачем-то под дачей вырыл (фундамент

тогчас обметало плесенью), телевизоров штук шесть поставил где только можно, стены чуть ли не палисандром обшил, мебели — итальянские, унитазы — германские, собачонка гнусная — из Англии, говорит, привезена. Похоже, уже и не знает, что бы ему еще прикупить, что бы еще такое приобрести, чего у других «бизнесменов» нету.

Должно быть, именно поэтому и взял к себе в услужающие ДэПроклова. При случае можно сказать: «Не помните? Ну как же! ДеПроклов. Известный был журналист».

Да вот только не помнит уже никто ДэПроклова, благодетель ненаглядный! Скурился ДэПроклов, с круга спился. Зря ты ему по полсотне штук каждый месяц отстегиваешь.

Хотя, с другой стороны, как тут не понять приятиности такого приобретения? Самолюбие сочинительское, многократно когда-то по редакциям изъязвленное, хоть таким образом, но теперь-то утешено, наверное, вполне...

Ну да ДэПроклов не в обиде. Даже наоборот. Он уже давно ни на кого, кроме себя, не в обиде.

«Что же это за женщина такая приходила? — снова подумал он, ковыряясь на столе в поисках окурка. — Милая такая женщина...»

И вдруг пораженно, чуть ли не с испугом услышал, как вновь что-то сладко-тоскливо и сладко-томительно-больно взныло в нем — где-то возле сердца.

«Ого!» — сказал он себе. Хотел, чтобы сказало иронически, а получилось растерянно, как бы даже и сконфуженно.

С остороженькой повадкой хирургического больного вернулся от стола к топчану, тихонько присел и стал тихонько покуривать, слушая себя и с удивлением отчего-то волнуясь.

Да, приходила женщина. Очень грустная, темная женщина. И, просто, склонилась над ним, спящим, и, просто, стала смотреть в его спящее лицо.

Простой был сон, очень, но не проста была душа этого сна. Женщина глядела-оглядывала его с такой отчаянной, с такой горькой, как бы даже материнской любовью, она так старалась оделить его какой-то своей силой — чтобы он пробудился, чтоб встал, чтоб перестал быть *таким*, — что сейчас, вновь вспоминая сон, ДэПроклов внезапно и близко почувал в себе очень искреннюю, пьяненькую готовность пролиться светлой, благодарной слезой.

«Кто же это так переживает за меня?»

Страшно знакомо все это было. Почему-то.

И — страшно давно.

И — очень грустно.

И — очень нежно.

И — как бы все время в светлых летних потемках...

Он усилился, как мог, заскорузлой своей памятью. У него было отчетливое, почти физически осязаемое ощущение, что он *продирается* памятью через какие-то вязко-студенистые препоны — главным при этом было не утерять в себе эту сладко-тоскливую нежность-боль сна... — и уже почти было начал что-то вспоминать, забрезжило что-то отдаленным светом в мусорной его башке, он даже слышал, как отчаянно щерится лицом от неимоверного своего усилия вспомнить...

Но тут — ни раньше, ни позже — грянуло на ули-

це пьяно-развеселое громогласие, загремели сапоги по ступенькам, громыхнула, распахиваясь, дверь, раздалось бодрое, обычно-привычное: «Привет работникам пера!», стукнули об столешницу выставленные не без гордости пузыри и — понеслось! Да нет, не понеслось, а плавненько, привычно пошло-поехало — под надтреснутое чоканье захватанных грязными губами стопарей, под мучительное криканье, мычание и сопение, под торопливо воскуренные (вместо закуски) табачные клубы, под благодостный умственный разговорчик ни о чем, сразу же закурчавший после первой же дозы.

Странное дело, думал ДэПроклов, сколько времени ни керосиним (да ведь каждый, считай, день, да ведь в одном и том же составе!), а все не скучно, а все есть о чем поговорить. Потому, должно быть, что, как ни напрягайся поутру, а ни словечка из наканунешнего разговора не вспомнить...

Команда была сплоченная, хотя вдоволь и разномошерстная: бывший прораб, бывший доцент-сопроматчик, работага-геолог и бывший мясник, ныне рабочий на пилораме.

Тут надобно отметить, что никогда никто ни для кого *бывшим* здесь не был. Этого держались свято. Это был, если хотите, залог того, что нынешнее их состояние — всего лишь эпизод, не более того, шаг в сторону, прихотливый вираж судьбы. И, что уж скрывать, ДэПроклову льстило, когда к нему так обращались: «Вот ты, журналист хренов, почему до сих пор не отменил поправку Джексона-Вэнника?» Ни Джексона, ни Вэнника никто из сидящих за столом в глаза, конечно, не видал, никто толком не знал, в чем смысл этой поправки, но интерес у всех был неподдельный и внимали серьезно. Вообще друг друга выслушивали терпеливо, не перебивая.

Когда мясник, к примеру, заводил свой обычный рассказ, о том, какой смысленный у него мальчишка и как ловко играет в шахматы, даже отца, не поверишь, обыгрывает! — все внимательно-доброжелательно слушали и кивали, хотя все и знали, что мальчонке этому не меньше, чем двадцать пять лет, он слабоумен и если чем и увлекается, то не шахматами отнюдь, а сбором бутылок возле магазина.

Точно так же все делали вид, что слышат впервые, когда захмеленный ДэПроклов вдруг (да ведь в сотый, наверное, раз!) начинал (всегда, кстати, кстати) повествование об усть-кореньских ножах, которые — железяки херовы! — всю ему жизнь, можно сказать, подкосили. «А че ты смеешься? Кто знает, может, они-то во всем и виноваты...»

Вот когда ему ослепительно ясно становилось, что, похоже, никогда уже не воспрянуть ему, что, похоже, веки вечные гнить ему тут, в гнилом флигелечке, в уголку господского сада, — когда неожиданно, вопреки воле, вопреки клятвенно-проклятным себе обещаниям, опять вдруг обнаруживал себя в очередной раз мерзко-былинно повествующим заплетающимся языком:

— И вот, это самое, прилетаю я в этот самый Усть-Корень, разыскиваю, это самое, чудо-кузнеца этого, ну, который те ножики якобы кует, а его... (тут он делал всегда драматическую цезуру) бич, который с ним на одних нарах в балке ночевал, во сне заточкой в бедренную артерию ткнул! Нечаянно. Начифирялся с вечера, что-то такое ему приснилось, стал отмахиваться во сне, ну и это самое...

История с усть-кореньскими ножами была самая что ни на есть доподлинная. (В последние год-два ДзПроклов вообще рассказывал о себе одну только правду, справедливо рассудив, что собственное вранье запоминать — никаких мозгов не хватит, а действительных фактов придерживаться — и легче, и бесхлопотнее, и куда как больше уважения к своей персоне у слушателей вызываешь...)

История — даже и по тем временам — случилась затейливая.

В одной центральной газете напечатана была заметка их камчатского внештатного корреспондента о том, что будто бы на севере полуострова коряки-умельцы по стародавним каким-то рецептам из заповедной какой-то руды куют для оленеводов ножи, которые за просто перерубают заводскую легированную сталь.

Заметка была как заметка. Туфтой от нее разило на десять верст. Никто бы и не обратил внимания на эту дохлую утку, если бы...

Если бы не прочитал ту статечку один генсек одной маленькой, очень нам дружественной страны. Был знаменит тот генсек не только своей политической деятельностью и беззаветной преданностью нужным идеалам, но и тем, в частности, что был он владетелем чуть ли не богатейшей в мире коллекции холодного оружия. С этого все и закрутилось.

Как истинный чайник-коллекционер он на эту заметку не мог не спикировать. В преддверии своего очередного визита в Союз высказал через порученцев некое нахально-смущенное пожелание: «Хорошо бы в качестве подарка...»

По тогдашним законам партийного гостеприимства пожелание это тотчас было преобразовано в приказ: «Пару ножей товарищу генсеку добыть!»

Камчатские партийцы, натурально, взяли под козырек, однако через пару дней с веселым прискорбием сообщили, что нет в природе никаких таких уникальных кореньских ножей, наврал внештатник центральной газеты.

Приказ, между тем, не перестал оставаться приказом.

Инструктор, которому персонально было вменено добыть подарочные ножки, ударился в панику.

Единственный кое-какой выход, который оставался, — это спихнуть задание на кого-нибудь другого. Он и спихнул — на редактора одного журнала, который денно и нощно терся возле цековской кормушки и у которого он, инструктор, тоже время от времени подкармливался неимоверно халтурными комментариями.

Редактор воспринял партийное поручение с большим лакейским воодушевлением: открывалась возможность поближе приобщиться высоким сферам, может быть, удастся даже и собственноручно вручить подарок товарищу генсеку... — короче, он вызвал к себе ДзПроклова, самого в то время *проходимого* и шустрого из репортеров, сидящих у него на договоре, велел выдать денег ему аж на два месяца командировки, и одно-единственное было дано ему творческое задание: «Хоть из-под земли, но хоть один этот дурацкий ножик добудь!»

ДзПроклов добыл.

Никакую заводскую сталь он, ясное дело, не перерубал, сделан был из обычной тракторной рессоры — в самодельной кузне лудил их на потребу оленеводов расконвоированный полукоряк-полурусский.

Вид, правда, был у того ножа впечатляющий: в засаленных кожаных ножнах, длинный, тяжелый, грубокованный, дикарский. Маленький генсек-коллекционер должен был остаться доволен. Судя по слухам, он и остался доволен — выразил сердечную пролетарскую признательность и инструктору, и главному редактору, и вообще всем, кто к тем ножам касательство имел.

Казалось бы, все. Эпопея с подарками генсеку успешно завершилась. Не тут-то было: началась вдруг какая-то никому не понятная белиберда — все, кто хоть какое-то отношение к тем «железкам хреновым» имел, все вдруг стали претерпевать некие, вначале не очень внятные, однако неприятно раздражительные притеснения судьбы: ну, отмены, там, заграничездок, неприглашения на приемы, погребной холодок в беседе начальства... всерьез могло показаться, что какое-то проклятье лежало на изделиях усть-кореньского того кузнеца-умельца. Мало того, что и самого кузнеца ненароком прикололи, мало того, что и самого ДзПроклова по возвращении в Петропавловск чуть не угробили, чудом спасся — через месяц грянули самые натуральные грома.

Инструктор, который тому генсеку в торжественной обстановке вручал, вдруг ни с того ни с сего с треском *полетел*. Ко всеобщему изумлению. Приземлился — преподавателем марксизма-ленинизма в институте землемерства и трудоустройства (а может, наоборот, трудемерства и землеустройства).

Главный редактор — опять же к всеобщему изумлению — вдруг ушедши оказался на пенсию, по состоянию здоровья. Изумление было тем более ошеломляющим, что испокон веков редакторы блатного того журнальчика покидали его, как Алексеевский равелин, исключительно только ногами вперед.

Ну и в довершение всего: когда вернулся наш маленький генсек в маленькую свою страну, грянула вдруг там какая-то то ли бархатная, то ли панбархатная, то ли, черт ее знает какая, крепдешиновая революция, в результате которой оказался очень дружественный нам генсек в большущем дерьме.

Как и ДзПроклов.

Но мы уже об этом говорили.

— Чего-то ты нынче смурной, Димыч, — заметил кто-то из сидящих за столом.

Тот удивился, а потом, подумав, кивнул. Пожалуй, да, именно так: смурной.

Он за все утро, оказывается, и двух слов не произнес: сидел, как оглоушенный.

«Это ж надо же, как меня сон этот странный шарахнул...» — тихо поразился.

Потом, слегка лишь усилившись памятью, снова вызвал в себе эту грустную нежность, эту щемящую, нежную боль давешнего сновидения, и вдруг почувал, что сейчас, пожалуй, заплачет.

Торопясь, выбрался из-за стола, выскочил на крыльцо; соратники решили — блевать, посмотрели прохладно-сочувственно.

Хмуренькая теплая весна неторопливо вершилась в мире.

Зелени еще не было, однако земля уже подсохла, и уже шел от нее сытый, важный, крутой, плодородный дух, от которого кружило сердце.

Все было с виду спокойно, но чудилось, чудилось постоянно, что какое-то неостановимое, кро-

потливое, спешное движение совершается везде окрест и во всем, невидимое глазу.

Ветер тянул с юга.

В небесах было пасмурно, солнце пряталось за грязноватой мутью, глядело белесым пятном, но уже напорист, победителен, непреодолим был плотный ток тепла, вот уже несколько дней с утра до вечера бьющий с небес.

«Весна...» — с тоской и радостью подумал он, тотчас вспомнив какого-то себя давнишнего, жалкого, желторотого, родного, дрожжи дрожащего по весне от мутных сладких предчувствий любви какой-то необыкновенной, удач сияющих, свершений, славу приносящих... «Весна, и, ах, какая бездарная пакость эта моя нынешняя жизнь! — говорил себе обреченно и горько. — Какая бездарная пакость!» — повторял себе, встав на открытом месте и ощущая себя как бы в перекрестье чьих-то неодобрительных взглядов, и страдая от этого, и мстительную к себе радость от этого испытывая.

«Я ведь погибаю! Слышишь, ты! — говорил кому-то с ненавистью. — Я ведь погибаю, Я!!»

У него было внятное ощущение, что в нем два человека, и тот, который внутри, с залитым слезами лицом, с криками-стонами отчаянно рвется из него наружу и — ну никак не может вырваться! — будто в капкане, будто по пояс в трясине, в этакой густой, жирной трясине, которая, смачно чавкая жадными своими устами, всасывает, тянет его ко дну неторопливо и обстоятельно.

Он-то думал, что давным-давно уже смирился, жирный крест на себе поставил, сам себя схоронил и сам по себе бесконечные поминки на могилке справляет. Нет, оказывается.

Живехонек, оказывается, и, вишь ты, отвращением живо маяется и — глянь! — все еще вырваться мечтает.

Попробовал подумать грубо и привычно-муторно: «Стаканом все это кончится, паря! Не в первый, небось, раз...» — но подумалось плохо, неубедительно. Что-то сегодня было не так... Что-то сегодня было не так, как всегда...

«Ах, да! Сон!» — догадался он, и вдруг —

— и вдруг без всякой связи с предыдущим и без всякой связи с будущим — будто беззвучный сиятельный взрыв полыхнул у него перед глазами! Он внутренне даже зажмурился, скомкался нутром.

— Господи! Это же *Надя* была!!

Торопясь, попытался вызвать из сна облик той женщины, показалось, что вспомнил... Надино лицо спешно постарался увидеть, смутно увиделось, как сквозь мутное стекло, — но короткая нежность, но нежная сладкая боль сновидения так без усилия, так просто и ладно совместились с образом той, которая в душе его была обозначена именем «Надя», что он тотчас же почти уверен стал: да, именно Надя являлась к нему во сне и с любовью, с состраданием, с кровной болью всматривалась в его спящее лицо.

Он подивился: «Сто лет не вспоминал, а тут... вот те раз!»

Конечно, Надя.

Конечно, Камчатка.

Он услышал вдруг, что ему легко, и душа его улыбается: Надя... Камчатка... Надя...

...Двадцать с чем-то часов летели, наконец, доле-

тели и вот, блаженно оглушенные тишиной, счастливые синевой небес, солнышком, диковатой свежестью ветерка, то и дело пробегающего мелкой рябью через пространство аэродрома, с весело бередищим зудом наслаждения чужа под ногами родимую твердь земли, вразброд и неспешно-радостно брели к тихо-провинциальному зданию аэропорта, выкрашенному в голубенькое.

Он мельком оглянулся на рядом идущих и вдруг заметил: все улыбаются. Потом заметил, что улыбается и сам.

У него было ощущение, что он — *вернулся*.

И еще не покидало одно отчетливое, светло-тревожащее чувство: много простора.

Чуть не рядом ли с аэродромом начинались зелено заросшие сопки. Подальше — горизонт загромаждали настоящие горы, вулканы с побеленными снегом верхушками. Однако — вокруг — было роскошно, неисчерпаемо много добродушнейшего спокойнейшего Простора! Во все концы.

И было по-деревенскому тихо. Возле низенькой ограды спокойно толпились встречающие, немного, человек десять.

Его восхитило еще одно: как просто встречают здесь людей, преодолевших двенадцать с чем-то тысяч километров, — хлопком по плечу, рукопожатием, беглым поцелуем в спокойно подставленную щеку.

Торопиться было еще некуда. В ожидании багажа он гуляючи обошел здание аэропорта и оказался на маленькой привокзальной площади.

Здесь было чисто и очень спокойно.

Обшарпанный, со многими потеками ржавчины автобус «Аэропорт — город» стоял, распахнув дверцы, поджидая пассажиров.

Десятка полтора легковых машин, выстроившись в сторонке, тоже поджидали.

Он сел на деревянную ступеньку лестницы и тоже стал ждать, вместе со всеми.

Великое отсутствие суety было вокруг.

Казалось, что в ушах с шорохом сохнет нежная пена — такая тут стояла тишина.

Нет, конечно, звуки какие-то были: переговаривались шофера, столпившись дружной, приветливой друг к другу кучкой возле одной из машин;

на летном поле за зданием аэропорта кто-то вольтотно и бойко бил легким железом по тонкому железу;

басовито жужжал мотор грузовичка, издавек отсюда-то приближаясь...

Но эти звуки, но все эти звуки звучали с непонятной рассеянностью, что ли, поврозь. Казалось, что едва возникнув, они безнадежно и привычно вязнут в этом густеющем, солнечно просвеченном, грузном веществе тишины, которым заполнено было все вокруг.

Он сидел на деревянной ступеньке лестницы, слепо оборотив лицо скромно греющему солнышку и, то и дело задремывая, на разные сонные лады пробоовал это незнакомое еще слово: «Камчатка... Мне нравится... Камчатка...» — и слышал, как лицевые мышцы, теряя напряжение, складываются в ленивую добродушную, слегка глуповатую ухмылку.

Их опять было двое.

Один — на ступенечке деревянного голубенького аэропортика, под ласковой негой изумительно-

ясного сентябрьского камчатского солнца — пятилетней давности ДэПроклов, нежно еще себя обожающий, в себя непрерываемо верящий и даже в самой пьяной-распьяной фантазии не представляющий, что этак-то могут качнуться когда-нибудь веселенькие жизненные качели: из князи в грязи, из плюса в минус, из благоденствия в дерьмо.

Второй — столб столбом торчал в подмосковном поселочке, посреди голого неприглядного сада, под грязноватыми весенними тепленькими небесами — человек неизвестного уже звания, неизвестного будущего — его протяжно, мытарно колотило как бы в тоскливой лихорадке, и весь он, нелепо, по-черепаши вытянув шею, весь был люто, голодно, надсадно-печально устремлен к тому ДэПроклову, который сладко дремлет на ласково пригретой ступеньке лестницы, безмятежен, молод, красив, удачлив, и сейчас получит багаж, и комфортно развалится в такси, и поедет в гостиницу «Авача», а потом... а потом от нечего делать снимет телефонную трубку и позвонит Наде.

Он заметил вдруг, как жалко, по-нищенски дрожит у него голова.

Он увидел вдруг себя со стороны: отошавший, полувопросительным знаком согбенный, в зябком ознобе колотящийся, весь средоточие чуть ли не в голос воющей мутной тоски.

А затем — будто вырубил напряжение — его мигот отпустило. Тотчас он обмяк, старчески одряб, и немыслимо ослабел вдруг коленками.

«Один шанс... — медленное, ясное, напряженно-печальное явилось озарение. — Один-единственный шанс для тебя спастись: Камчатка... Надя... Камчатка...»

И он в единое мгновение уверовал: это так.

Он вернулся в дом. Дверь за собой притворил аккуратненько.

Движениями двигался тихими, сонными, будто боялся растряссти что-то в себе, будто боялся зыбенькое какое-то равновесие в себе нарушить.

Сел за стол. Всех оглядел взглядом странным, полунормальным, даже слегка усмешливым.

— О! Оклемался? — сказали ему. — Вон стопарь тебя ждет-заждался.

Он придвинул к себе стакан. Стакан был мутносерый, по ободку жирно захватан нечистыми табачными губами.

— Это мне? — спросил он.

— А кому же еще? Мы уже квакнули.

— Тогда извините...

Отнес стакан к топчану, поставил на пол.

Сел и стал, многотрудно пыхтя, стаскивать опорки. Все внимательно смотрели.

Избавился от вонючих подверток, скомкал и злоэнергичным броском точно отправил за печку.

Затем водкой стал неторопливо мыть ноги, по-немногу отливая из стакана в ладошку.

Все следили за ним в ошарашенной тишине.

— Извините, ребятки, — сказал он, действительно, извиняющимся голосом. — Мне в Москву надо, а воду греть...

— Мда, — произнес, наконец, один.

— Ну, Димыч, — сказал второй полушутя. — За такие вещи расстреливать надо.

Третий промолчал, все еще не в силах избавиться от потрясения.

Оставшейся водкой он смочил тряпку, накрепко протер ступни и еще посидел несколько, пошевеливая пальцами ног.

— Жутко приятно, — сообщил он сидящим за столом. — Теперь только так надо водку потреблять.

Странное дело, произведенное действие в нем будто бы энергии прибавило.

Добыл из-под подушки чистые носки, выволочил из-под топчана вот уже год не надеванные ботинки, с гвоздика сдернул кобеднишные брюки, китайскую дутую куртку.

— Едрена-матрена! — не выдержал кто-то из собутельников. — Да он же у нас красавец!

— Слушай, может, тебе гаврилку дать? У меня хорошая есть, англичанская.

— А ведь мне бы тоже надо съездить... — неуверенно сказал тот, что пребывал до этого в состоянии ступора.

— Бабки-то на дорогу есть?

— Откуда?

— Одолжить?

— Давай, если есть лишние.

— А ты лишние деньги когда-нибудь видал?

— Я уже давно денег не видал. Тем более лишних.

Вот такой шел разговор, а ДэПроклов об одном только думал, как бы не растерять эту свою слабенькую решимость что-то этакое попытаться предпринять, дабы любой ценой оказаться в конце концов на благословенной земле Камчатки. Потому-то и изображал сдержанность в жестах, хмурость в репликах, что слаб еще был, ужасно слаб, и куда как приятственнее было бы смачно плюнуть на эту камчатскую, бредом папахивающую химеру, быстренько подсуетиться с деньгами, пузырярей накупить да и закеросинить тут, не сходя с насиженного места, на полную катушку с этими вот, друзьями-хорошими-приятелями!

— Ну, ладно, — сказал он больным голосом, встав в дверях. — Поехал я. Благодетель интересоваться будет, скажите, в Инюрколлегия вызвали — наследство обломилось от американского дядюшки с Мелитополя.

— Ты чего это, серьезно? Насчет наследства?.. — спросил мясник, самый из всех наивный.

— Вру, — лаконично ответил ДэПроклов и опять со вздохом повторил: — Ну, пошел я...

И — пошел, внятно ощущая, что идти-то ему неизвестно куда.

В Москве его не бывало уже года два. Побавался он ее, одичал, да и нечего ему было там делать. За пустяковыми своими покупками ходил в сельпо. В крайнем каком-нибудь случае всегда можно было и в райцентр сбродить — всего-то два километра. Скукожилась география ДэПроклова.

Он сам себе все чаще напоминал того таежника с верховьев Тоора-Хема в Восточных Саянах, который, услышав в ответ на свой вопрос: «Откуда вы?» — «Из Москвы», понимающе кивнул: «А, из Красноярска, значит...» Дальше Красноярска его познания в географии не то чтобы не распространялись, они ему просто ненадобны были. Он, может, и знал, что есть такой город Москва. Точно так же, как знал, быть может, что есть, ну, к примеру, такое государство, как Тринидад-и-Тобаго. А на кой ляд ему, дремучему тунгусу — Тринидад-и-Тобаго? На кой леший нужна ему была Москва?

Так и для ДэПроклова Москва за последние годы удалась в какое-то совершенно к нему не прикасательное измерение, и, если представлялась иногда ему — представлялась уродливо-огромным, невероятно скучным, абсолютно ему не нужным, душе отвратным вместилищем смердящих машин, по-тараканьи суесящихся, бегом бегущих людей, невероятно грязи, неприязни каждого к каждому, — местом для нормальной жизни противопоказанным, чем-то вроде гигантской помойки в Нагатино, где ему когда-то по репортерским делам привелось побывать, о которой он иногда вспоминал, размышляя о своей жизни, и куда, натурально, его никак не поманывало съездить еще разок, без нужды.

Ну, а никакой нужды, как вы поняли, ни у Москвы в ДэПроклове, ни у ДэПроклова в Москве, не было — вплоть до момента описываемых событий, когда он, умывши лицо водой из дождевой кадки, ноги сполоснувши водкой, поразив воображение остающихся своей решимостью и отвагой, все-таки в столицу отправился.

Расчет у него был насколько прост, настолько и малореален. Он и сам это, нужно признаться, чувствовал. Надобно ему было найти в какой-нибудь газете или газетенке, журнале или журнальчике (а развелось их за это время, если судить по газетным киоскам, множество невероятное) какого-нибудь такого рискованного и безответственного и уже вконец опалевшего от легких денег редактора (из числа, понятно, знакомцев), который выдал бы ему без звука кормовые и прогонные до обетованного полуострова.

И — ничего более.

Он даже не думал, как будет возвращаться.

Главное было сейчас — добраться. А там: «...Камчатка... Надя... Камчатка...» — все образуется само собой, он знал.

Для начала он с деловитым видом поковырялся в газетах у торговцев, любопытствуя отнюдь не содержанием, а составами редколлегий, обнаружил в шести из них знакомые фамилии, постарался запомнить адреса и — отправился.

...Когда вечером того же дня в желто освещенной, пустой, остервенело гремящей электричке возвращался восвояси, возвращался человек, вконец замордованный, полуготравленный бензином чадом, преисполненный блевотного отвращения ко всему, тошной тоски и вялого отчаяния.

Саднящими слезящимися глазами тупо глядел перед собой, и пуше всего ему хотелосьстонать в голос.

Как и следовало бы предполагать, в первый день выпало одно лишь «пусто-пусто».

Встречали неплохо. В основном преувеличенно-радостным воплем: «Кого я вижу!! Проклов! Сколько лет, сколько зим!» Ну, а потом началась одна и та же тяготиная: ну, где ты, ну, что ты, пишешь — не пишешь, написал бы чего-нибудь для нас. А когда произносил он, в конце концов, слово «Камчатка», веселенький дробненький, у всех одинаковый смех-смешочек начинал сыпаться. «Да ты с печки, может, свалился? Мы дальше Люберец никого уже и не посылаем». И тотчас: бумага, аренда, типография, электричество... типография, аренда, железная дорога, бумага...

Все конторы, в которых побывал за этот день ДэПроклов, слились в одно-единое, до воя скучное,

унывное и отчетливо убогое впечатление. Комнаты, по-жэковски тесно заставленные паршивыми письменными столами, мертво и холодно залитые люминесцентными лампами, цыпочки в мини-юбочках, ленивая зряшная толкотня молодежавых нагловатого вида пижонов, которые ну совсем никак не были похожи на пишущих, а более всего походили на ларечников: те же ватой подбитые плечи разноцветно-ярких пиджаков, шароварного вида броуки дудками, кроссовки, и у всех, ужасно смешно, одинаковая стрижка (во времена прокловского детства она называлась, кажется, «полубокс»).

И старые знакомцы ДэПроклова тоже были будто бы мечены одной на всех печатью. Они, чувствовалось, прямо-таки из дресен лезут, дабы изобразить некий победительный тип людей новой формации, откровенно нерусский тип, но сквозь всю эту натужную деловитость жестов, лапидарность распоряжений, ослепительность неискренних улыбок отчетливо сквозило, прямо-таки вопияло чувство неполноценности, *недоделанности*, ничем не искоренимой ущербности.

Ужасающий внутренний неуют чувствовал в них ДэПроклов. И время от времени каждого из них будто бы сквознячком прохватывало, вздрагивало в хихикающем ни с того ни с сего ознобе: вот сейчас, вот сейчас очухаются люди и покажут на них гневными перстами...

ДэПроклов не умел просить. И, казалось бы, должен был чувствовать себя отвратно в роли просителя, но, странное дело, то ли пятилетнее клошарство закалило, то ли тот факт, что он и х насковзь видел без труда и читал, то ли камчатская идея так уж его до краев заполонила, но не ощущал он унижения, совсем напротив, он был как гордец-нищий среди буржуев, руку протягивающий за монетами, насущно ему нужными, но и одновременно же, внутренне над этими домодельно сработанными капиталистами высокомерно усмехающийся.

Однако, надо было признаться, первый день оказался днем поражения.

И, подумав о дне завтрашнем, он уже не услышал в себе такой же решительности, какую испытывал сегодня с утра: одно лишь напоминание себе о том, что завтра опять нужно будет ехать в этот гадюшник, гордо именуемый столицей, одна только мысль об этом уже опрокидывала его в тошнотворное отчаяние.

И все-таки он был уже другой. О, совсем не тот, жалкий, немощный ДэПроклов сегодняшнего утра, когда явилась к нему на рассвете Надежда и поволочила из трясины, в которой он пребывал. Сейчас — с *ним, впереди него*, в подмогу ему и в воодушевление — была Камчатка. Последний шанс его. Надежда.

И он, закрыв саднящие глаза, в желтенько освещенной, издевательски гремящей пустой электричке, стал заставлять себя думать о Камчатке, дабы достало ему назавтра сил опять доехать до Москвы, опять ходить по редакциям, отыскивая знакомые рожи и впустую прося о деньгах на дорогу.

«Нет безвыходных положений. Есть — ощущение безысходности, которое нужно претерпевать», — это был давнишний его, часто спасавший лозунг, который он, к селу, ко двору, сейчас вдруг вспомнил.

И он, сильно напрягшись воспоминаниями, стал

настойчиво вспоминать себя тогдашнего, и вдруг — на удивление легко и просто — вспомнил, как зашел тогда в номер «Авачи», как солнце рыжей дымной стеной стояло наискось номера, как первым делом сунул в стакан с водой кипятильник, а потом — развесил в шкафу рубахи, вывалил на стол фото-барахло, покрывало с кровати сдернул: жить ему здесь нужно было, по меньшей мере, месяц, и ему не то чтобы уютнее, а как-то укладистее становилось всегда жить, когда казенный гостиничный номер сразу же начинал напоминать малость захлащенный дом. Он и коридорных-то к себе пускал убираться только после больших препирательств.

В ожидании чая завалился в кресло, ноги водрузил на кровать и с несказанным блаженством прижмурился.

Среди не очень-то многочисленных удовольствий, которые доставляла ему работа, вот это удовольствие было, помнится, одним из самых сладких и неподдельных: он добрался до места, он устроен с жильем, работа — только завтра. Он *честно* заслужил вот это право бить баклуши в мягком кресле, шуриться на солнышко и сонно следить, как в солнышке этом, подобно драгоценному хрусталу, торжественно и одиноко сияет на тумбочке стакан, уже оживленно поигрывающий сребристыми пузырьками, шустро всплывающими с поседолой и словно бы слегка заворсившейся петельки кипятильника.

Если честно говорить, во всем этом была изрядная доля фальши. То есть не в том была фальшь, что он, усталый после изнурительного перелета, с наслаждением предается отдыху, а в том была фальшь, что и сам этот перелет и изнурение, которому он подверг себя, добираясь до места, где предстояла работа, — все это, в сущности, было никому не нужно, ни ему самому, который что-то такое писал в то время и снимал, ни людям, о которых он что-то такое писал и что-то такое снимал, ни читателям, для которых, как считалось, он что-то такое пишет и снимает.

Однако, поскольку, как и всякому нормальному человеку, ему, конечно же, хотелось удовлетворения от своей работы, то он его искал (и находил) именно в такие вот моменты — моменты *настоящей* усталости, несомненно связанной с обстоятельствами его, пусть и пустякового, пусть и ни кому не нужного труда.

Автора газетной заметки об усть-кореньских ножах, — фамилия его оказалась Голобородько, — он еще из Москвы отловил по телефону, и по суетливой панике на другом конце провода, по суматошным интонациям, с которыми тот лепетал: «Да-да. Факт. Я, правда, сам в руках их не держал, но от очень, от *очень* верных людей слышал...» — ДзПроклов еще более утвердился в мысли, что замечочка эта — липа, что начинал ее внештатный прохиндей единственно из жгучего желания видеть в центральной прессе жирненько напечатанное имя свое, со всеми из этого вытекающими приятными в провинции последствиями.

С кружкой чая в руке он подошел к окну.

Внизу была улица, по-воскресному пустоватая (хотя день был будний), не просторная, застроенная с одной лишь стороны. С другой — ее угрюмо теснила грубо вторгшаяся в город, полнеба закрывающая сопка.

Сопка выглядела не очень-то приглядно. Вся внизу в проплешинах огородов, в жалкой коросте каких-то хибарок, чуть ли не шалашей, кривобоких будочек, сараюшек... Судя по линиям разноцветью тряпья, щедрыми бедняцкими гирляндами изукрасившему заборы, там люди жили. Нетрудно было представить, насколько нелегко жили.

...Он думал, что едва приляжет, едва прикроет глаза, сразу же и заснет. Все-таки за весь полет он если и придремал, то лишь пару раз, минут по двадцать.

В Москве сейчас было черт те сколько времени — утро вчерашнего, что ли, дня?.. Он устал, усталость ощущалась в нем, как тягостная духота каждой клеточки тела. Но — сон не пускал его нынче, увы. Сон держал его на плаву, как щепку, как пробковый поплавок, и лишь чуть-чуть, на самую малую глубину удавалось погружаться в вожаделенную рыжую тьму сна — когда в очередной раз он пытался подсчитать, сколько же сейчас может быть по местному времени, если учесть, что вылетал он из Москвы («по Москве») во столько-то и летел двадцать два часа через девять часовых поясов навстречу движению Солнца.

Телефонный аппарат — салатного цвета субтильный «ВЭФ», весь постояльцами битый-перебитый, весь клеенный-обклеенный разноцветными полосками сохлого скотча, — стоял от Проклова на расстоянии протянутой руки.

Он снял трубку, с любопытством послушал. Гудок был.

Тогда он добыл из тесного кармана джинсов записную книжку и отворил ее на букве «К» — Камчатка.

Там было всего два телефона.

Он набрал номер внештатного Голобородьки.

Отозвался голос валяжный, сыто-бурчливый:

— Корреспондентский пункт.

— Это ДзПроклов из Москвы. А звоню я вам из гостиницы «Авача».

Там на секунду затихли, перестали дышать.

— Рад слышать вас... — А потом, после паузы, с отчетливо просквозившей неприязнью сквозь вежливость тона: — Все-таки, значит, приехали?

— Да, вот. Все-таки, значит, приехали. Ваше творчество, должен заметить, возымело большой резонанс.

— Вы в каком номере?

ДзПроклов посмотрел на ключ и назвал.

— Я к вам заскочу как-нибудь вечером.

— Э! Э-э! — грубо заорал ДзПроклов. — Боюсь, что вы не очень понимаете ситуацию. На вашем месте — во избежание неприятностей, которые мгновенно последуют, — я быстренько отыскал бы тех «очень, очень верных людей», которые вам про те ножи наврали и о которых вы мне говорили, и постарался бы что-нибудь придумать. Когда я расскажу, какой вы шухер наделали дерьмовой своей заметкой... короче, я к вам сам завтра приеду! К утру я должен знать: *кто*, где, как туда добираться. Диктуйте адрес, где вы располагаетесь.

Тот покорно продиктовал.

— Тогда до завтра.

Он положил телефонную трубку, и у него осталось скверное ощущение, что отныне у него на Камчатке есть враг.

— Курва вербованная! Графоман хренов! — ска-

зал он в сердцах. — Ну, да ладно. Разберемся. День приезда, день отъезда — дни нерабочие.

Оставался второй телефон.

Он с сонной тупостью зрил в цифры, записанные под словом «Камчатка», и с беспокойством ощущал в себе странное: он никак не может повелеть себе протянуть руку и набрать номер.

Он уже плоховато помнил ту, которой собирался позвонить и чей номер дала ему в Москве бывшая ее подруга. Было смутное воспоминание о чем-то, очень светлом, очень тихом, слегка скучноватом, очень приглядном и — одновременно же, — едва мерцающая досада на себя, тогдашнего, так глупо упустившего от себя это светлое, тихое, нежно-приглядное, теплое...

Вот уже с полчаса сидел он так, сонным взором обращаясь то к записной книжке, то к телефону.

Рука его словно бы свинцовым параличом была отягощена. И, глянув на себя со стороны, он лгонию вдруг тревогу испытал — за себя.

Что-то тут было не так.

Чего он боялся?

То ли того опасался, что давным-давно уже вычеркнули его тут из памяти, и появлением своим он поставит себя в положение глупое, неудобное, ставшее и других в положение глупое, неудобное?

Или того страшился, что навоображал себе черт те чего (а ведь навоображал: и о ней, и о себе, и о них двоих), а на проверку все окажется куда как просто, скучно, плоско, *никак?*..

А может быть, напротив, как раз совершенно другого трусил, — и это более всего походило на тревожную правду, — что обернется звонок этот чем-то нешуточным, тяжело-серьезным, обрекающим на какие-то чересчур уж непосильные, надсадные напряжения слабосильную его душонку?

Так это было или не так, а вот сидел уже с полчаса в дремотном этом оцепенении, потом вдруг поймал себя на этом, вскочил, пару раз пробежался по номеру, быстро сел и стал быстро набирать номер, грубо дергая цифры раздолбанного диска.

— Я сейчас позову... — очень доброжелательно и охотно сказала какая-то женщина, и он услышал, как стукнула об стол трубка, как гроыхнул отодвигаемый стул, как куда-то в глубь тишины удалились, молодо и тоненько постукивая, каблучки.

Он слушал, как в трубке что-то пришепetyвает, потрескивает и словно бы с равномерным шумом откуда-то куда-то течет, старательно ни о чем не думал, старательно претерпевал назойливо-нудное желание положить трубку назад... И тут — к телефону подошли.

Он услышал полувопрос, приветливо настороженный:

— Слушаю...

— Здравствуй! — сказал он.

Она чуть помедлила, а потом произнесла таким голосом, будто у нее волнением нежно схватило горло:

— Дима-Дима... — сказала она. — Неужели это ты?

Прошло восемь лет, а она помнила его голос.

Он чуть не проехал свою остановку.

Он вскочил, взбудораженный.

Он вскочил, интонацию ее вспомнив: на него, привыкшего медь по грошнику пересчитывать, тогда вдруг — словно бы ливень серебра пролился. *Сколь-*

ко доброты заранее, столько доброжелательности заранее, столько веры в его доброту «заранее», столько ничем еще не заслуженной, пока еще, нежности он в десятке-полтора фраз, ею произнесенных по телефону, услышал (а вот сегодня опять услышал), — что вскочил в нехорошей, подмосковной, гроыхающей, грязной, немошно освещенной, беспризорной электричке — человек вскочил, на обычного ДЭПроклова не похожий, — не пьянь, не рвань, не антипод подзаборный, а ДЭПроклов — воспрянувший, вновь силу в себе почуявший, с отчаянной интонацией «или-или» приговоривший себя на этот непосильный подвиг: оказаться через пару-тройку дней там, где Камчатка, где Надежда, где Камчатка... присесть на деревянную ступеньку аэропорта, наконец-то доехав, и...

То ли на третий, то ли на четвертый день хождений начало фартить.

Один редактор (с легкой руки ДЭПроклова до сих пор ходивший под кличкой «Фима-золотая ручка») вдруг вдохновился, забегал по кабинету, стал слова говорить: «цикл», «серия», «подборка», потом, ясное дело, «типография, аренда, железная дорога, бумага», потом — «спонсор» (которое он произносил, как «спонсер»), в общем, пообещал, что, кровь из носу, но послезавтра что-нибудь придумает...

Это было уже кое-что. ДЭПроклов взбодрился. Он давно уже заметил, что так же непреложно, как *ко-сяком* идет беда (и тогда: «...отворяй ворота...»), так же, навалом, идет и удача. Потому, стараясь не слишком-то раскатывать губу в ожидании послезавтрашних подаяний, он с терпением, но и с уверенностью в неминуемом везении, отправился дальше по списку, в котором было еще не меньше восьми адресов.

У Фимы газета называлась, казалось, желтее некуда: «Секс-информ-бюро», но следующая даже и ДЭПроклова, вроде бы уже и не вздрагивающего от «Он плюс Она», «Шизо-пресс», «Ублюдок», восхитила своим названием: «Комшмарная «Правда».

Газета располагалась в двух квартирах жилого дома (с проколотым междустенком) в районе Марьиной Рощи.

Пахло там чрезвычайно вкусно: старозаветным каким-то венгерским, кажется, пакетным супчиком — с паприкой, корейкой, петрушкой.

Вполне возможно, что ДЭПроклов туда и пришел-то по нюху.

Дальше произошло так. Шарахаясь по той конторе и чуть не падая в голодный обморок от запаха венгерского супчика, он вдруг увидел идущую навстречу ему по коридору чрезвычайно знакомую личность — бывшего своего шефа, бывшего своего Верховнокомандующего — более знакомой и более не любимой личности (ну, может быть, кроме первой жены) и не бывало в его жизни.

Тот — пробежал мимо шага четыре.

ДЭПроклов — из самоуважения — шесть.

Тот оглянулся.

ДЭПроклов — тоже оглянулся.

— Проклов?

— А что, не похож?

— Что здесь делаешь?

— Да вот... — отвечал ДЭПроклов, совсем уже озверевший от хождений. — Назначили меня к вам Главным, а кто мне дела будет сдавать, никак не найду.

— Шутишь, — мгновенно определил Главкомандующий, которого фамилия была Иванов, а имя-отчество: Давыд Давидович.

— Какие уж тут шутки, Давыд Иванович, — грустно сказал ДэПроклов.

— Кофе хочешь?

Хотелось сказать ДэПроклову, что сейчас больше всего на свете желается ему супчику венгерского, но он сдержался:

— Кофе так кофе.

— Ты это всерьез?

— Насчет Главного? Так вы мне, Иван Давидыч, скажите: что у нас нынче не всерьез?

Тот мгновенно задумался. Видно было: какие-то бредовые варианты считает.

— Кофе?

— Кофе так кофе. Лучше бы, конечно...

— Будет!

И пришлось бедному, голодному ДэПроклову вместо вожделенного венгерского супа вкушать опять коньяк какой-то вонючий под огрызок лимона.

Впрочем, не это было главное, а удивительнейший разговор и, что самое удивительное, пару раз крутанувшись, зашел он — опять о Камчатке.

— Я тебя, Проклов, не люблю, — третье, что сказал после второго глоточка Давыд Давидович.

— Я вас, Давыд Иванович, уважаю, но не люблю тоже.

— А знаешь, почему?

— Я тоже не знаю. И позвольте задать вам один очень не деликатный вопрос, почему вы, столько лет в такой конторе отпахавший, который *вхожи* были, который и огонь, и воду, и канализационные трубы прошли, — почему вы сейчас в этом гадюшнике? По возрасту — почтенный старый еврей — могли бы и на пенсию. Могли бы и слиться куда-нибудь — мало ли на глобусе сейчас местечек для вас? — да ведь и *гонимост* так ли уж трудно было бы организовать. Опять же — мал-мала, а таки прикопили? *Не понимаю!* Хоть убейте!

— Убивать не буду, — кратко пообещал Иванов и многосмысленно закрывал. — Я тебе сказал уже один раз, что я тебя не люблю?

— Ага.

— Ты помнишь тот наш разговор, когда тебя надо было посылать на Камчатку? За теми (он по-русски матюгнулся) ножами?

— Это *вам* надо было меня посылать. Мне с той командировки до сих пор блюется. С большим удовольствием и с меньшими для себя потерями я послал бы себя тогда в самый какой-нибудь замечательный город мира — Пошехонье, например, Володарск (сейчас-то, наверное, или «Пошехонье» или «Володарск» вы уже отменили?..)

— Я тебе в пятый, кажется, раз повторяю: я тебя не люблю, но как профессионала уважал и уважаю. Ты еще в те времена мог бы это понять. Едкость слова у тебя и до сих осталась.

— В моих словах всегда одна только нежность была — тогда, когда-то. А сейчас-то, Иван Давидыч, я, как никогда еще в жизни, нежный, тихий и мирный, и одно лишь от жизни хочу: на Камчатку!

— Ну, вот. Опять та (он опять по-русски, но как-то не слишком уверенно, будто через переводчика, матюгнулся) твоя командировка! Ты хоть за это время смог доанализироваться, что именно после той

поездки твоей на Камчатку все и начало разваливаться?

— Я-то ладно. Я — человек микроскопический. Но вы-то, все-таки, не ответили, Давид Иванович, что же все-таки *с вами* случилось?

И вдруг — немыслимое случилось дело — этот, изнуренный аппаратными, внутри- и межнациональными, коммунально-дачными, профсоюзно-акционерскими делами, очень уставший, через год-полтора должный, приговоренный умереть, от рака двенадцатиперстной кишки, человек вдруг очень понятным вздохом вздохнул — мгновенно превратился в малозначительного, не слишком взрачного старикашку — и так он вздохнул.

— Дмитрий Николаевич! — (именно на «вы», и отчество, гнида, вспомнив...) — Дмитрий Николаевич, *я не знаю!*

— Не верю!

— Тем не менее, это — так.

— Как же так?

— А вот так.

— Так разобраться же надо!

— Надо бы. Я — стар разбираться, и я устал.

— Так давайте мне командировку! Уж меня-то вы знаете (или, по крайней мере, знали) я-то разберусь!!

— Я же в этой редакции не главный. Денег, насколько знаю, нет, — ответ был сух, без всякой приязни, казенен.

И тут ДэПроклов психанул.

— Ну, идите вы все к экзэзмэне-какой матери! Я сам разберусь. В гробу я вас видал, жмоты! За жилетные кармашки держитесь! У вас, еж-вашу-мать! — карьеры, пенсии, что там еще? — дачи, пайки по-страдали, а вы?!

— Ну, знаю я, было две телеги... — вяло сказал Давыд Давидыч.

— Сам доеду! Скучно мне с вами! — ДэПроклов аж закрипел зубами.

— Возражу я тебе завтра, утром. Жди. — Главкомандующий устал, а ДэПроклов, голодный, взбешенный, вскочил и ушел, как убежал.

— Дмитрий Николаевич, одну минуту!

— Ну?

— Вы у... (он назвал имя-фамилию благодетеля) у него сейчас пребываете?

ДэПроклов изумился по-настоящему.

— Откуда вы?..

— Шлюхами земля полнится... — И засмеялся Давыд Давидович Иванов-Преображенский, все же таки последнее слово оставивший за собой.

А на следующее утро в маленький прокловский поселочек было явление «мерседесов» изумленному народу.

«Мерседес», правда, был один — на нем Давыдов-Иванов приехал, собственноручно. Была еще то ли «вольва», то ли «аудио» — из которой никто так и не вылез. Был еще «жигуленочек» невзрачный, а в отдалении, будто бы и ни при чем, что-то похожее на маршрутное такси тормознуло, но японское.

Из «мерседеса» выбрался Давыд Давидович. Из «жигуленочка» — некто в сером.

Откуда-то три румянощеких «афганца» (военкомат, наверняка, не выдавшие) в болотной маскировочной одежде, не скрывая оружия, которое угрожающе топорщилось под куртками, оказались на крыльце.

Диковато оглядевшись, и Давыд Давидович и sereneкий быстро нашли ход к дэпрокловской халупе, где он возлезал ногами вверх, в то время как его соратники, не скрывая сердечного сострадания, но не посягая на прокловскую решимость завязать, опустошали свой утренний пузырь.

ДэПроклов, ногами вверх, читал — в сотый раз перечитывал драгоценный свой рассказ, не для денег сделанный, и был тот рассказ, как вы догадываетесь, о Камчатке.

Рассказ назывался плохо: «Вот тебе и повезло...» — и повествовал об Лизавете, хорошенькой, глупенькой бабенке, с которой пришлось ему сношаться, которую пришлось вывезти с Камчатки, которую потом в Москве пришлось замуж выдавать, изображая из себя посаженного отца.

...Он внимательно прочитал последнюю фразу рассказа: «Она проворно повернулась лицом, и он услышал беглый, благодарный и немного рассеянный поцелуй в своей ладони...» —

и обернулся к вошедшим.

Первый вопрос был:

— А как вы меня тут нашли?

Ответ был прост:

— Если надо, мы тебя где угодно найдем. — Это сказал серый, с чахоточно-изможденным лицом несчастливое, очень усталое человека.

Ребята оживились.

— Дима! Может, их на кулаках унести?

ДэПроклов ответил:

— Во-первых, погляди на крыльцо. Во-вторых, я на Камчатку хочу, а *эти* вроде бы и не против.

— Мы — не против, — сказал человек в сером. — Мы — *за*!

Давыд, с опаской присевший на табуреточку возле входа, подтвердил с интонацией пришей-пристебей:

— Да, Дмитрий Николаевич, мы — *за*!

— Так в чем проблема? — ДэПроклов скинул, наконец, ноги с верхотуры и сел. — Давайте командировку, давайте деньги, и я — опять ездец!

— Ну, так и поехали? — ослепительно-опасно улыбнувшись, полуспросил-полуприказал чахоточный серый.

— Ну, и поехали! — у ДэПроклова маленько вскружилось в голове. — Если денег дадите...

— Штаны тебе нужны новые, джинсы, скорее всего... — задумчиво сказал серый.

— Надо, так давайте! Штаны новые.

Серый сказал:

— Поедем, все будет.

Давыд Давидович сидел, скромнехонький: он это рандеву устроил, и он же, как всегда, был ни при чем.

Потом уже в «жигуленке» серый спросил:

— Чего тебе надо?

ДэПроклов ответил, как на духу:

— На Камчатку мне надо.

Тот скупое и скучно ответил:

— Сделаем.

Проехали еще сколько-то. Серый сказал шоферу:

— Стой! Сорок восьмой, третий рост, джинсы. Быстро!

Тот вылетел пулей.

ДэПроклов обнаглел:

— Позвольте задать вопрос? Какой именно в аш интерес в этой моей поездке?

— Объясняю, — монотонным голосом отвечивал серый. — Я был причастен к той вашей, знаменитой поездке за усть-кореньскими ножами. Я — никому — ничего — не — прощаю. Никогда. Но я — до сей поры не могу понять, кто именно сделал так, что...

— О! — вскричал тут ДэПроклов. — Вы — тот самый, что ли, инструктор?

— Тот самый, — скупое ответил серый.

— Тогда... — сказал ДэПроклов, совсем уж по-барски разваливаясь на заднем кресле, — тогда вы сделали стопроцентный выбор. Я — именно я! — знаю *вашего* человека. Давайте телефон, я вам с Камчатки позвоню.

Простым жестом тот достал визитку, на которой, кроме фамилии и телефона, ничего не было.

Прибежал шофер, очень оживленный то ли общением с продавщицами, то ли оставшейся в руках сдачей.

Переодевши штаны и выкинувши старые на обочину, ДэПроклов спросил:

— У вас пары двушек нет?

— Двушек чего?

На него глядели странно.

— Позвонить.

Тут шофер, как ему и полагалось по иерархии, молчаливый — заржал в голос.

— Я что-то не так сказал? — сказал ДэПроклов.

— Все правильно, — сказал серый чахоточный.

— Не могу же я, собравшись в езд, не позвонить пару раз!

— Все правильно, — все с той же монотонностью в голосе отозвался человек в сером.

Тут возник среди прокловских сопровождающих разговор, в котором слышались слова: «жетоны», «рублевки» и «хрен его знает» — а закончился разговор тем, что серый сказал водителю:

— Помига! Додику. У него, вроде бы, сотовый был...

Помигали. Японский микроавтобус мигом оказался чуть попереди, и азартные рожи оглобод в маскировочных куртках стали выглядывать из всех окошек — может, кому-то морду бить, а может, в кого пальнуть?

Додик быстренько принес с портсигар величиной телефон — (бежал старикашка победкой холуйской, что ДэПроклову чрезвычайно понравилось) — поковырялся наш герой в растребушенной своей записной книжке, пощелкал по кнопкам аппарата, и тут ему сказали:

— Ты что, Дима, ничего не знаешь?

— Я вообще ничего не знаю, — бодро и весело отвечивал ДэПроклов.

— А Нади уже нет.

— То есть как?

— Ну что ты, как маленький? Н е т! Умерла, погибла, убили — никто ничего так толком и не знает.

— О-о... — только и сумел, вместо ответа, вполголоса взвыть ДэПроклов.

У него было чувство, что он вдруг сгорбился и стал немощным и маленьким: так уж неожиданно, так уж вероломно ахнула вдруг на него тягостная тоска услышанного. И сразу же: темень опустилась на все, как предзвездные сумерки, и сразу же стало трудно дышать почему-то, и мгновенное нехотение что-либо

делать, даже рукой шевельнуть, — *вмиг обнищавший*, все это он почувствовал, услышав десяток слов, сказанных ему по телефону прокурорным бабьим голосом бывшей надиной подруги.

Мгновенно большая часть Камчатки — чуть ли не вся — провалилась для него в черные тартарары. Исчезла напрочь. И уже не хотелось ему туда. Все стало так противно и тошно, что, откидываясь головой, как отрубленной, на спинку кресла и почти сомлевши от этой тоски, он одно лишь сказал, прежде чем успеть сбежать куда-нибудь от нудного мучения этого:

— Везите, куда везете.

Ему все стало обрыдлым, потому что...

Потому что...

Потому что...

...Он вошел тогда в комнату, где был уже накрыт стол, где весело, толкливо было от гостей. Вразнобой, приветливо и невнятно заужжало вокруг человеческой речью — но, странно, ни единого слова он словно не мог разобрать. Руки одна за другой тянулись к нему для знакомства — но, странно, ни единого имени, ни единого лица он тоже как бы не в состоянии был удержать...

И наконец, будто по случайности, как бы шутейно, он и ей тоже протянул руку и ей тоже сказал:

— Дмитрий. Можно — просто Дима.

И она тоже — в шутейный подпрыг — произнесла:

— Надежда. Можно — просто Надя.

А голос ее — а голос ее вдруг застенчиво дрогнул, как у девочки, и совсем уж девчоночий, предательский румянец, внезапный и тяжкий — (она южанка была и нежно-смугла лицом) — угловатыми пятками выступил на ее высоковатых скулах.

Он держал в ладони ее тоненько точеные, хрустальной хрупкости пальчики; он смотрел (знал, что надо бы оторваться, а не мог оторваться...) в ее очень яркие, карие, словно бы с закипавшими в их глубине слезами, глаза; она покоила свою руку в его большой ладони, глядела-оглядывала и вновь глядела (каждый раз с новым, казалось, выражением) его лицо — и меж ними, словно и не прерывался на десяток тех лет, снова шествовал медовый медленный ток такой родственной приязни, что и у него тоже пределезной влагой застило временами взгляд и больше всего на белом свете хотелось: ему — обнять ее бережно и нежно, как малую свою родимую сестренку, а ей — тихо прислониться к нему и уткнуться головой куда-нибудь под плечо его.

И все — смотрели — на них.

— Мы так давно не виделись, — сказала она. Сказала — ему, но и всем окружающим тоже, однако не в оправдание, а в объяснение. — Как давно мы не виделись!

И очень многое несказанное услышал он в этом ее тихом восклицании: и об обидах каких-то, и о тоске, и о большом каком-то разочаровании, и о несбывшемся. И ему тоже стало горько — ее горечью.

...Он услышал, что по щеке его побежала слеза и всполошился: не хватало еще, чтобы жлобы эти видели, как он плачет!

Он открыл глаза, повернулся к окну и, стараясь понезаметнее, вытер щеки.

— Куда везут? — бодрым и развязным голосом спросил он.

— Куда просил, туда везут, — сказал шофер. — На Камчатку. Хотел?

— Уже не хочу. Надю, оказывается... Ее уже нет, оказывается.

Серый повернулся с переднего сидения, поглядел в лицо ДэПроклову. Явно, хотел сказать властную резкость, но удержался:

— Сочувствую. Только ведь не за ради вашего свидания с женщиной мы вас... командиром (скажем так) на Камчатку. Или вы думали иначе?

— Ничего я не думал. А сейчас-то — тем более.

— Повторяю, — вновь обретая скучный тон, заговорил серый, — и очень хотел бы, чтобы вы это запомнили отчетливо: усть-кореньские ножи, *кто именно*, сам или по чьей-то воле, с чьей помощью и так далее организовал во время тогдашнего вашего пребывания на Камчатке те многочисленные анонимки, в результате которых многие (и вы, в частности) столь крупно пострадали.

— Что-то не похоже, чтобы вы очень уж пострадали... — заметил ДэПроклов.

— Это другая история.

— Кому были телеги?

— Точно известно: одна — через посольство — в канцелярию того гребаного генсека, вторая — моему непосредственному шефу, заву, то есть, по идеологии. Вполне возможно, что были другие — на самый верх.

— Мда, — сказал ДэПроклов. — Теперь-то понятно, почему такая гроза с такими кирпичами разразилась... Я вам достану *того* гаденыша, не сумлевайтесь.

— Мы и не сумлеваемся, если бы сумлевались — не стали бы на вас трагиться.

— Польщен. До глубины души. Даже растроган. До слез, можно сказать.

— По телефону, который на визитке, можно говорить открыто — он защищен. Если потребуется какая-то помощь там, на Камчатке, вплоть до... не стесняйтесь.

— Понимаю, ага, у вас длинные руки?

— Не длиннее других. Но и не короче. Паспорт при себе?

— А если вдруг нет?

— Если бы «вдруг нет» — сделали бы, не «сумлевайтесь».

И тут впервые серый улыбнулся. Улыбка у него была страшноватенькая.

«На кого же он похож?» — подумал ДэПроклов и тотчас же определил: на инквизитора, точно! — должно быть, они именно так выглядели.

— Вы сказали, что уже знаете нужного нам человека. Кто это?

— Черта с два я вам скажу прежде времени. С Камчатки, скажал, позвоню.

— Ну, с Камчатки так с Камчатки... — неожиданно легко согласился серый и, снова поворачиваясь лицом к дороге, с некоторой мечтательностью в голосе закончил: — Только ведь, если бы мы очень захотели, вы бы нам и тут, без всякой Камчатки, рассказали. Ну, впрочем, езжайте, так вернесь.

— Премного вам благодарны! — с притворной искренностью воскликнул ДэПроклов.

— Шутите? — полуобернулся инквизитор. — А я бы на вашем месте шутил поменьше. *Вообще бы не шутил.*

— Ну так вам-то на моем месте не бывать?

— Не бывать, — скупое согласился серый и, уже окончательно отвернувшись к дороге, замолчал и вплоть до самого Домодедова не вымолвил ни слова.

ДэПроклов был доволен и этим. Порядком надоели ему эти, как в плохом кино, разговорчики, явственно пахнущие угрозами и намеками. Не до них ему сейчас было.

Он отвернулся к окошку, смотрел на пролетающие мимо голые березовые рощи и не то чтобы думал о Наде и о том необратимом, что с ней случилось, а как бы тоскливо ныл обрывочными какими-то воспоминаниями о ней, и нежные и трогательные ощущения, которые он испытывал рядом с ней *тогда*, вновь, казалось бы, напроць заглохшие, пошли в устрашающий рост, но только окрашены они теперь были в тона отчаяния, безвозвратности и оттого были уже нежными — мучительно, трогательными — до ощущения плача, раздирающего сердце.

...Тогда, в их самый первый вечер, на чьем-то дне рождения, среди застольной разноголосицы, он, усажженный рядом с Надей — как жених с невестой — наклонился к ней и сказал:

— Ты знаешь, чего я сейчас больше всего боюсь? Что сейчас меня начнут спрашивать: «Как там Москва?»

Она вмиг смутилась.

— А я тоже... тоже ужасно хочу: «Как там Москва?» Как там метро? Помнишь, как мы ездили по кольцевой?

И ДэПроклов поразился: «Господи! Вот что она еще помнит, оказывается!»

...как той весной, на удивление ненастной, страшно затянувшейся, когда по улицам бродить было невмочь — и из-за скопищ рыхлого грязного снега на мостовых, и из-за въедливого ветра вдоль улиц — деваться было некуда, а расставаться почему-то невмоготу скучно, — так вот, той весной единственным их пристанищем было метро, и весь их роман, этот едва проклюнувшийся бледный немощный росточек, так ничем и не продлившийся бедняцкий их роман, он так весь и прошел в гулком теплом грохочущем подземелии, в обрамлении лампочных цепочек, дробно вьющихся во мраке по стенам тоннеля, в пневматическом шипе и стуке то и дело открывающихся-закрывающихся дверей, в вечном окружении народа, то битком в вагон набивающегося, то вдруг суетливо и спешно изливающегося наружу, в мелькании тьмы, света, тьмы, в ликующих крещендо пылких победоносных ускорений и тотчас же, как занудный закон, следующих за ними торможений, от которых враз становилось на душе и тяготно и скучно... «Белорусская. Следующая — Краснопресненская»...

О чем-то они говорили тогда? Наверное, говорили. Сейчас уже и не вспомнить. Сейчас-то ему казалось, что они просто всегда сидели рядом друг с другом и всегда молча. И им было хорошо это: сидеть рядом друг с другом — молча.

— Слушай, — сказал он тогда, во время застолья. — Слушай! Я же ведь ни разу так и не поцеловал тебя!

— Это казалось тогда так важно... — согласилась она грустно. — Какие мы были!.. — Она помолчала, усиливаясь сказать. — Хорошие... бедные... бездомные... бедные... хорошие...

Они тогда, за тем камчатским столом, согласно и с одинаковым оттенком легкой враждебности миновали памятью, вынесли как бы за скобки, того, третьего, который хоть и отсутствовал, но именно отсутствием своим портил им всю обедню. Тогда, в Москве, ДэПроклов и в глаза его, кажется, ни разу не видел, хотя были они с одного факультета. Из Надьных неохотных рассказов знал, что мнит себя по-этом, вроде Окуджавы, играет на гитаре. В ту зиму он — ко всеобщему восхищению однокурсников — взял академический отпуск и отправился простым рыбаком на океанском сейнере, дабы изучить в океане жизнь и создать что-нибудь небывало литературное.

ДэПроклова уже и тогда отчетливо мутило от явной туфты, от дешевого снобизма, каким явственно отдавало это мероприятие — по некоторым намекам и Надя примерно так же к этому относилась, — но весь ужас был вот в чем: она *обещала ждать его*. Что-то поцелуйное было у них до того, как этот Третий (то ли Игорь, то ли Вадик его звали) уехал...

И вот этим-то ДэПроклов и оказался жестоко и коварно повязан по рукам по ногам. Ни он, ни уж тем более Надя — православная душа — *не имели права* ничего себе позволить (позволить, черт возьми, именно то, к чему так нежно и согласно тянулись оба!) — ничего не могли они себе позволить, пока тот ловил свою селедку и, изучая жизнь, блевал в бурные воды Атлантического океана. Каким бы жалким пижоном ни представлялся ДэПроклову Третий, какую бы заочную неприязнь ни вызывал, ну никак не мог он позволить себе такой подлости: открыто любить и влюблять в себя ту, которая сдуру, соспеху (она и сама чуть ли не признавалась в этом) *обещала ждать!*

Ну и, конечно, же грянул вскоре вопрос: «Ну, как там Москва?» и общий разговор за столом тут же пошел вдруг в жадный рост — по законам, как бы сказать, буйно и вольно разрастающегося куста: от ветки — ветка, от ростка вопроса — побег ответа и тотчас же, глядь, тянется уже («А кстати...») свеженький, бойко растущий вопросик, на который тоже нужно, хочешь — не хочешь, хоть что-то отвечать.

Страдая от всего этого, ДэПроклов, уже чуть пьяноватый, едва ли не в графике черно-белой, едва ли не зрительно воспринимал этот разговор. Пространство беседы напористо заполнялось, зарастало словесной мелкой чепухой, как мелким веточником, хворостяной какой-то штриховкой, и он, как сквозь цепкий кустарник, не в силах вырваться, все более беззащитно оглядывался, отыскивая лицо Нади, и с каждой минутой все труднее было отыскивать в разрывах словесной мельтеши лицо Нади, с каждым разом все более поражавшее его несказанной прелестной грустью, сквозь которую отчетливо и чуть ли не грубо сквозило давнишней какой-то тоской.

Наконец, разговор за столом стал дробиться на мелкие диалоги, на монологи, совсем уж безмолвные чоканья стаканами. ДэПроклов оказался на время вне внимания и тотчас же, долгожданно обратился к Наде, всерьез обеспокоенный окаменелой скорбностью ее лица:

— Что ж ты так загрустила, милая? — очень ласково спросил он и легонько положил ладонь на ее тоненькое горячее плечо.

Она — будто бы только и ждала этого — быстро

прижалась щекой к его руке, и слезы готовно и тихо побежали из ее глаз. Он поразился.

Она тут же поднялась и, не поднимая головы, наугад взяв какие-то тарелки со стола, пошла на кухню.

ДэПроклов тоже вознамерился было встать, но тотчас почувствовал на своем плече руку Надиной подружки — Ирины, оказавшейся вдруг за его спиной.

— Не ходи, Дима, — сказала она, низко склонившись через его плечо и почти касаясь губами уха. — Не надо сейчас.

— Ей здесь плохо? — спросил он. Их лица были на расстоянии поцелуя.

— Не ходи туда... — повторила Ирина и, действительно, очень матерински коснулась губами его щеки и села на место Нади. — Давай-ка мы лучше выпьем — за Надькино счастье! Так это, значит, она о тебе молчала?

Она налила по рюмкам.

...а ты-то о ней вспоминал когда?

Проклов внутренне напрягся. Не любил он разговоров такого рода.

— Давай-ка лучше о чем-нибудь другом, — предложил он. — Что, например, ты как камчадалка знаешь о знаменитых усть-кореньских ножах?

Ирина вдруг закатилась в смехе.

— Ой! Не может быть! Ты из-за этого приехал?! Слышишь, Витюш, — крикнула она через стол мужу. — Он о кореньских ножах приехал писать!!

Все оживились, непонятно развеселись.

— Вся Камчатка (кто понимает, конечно) хохочет сейчас за эти кореньские ножи, — объяснил, наконец, Витюша. — Игорек, видать, думал, что тут

все — неграмотные или просто без понятия. Задепил для москвичей плюху позэкзотичнее, а теперь и сам не знает, как отбрезаться.

Один из гостей, самый из всех молчаливый, бордатовый, вышел в прихожую и тут же вернулся. Протянул ДэПроклову длинный нож в грязных потертых кожаных ножнах.

— Вот он, знаменитый кореньский. Сидит там такой дядя Митя, лудит из тракторных рессор, из чего попало, на потребу оленеводов. И дядя Митя доволен — всегда при мясе, и тунгусы рады — это-то все-таки маленько получше тех, павлово-посадских, которые им туда завезли.

ДэПроклов вытянул нож из засаленных ножен, и тот ему сразу же ужасно понравился: тяжелый, грубокованный, дикарский нож. На душе у него полегчало: если маленький генсек — настоящий коллекционер, он должен кипятком обсикаться от такого подарка.

— Если я погрязнее да пострашнее не найду — продашь мне его? — спросил он, возвращая нож бордату.

— Да за так бери! Дарю!

— Все-таки съездить мне туда придется. Картинки сделать, опять же экзотики треба...

— Насчет «съездить» — это может и не простым быть: Север. Перевалы закрываются — люди, бывает, по три недели сидят.

Ирина вдруг воскликнула в сердцах:

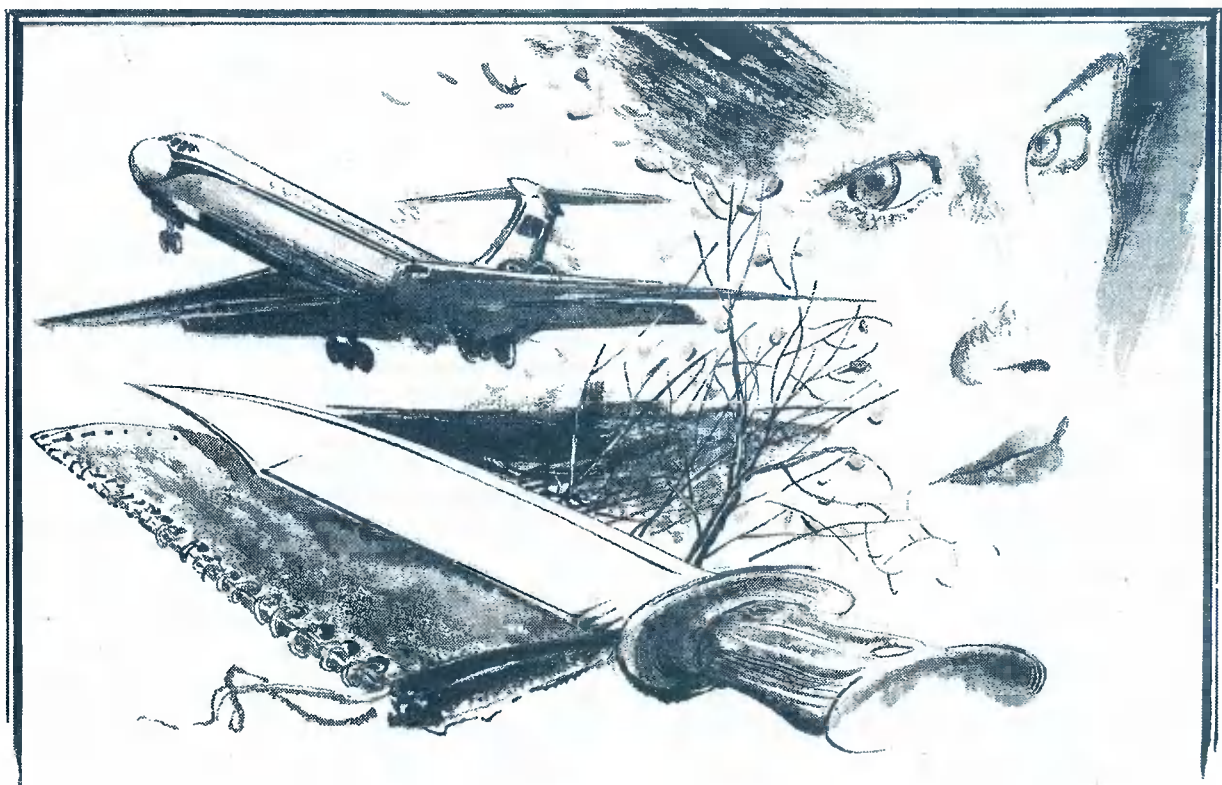
— Господи! Да неужели же ты, кроме ножей этих липовых, ничего другого о Камчатке не напишешь?!

Все согласно загомонили.

ДэПроклов неосторожно спросил:



Рисунки Ольга Кокина



— Ну, а еще о чем? К примеру...

Тут-то и посыпалось. Он только успевал записывать.

Что за прекрасная страна вставала из этих рассказов! И как же они любили эту свою Камчатку! Это была ужасно трогательная, диковинная любовь — любовь-напряжение, любовь-изумление, любовь-нескончаемое узнавание, надрывное какое-то обожание этой страны со скверным, как нетрудно было понять, климатом, с ужас наводящими землетрясениями, дикими ветрами, валящими с ног, с дождями по месяцам, с вечными нехватками всего, с лютым бездорожьем, с житейской почти у всех неустроенностью, — страны окраинной, дальше некуда, забытой и Богом и властями, — но страны с изумительной, как нигде в мире, природой, со зверьем непуганым, с речками, кишасими рыбой, с тайгой, непроходимой в самом прямом смысле этого слова... В этой стране всего, видать, было вдоволь и на всякий вкус: и гор, и рек, и вулканов, и тундры, и вечных льдов, и кипятком бьющих из земли гейзеров, и таких красот, и таких красот, повторяли они наперебой, каких вы больше нигде не увидите! Каждый из них приезжал сюда чуть ли не поневоле, с расчетом отработать положенные два-три года, и вот уже по восемь, десять, по двенадцать лет жил здесь, не помышляя о возвращении на материк.

— Поверь моему слову, — сказал Витюша. — Ты не захочешь отсюда уезжать.

— А я уже и сейчас не хочу отсюда уезжать, — почти всерьез отозвался ДэПроклов, с тревогой косясь на по-прежнему пусто распахнутую дверь в кухню. «Она там плачет?..»

Разговор продолжался. Сидели вокруг стола уже

по-хорошему закоренившиеся люди, и ощущение спокойного дружелюбия соединяло каждого с каждым, сопрягало каждого с каждым. И ДэПроклов с отдыхом в сердце чувствовал, что и его тоже они спокойно и добродушно включили в свой круг.

Потом позвонили в дверь. Ирина пошла открывать. С удивлением ДэПроклов почувствовал среди сидящих как бы дуновение легкого неудовольствия. Это не враждебность была, а быстрая и легкая неприязнь к чему-то, что сейчас возникнет, внося с собой чужое, и это почему-то надо будет всем терпеть.

— А вот и Игорек соизволили...

И Игорек появился.

— Станция Березай — кому надо, вылезай! — объявил водила веселым голосом и аккуратно воткнул «жигуленок» между двумя иномарками.

Микроавтобус пристроился впритык сзади. Маскировочные молодцы выскочили, рассредоточились, стали озираться многозначительно-угрожающе. ДэПроклов чуть не рассмеялся — очень уж похоже было на американское кино о тяжелой жизни сан-францисских гангстеров.

Серый повернулся к ДэПроклову, и тот увидел пухлый конверт, с канцелярским шиком запечатанный голубым скотчем.

— Здесь билет. И все остальное. Надеюсь, наш разговор вы запомнили. Поэтому надеюсь, что все будет тип-топ.

— Все будет тип-топ, босс! — отвечал ДэПроклов с шутовскими интонациями. — Тип-топ, и даже более того!

— «Боле того» не надо. Будет довольно того, о

чем я говорил и что, надеюсь, вы запомнили.

— Меня вот что интересует, шеф... — все в том же духе продолжал веселиться ДэПроклов, чувствуя, что веселится на какой-то опасной грани. — Какова будет моя биография потом? Как я понимаю, по законам вашего жанра я волей-неволей становлюсь, как это называется, нежелательный свидетель, и поэтому...

— Свидетель *чего?*.. — брезгливо оборвал его серый, помолчал и, не дождавшись ответа, продолжил: — То-то же. Вы — человек, извиняюсь, маленький, и дело ваше — маленькое. Из этого и исходите.

Потом повернулся к шоферу и уныло приказал:

— Позови кого-нибудь из этих... — он кивнул за окошко.

Тот выскочил мигом. Нужно отдать должное серому господину, шагом у него не ходили, только вприпрыжку.

Подошедшему камуфлированному амбалу с борцовским загревком серый через опущенное стекло что-то негромко и кратко сказал.

Тот кивнул и поглядел при этом на ДэПроклова взглядом снулой рыбы.

Амбал открыл заднюю дверцу:

— Давай!

— С вещами??

— Давай-давай! Юморист...

— Довидзення, панове! — сказал ДэПроклов зеркальцу заднего вида, из которого следили, оказывается, за ним внимательно-изучающие и, казалось, о чем-то размышляющие глаза.

— Фэрвэл, дарлинг! — Потом, через крохотную паузу: — Энд иф форэвэ...

— Так все-таки «Фэрвэл форэвэ?..» — тряхнул университетским знанием ДэПроклов.

Серый, казалось, не без приятности удивился и даже что-то человеческое услышалось в его механическом монотонном голосе:

— Ишь ты... Все будет путем, «не сумлевайтесь».

ДэПроклов выбрался из машины и, как под конвоем, пошел к входу в аэропорт.

— Паспорт давай и билет, — с привычно-хамскими интонациями в голосе потребовал конвоир.

ДэПроклов распечатал конверт и про себя ахнул: такой кучи денег он не видывал в жизни. Впрочем, вида он, конечно, не подал.

Приказав стоять, где стоишь, амбал пошел к окошку регистратора, а ДэПроклов — в тамбур перед выходом, покурить.

Там его и обнаружил минут через пять запыхавшийся, насмерть, казалось, перепуганный охранник.

— Что же ты, сука?! — заорал он вполголоса. — Я ж тебе сказал, где стоять!!

— Я тебе не зэк, было! — неожиданно для себя рассвирепел ДэПроклов. — Я тебе не подчиняюсь. Я подчиняюсь... — он добыл визитку и прочитал: — заслуженному пахану Российской Империи Валериану Валериановичу, понял? А будешь выступать, я ему наябедничаю, и он сделает тебе ата-та.

— У-ух, падла! — аж засвистел от свирепости амбал. — Ну, ладно. Мы еще встретимся, и тогда...

— Не надейся, не встретимся. Во-первых, когда я вернусь, ты будешь уже в морге — у тебя на лице написано, а во-вторых, где здесь буфет?

Тот был в явной растерянности. С одной стороны, все существо его так прямо-таки и ныло от желания сделать этого ханурика, применив в фулл-

контакте что-нибудь из ржавеющего арсенала каратэ Дзенсинмон, которому он в поте лица обучался в школе «Динамо» пару лет назад. С другой стороны, страх перед паханом, страх глубинный, леденящий воспоминаниями о расправах, которым он несколько раз был свидетель, вынуждал его поджать хвост и с клекотом в душе подчиниться этому загадочно хамящему клиенту.

В буфете ДэПроклов отоварился — до Камчатки было далеко, и он подозревал, что чем дальше на восток, тем круче будут цены и беднее прилавки. В этом смысле он ничего хорошего от своей поездки не ждал. Да и вообще уже ничего хорошего не ждал, ничего приятного не чувствовал он в себе даже от сознания, что, вот, все-таки своего добился и едет-таки на Камчатку. Поездка потеряла смысл — после того, как он узнал о смерти Нади, — поблекла Камчатка, словно бы сумерками ее заволокло, и уже ничего, кроме уймы скучных, душепротивных хлопот не предвиделось впереди...

Цены были запредельные — в глазах мельтешило от нулей — если бы кореша из дачного поселочка увидели, сколько отваливает ДэПроклов за покупки, то наверняка обомлели бы и стали хватать его за руки.

Однако, после того, как набил он кофр коньяками и колбасами, консервами и сырами, набил доверху, — с приятностью пришлось ему констатировать, что пачка кредиток в его кармане похудела лишь на самую малость. Это его несколько взбодрило. Привыкший все последние годы жить в откровенной нищете, сейчас он чувствовал себя донельзя комфортно.

— Выпьешь? — предложил он конвоиру.

— Ну...

— «Ну» — да? или «ну» — нет?

— Ну, да.

— Вот теперь понятно.

Ко второй бутылке Витек (так нежно и трогательно звали, оказывается, амбала) был уже ясен Дэ-Проклову, как вред алкоголя.

С удивлением и некоторым даже уважением к себе ДэПроклов отметил, что не вовсе утратил журналистские ухватки: сумел, сколь возможно, разговорить этого болвана.

Бывший постовой, в милицию пришедший из ВДВ, восемь классов, семья: мать и отец (пьянь), не женат («А на хрена?»), сейчас числится в охране коммерческой фирмы — название так и не сумел вспомнить («То ли «Юнифес», то ли «Юнифор», черт их запомнишь...»), последнюю книжку читал в армии, в свободное время любит побалдеть с хорошими телками, хорошенько бухнуть, потому что работа — хоть вроде и не пыльная, но все равно нервная. Стрелять приходилось? — «Было дело...» Ну, например, недавно, возле ресторана «Сказка», на Ярославке, их было человек восемь, мы входим, они — гужуются, даже за стволы не успели схватиться. А хрен знает, скольких положили, газет он не читает, тут главное: руки в ноги и — в берлоги! Из-за чего дело было?? «А хрен его знает!» Его дело телачье.

Прост был Витек — как кус хозяйственного мыла. ДэПроклову, глядя на Витьку, слово пришло: *мутант*. Хорошо мускулистый мутант — вроде бы и человек, но не вовсе человек. Так себе, человеческая особь. И убогая и страшная одновременно.

Через некоторое время Витек, заметно колеблясь, задал вопрос:

— Димыч, ты, это... Правду, что ли, говорил? Насчет морга?

Димыч с развеселой жестокостью отвечал: — Видишь ли, Витек... Я и сам иной раз не рад, что у меня глаз такой: погляжу на человека и вижу. Вот тебя увидел в морге, голенького, с номерком на ноге, в холодильной камере, лежишь и ждешь, когда тебя опознают.

— Ну, гад! — только и сумел сказать амбал, заметно ушибленный.

— Гад — не гад, но наука есть наука. Ты про экстрасенсов слышал?

— Ну.

— ...Так вот: экстрасенсорика позволяет отдельным, у которых природа этим даром наделила, людям связываться через континуум — ну, это сложно объяснять... Цыганок ты знаешь, надеюсь, про Вангу, знаменитую такую болгарскую прорицательницу читал? (Ах, да! Ты же принципиально не читаешь...) Она нам и Горбачева предсказала, и перестройку, и весь вот этот гадюшник (ДэПроклов повел вокруг). Я, конечно, не Ванга. Я — только мертвяков заранее вижу. Так что, Витек, пока не поздно, тикай ты из своей конторы, закопайся куда-нибудь поглубже, в тихое какое-нибудь местечко, тем же вахтером, к примеру, хотя... — тут ДэПроклов устремил свой экстрасенсорный взор на слегка окончившего Витьку и задумчиво продолжил: — хотя нет, нельзя тебе и в вахтеры, у тебя дырка — от пули, вот здесь...

Он не поленился, приподнялся и ткнул перстом в правый бок амбала.

— В печень, браток. Печень неоперабельна, если хочешь знать. Но зато — почти не больно. Так что, хоть этим успокаивайся... Ляг на дно куда-нибудь, где не стреляют, может, и пронесет.

— Хрен-два, — сказал со злостью Витек. — Где это сейчас не стреляют?

— Ну, это уже твои дела. Мое дело — предупредить.

— Братан у меня, двоюродник, лесником... — задумчиво, после паузы произнес прокловский конвоир.

ДэПроклов безжалостно оборвал:

— Не пойдешь!

— Это почему это?

— Стреляют.

— Лепишь ты мне горбатого, Димыч... — без уверенности сказал Витек.

— Наше дело — цыганское: правду нагадать, а дальше уж — твое полное право, верить или не верить.

— Кореш армейский шашлычную собираются открывать, звал.

ДэПроклов привередливо поморщился:

— Ты что, совсем сдурил? Откроетесь вы, наезды начнутся, или как это у вас называется? — разборки, дело пальбой кончится, вот тебе и дырка!

Витек, всерьез озабоченный и обеспокоенный, выругался.

— ...Одна дорога тебе, Витек, в монастырь, там — тихо.

Тот заржал.

— Меня?! Да я там всех монашек перетрахую!

— В мужской монастырь, дура! Нет, — засомневался экстрасенс, — пожалуй, не примут тебя в монастырь, да и грамотешки у тебя не хватит.

— Вот, ешьтвою-мать! — заерзал амбал.

— Да, — посочувствовал ДэПроклов. — Куда ни

кинь — везде буби. Может, тебе — в детский сад, воспитателем? — сказал и сам расхохотался. — Предлагаешь? Ты — в белом халате, а вокруг тебя детишки ползают, на колени лезут: «Дядя Витя! Дядя Витя!»

— Смейся, смейся... — с неприязнью глядя на экстрасенса, сказал Витек.

— Слушай! — озарило вдруг ДэПроклова. — Ты зверей любишь? Ну, кошек, там, собак?..

— Собака у меня была, — сказал Витек, и что-то вполне человеческое, даже мечтательное, послышалось в его голосе. — Джерри. Овчарка. Сосед-сволочь отравил! Больше некому. Она у них курчонка задушила, мать расплатилась, все честь по чести, а он... Я еще маленький тогда был... — объяснил он ДэПроклову.

— В зоопарк за зверьми ходить, согласен? — спросил ДэПроклов тоном инспектора по трудоустройству. — Тебе пойдет. И работа интересная, и вроде бы не стреляют.

— Стреляли... — разочарованно и уныло отозвался Витек. — Банк «Подмосковный», слышал? Так полгода назад кто-то его и... Он, главное, дурак, охрану снаружи оставил, а сам с пацанкой, говорят, пошел.

— Да, действительно, дурак, — серьезно согласился ДэПроклов, — какой нормальный человек ходит сейчас без охраны?

— Вот я и говорю. И, главное, никто не знает, кто на это дело подписался. А если я в море уйду?

— Точно! — возликовал ДэПроклов. — Оружие на борту только у капитана. Не будешь с ним в бутылку лезть, будешь трудовую дисциплинину блюсти, даст Бог, не пристрелит. Только: в инпорт зайдете — на берег ни ногой! Сам понимаешь: таверны, матросня, «пираты наслаждались танцем Мэри...»

— Как это? — огорчился Витек. — Все — на берег, а я — сиди?

— Здоровье дороже, — строго отозвался экстрасенс ДэПроклов. — Эрго бимбамус!

— Чего? — не понял почему-то Витек.

— Ты латынь-то помнишь? Или маленько подзабыл? «Поэтому выпьем!» — вот что означает «эрго бимбамус». Или — ты — против?

— Когда это я был против? — весело отозвался, на глазах воскресая, Витек.

Когда через полчаса они, чуть не обнявшись и в унисон покачиваясь, шли на посадку, нельзя было сомневаться, что это идут два закадычных дружка-корешка, готовые друг за друга в огонь и в воду.

— Эх, вот сейчас не пустят меня такого на самолет, что будем делать?

— Я им не пушу... — свирепо произнес Витек. — Я им тут всем дырок понаделаю... — И нельзя было сомневаться, что, если и в самом деле поймут глупость местных церберы не пустить на борт друга-Димыча, то в шесть секунд все они будут уподоблены дырявым дуриллагам.

...Все здесь было по-другому. Только запах один остался, его ДэПроклов мгновенно вспомнил и, странное дело, грустно разволновался: «Как давно я не летал!», — и тоска о прежних временах, о себе прежнем, молодым, обняла его.

«Вот черт! — подумал он с досадой. — Чего же это я его не взял. Самое бы время и место посочинять...» «Его» — это тот самый единственный, давным-давно начатый и все еще далекий от заверше-

ния рассказик его о Камчатке, который он мусолил уже несколько лет, глубокомысленно ковыряясь (обычно, после опохмела) в каждой строке, надолго задумываясь над каждой запятой, впадая в творчески-обморочные размышления какие-то — *сочиняя*, одним словом. Этот рассказик был нечто большее, чем рассказик. Это был как бы талисман его, некое свидетельство, что он еще не вовсе пал, что, вот, гляньте, несмотря на безответственное пьянство все же живет творческой, как говорится, жизнью. Этот рассказик был как обломок доски для потерпевшего кораблекрушение — так же судорожно и суеверно цеплялся он за него, боясь бросить. Мнилось: вот напишет, вот все ахнут, вот откроются какие-то врата в какую-то новейшую жизнь, и он воспрянет...

Впрочем, он знал *его* чуть ли не наизусть — столь много раз читал-перечитывал, писал-переписывал, — он пристегнулся ремнями, чтобы бортпрова-ница не докучала, закрыл глаза...

«Смешно, — подумал он с удивлением, — *он* тоже начинается с самолета...»

«...В те стародавние времена на Камчатку летали «Ил-18»-ым, полет продолжался часов двадцать, и был он грубо подобен незатейливой попытке: чуть ли не сутки пассажир вынужден был сидеть внутри тусленько освещенной, злорадно дребезжащей, проникновенно вибрирующей жестянки, больно упираться костяшками колен в железо впереди стоящего кресла и, тихо зверея, тупо читать-перечитывать погасшую надпись на сереньком табло перед глазами: «Фастен зе белтс. Не курить. Пристегнуть ремни. Ноу смокинг».

Насчет поспать нечего было и мечтать в том полете. Тем более человеку нервному. А наш герой, признаемся, был особенно нервен в те поры, чересчур уж как-то нервен, суетлив, дерган — оттого и шарахало его то и дело из конца в конец, с запада на север, с юга на восток нашей изумительно просторной тогда, любое воображение потрясающей, на любые красоты, на любые самые дикие чудеса щедрой, неимоверной страны.

Страна называлась тогда Советский Союз. Почти точно так же назывался и паршивенький журналист, в котором наш герой служил, репортерствуя вне штата, а звали его — Проклятиков Дима. Увы, именно так, не шибко-то серьезно, не вовсе благозвучно и даже как бы с едва приметной ухмылкой звучала его фамилия. Впрочем, под очерочками своими и снимками он подписывался кратче и красивше — Д.Проклов.

Подпись эта появлялась чуть ли не в каждом номере паршивенького того журналиста, да и на страницах других, не менее паршивеньких, тоже довольно часто — потому что на подъем он был легок, ездить по стране, как считалось, любил, писал складно-трескуче бойко, иной раз даже и умно, после командировок «отписывался» чуть ли не в день приезда — одним словом, клад был, а не автор, и когда в редакциях возникала периодическая нужда кого-нибудь куда-нибудь послать, частенько вспоминали его фамилию — не настоящую, которую мало кто знал, а эту: Д.Проклов. Так буквально и говорили: «Может, ДзПроклову позвонить? Он сделает...» — ему звонили, он мигом соглашался, толком даже не спрашивая, куда, о ком, когда, садился в самолет, прилетал и делал.

В тот год, о котором речь, он вряд ли десять дней из каждого месяца проводил в Москве. Прилетал, быстренько проявлялся, печатал снимки, стряпал тексты, отчитывался перед бухгалтериями — и чуть ли не тотчас начинал ощущать некий сквознячок в душе, егозливое какое-то беспокойство, досадливый неуют. Проходил день-другой, он маялся, потом ему звонили, он соглашался и вновь с облегчением куда-то летел, мчался, торопился, и вновь мелькать перед ним начинали знакомые и незнакомые города, деревни, поселки, колхозы, гостиницы, заводские цеха, лица, картины природы, перепутываясь в его вечно словно бы разгоряченной головенке уже до того, что однажды, например, подойдя на рассвете к окну в гостиничном номере города Полоцк, он даже испытал дивное, стереоскопическое ощущение происходящего с ним кошмара. «Я здесь уже был! — неуверенно хмыкнув, сказал он себе. — Это Биро-биджан! Точно. Вон там — газетный киоск, вон там — скверик...» (И скверик, и киоск тут же, натурально, возникли). Однако поскольку он все же несколько не сомневался, что это — Полоцк, и в Полоцке этом точно он никогда прежде не был, то он сказал себе: «Э-э, парень! Ты доездишь, похоже, до галлюцинаций. Не переварьшь ли тебе маленько?» —

тотчас испытал при этом легкое дружеское от-вращение к себе: и оттого, что вопрос задался вслух, и, главное, оттого, что отчетливой фальшью смер-дило от этих слов. Уж ему ли было не знать, что не захочет он по доброй воле «перевариться», уже не в его это силах, ибо, конечно же, легким, мотылько-вым, совершенно безответственным было тогдаш-нее его существование — вприпрыжку, с налету, по верхушкам, никогда всерьез — и куда как веселее и милее была этакая-то жизнь в сравнении с той злоб-но-тягостной мутотой, которая каждодневно под-жидала его в Москве.

Надобно тут заметить — то, что он невнятно и многомысленно именовал «мутотой», было по преимуществу скучно и тошно связано с обстоятель-ствами его лично-семейной жизни, а началась она, завязалась, в рост пошла, та вышеозначенная мутот-а, уже лет пять тому, а причиной (точнее бы ска-зать, первоповодом ее) была, как ни странно, опять же фамилия его злосчастная, не чересчур удачная. Они, помнится, только-только еще собирались под-авать заявление, а будущая супруга его — сдуру им воображенная Любовь Его — сообщила ему остро-рожененьким мимоходом, с интонациями, впрочем, законодательными, что она, пожалуй, остается при своей фамилии, что ей, лапонька, будет как-то при-вычнее жить, прозываясь Любовью Бабашкиной, а не Проклятиковой Любовью, и вот в тот год, о ко-тором речь, шел уже пятый год их совместно-мучи-тельной жизни, и уже яснее ясного было, насколько поспешно, бездарно, глупо он обженился, сдуру, спьяну, впопыхах заглотнув живца, твердо и точно брошенного изящной ручкой провинциалочки-сокур-снички-выпускницы.

Однако, вместо того, чтобы рвать, чтобы к чер-товой матери рубить тот неопытно и злобно изо дня в день затягиваемый узел, который назывался «семейная жизнь», вместо того, чтобы все переиграть, начать начисто, с понедельника, с белого листа, он все медлил и медлил, все колебался, все юлил сам перед собой и — и все безостановочнее как бы бе-жал-бежал-бежал, уверял себя, что убегает, и боль-

ше всего это напоминало — знаете что? — бег подопытного спортсмена, когда тот, опутанный проводочками, облепленный датчиками, мотает по бесконечной роликовой дорожке километр за километром, не продвигаясь при этом ни на сантиметр, вот только в отличие от того лабораторного физкультурника, который уродуется ради чьей-то диссертации, а может, даже и ради науки, совершенно бессмысленно было понять, ради чего, куда и зачем поспешает наш герой — Проклятиков Дима, ДзПроклов.

Но, понятно, не в одной лишь семейной жизни было тут дело. Если говорить всерьез, все было гораздо более всерьез — и с Димой Проклятиковым и с Прокловым Д.

Хотя, если со стороны глядеть, он и являл собой вполне современный типок расторопного, неунывающего, абсолютно всеядного журналиера-скорохвата, хотя ему кое-кто даже и завидовал (а из начинающих так даже кое-кто и подражал), но ни одна живая душа в мире, увы, не удосужилась заглянуть в проклятикову душу, дабы увидеть человека довольно растерянного, занудно мучающего себя смутными какими-то претензиями, с прискорбным стыдом на себя взирающего, тошному унынию частенько и со сладостью предающегося.

С ним ведь вот что еще происходило: наступала в его жизни та всенепременная для каждого пора, когда спохватывается вдруг человек — в отчаянии, в ослепительном ужасе, в катастрофической едкой печали — и вдруг возглашать начинает: «Не так! Что-то *не так*! Что-то я вру своей жизнью! Не туда, *не так* утекает разьединственная жизнь моя!» —

И если такое всерьез, что уж может быть всерьез?

...Женщина спала на его плече. От ее волос немало пахло лаком прически, которую она сделала в дорогу и — грубо — вокзальными дезодорантами: женщина уже вторые сутки была в пути. Из Краснодарского края она летела к мужу-старлею, который приезда ее, судя по всему, не жаждал, даже на телеграмму не ответил, но она все-таки летела, оставив в кубанской станции на попечении матери маленькую дочь, и уже люто жалела, что решилась лететь.

И чем ближе была эта неведомая жуткая Камчатка, тем больше она кляла себя за эту глупость, а вслух — на чем свет стоит костерила мужа, сгорбившегося от нее на краю страны, проклинала свекровь, которая, ясное дело, была одна во всем виновата, и все это говорила ему, случайному соседу по самолету, то заливаясь обильными слезами, то повторяя, тоненько и противно сжимая губы мстительной гузкой: «Ну-у, я ему покажу! Ну-у, он у меня попляшет!» — а потом, хорошо приобшившись солдатской фляге Проклятикова, вдруг, как в обморок впад, заснула, успев небрежно и нежно сказать «извините» — и с жадным облегчением, жестом верной жены глупо-ко обняв руку его в предплечии.

И теперь вот спала на его плече, и все тянулась, тянулась расплывавшимся лицом, жаркими губами куда-то все повыше, под ухо ему, в шею, и ему от щекотного спешного этого дыхания было совсем уж не до сна.

Он слушал, как тревожно она дышит, и почему-то очень отчетливо слышал, как ей страшно, такой маленькой, в одиночку лететь через огромную эту страну — неведомо куда.

Он слушал, как горестно она дышит, и почему-то очень легко представлял, как одиноко, как обидно, как голодно и стыдно было ей жить все это время — одиночкой при живом муже, за тысячи от него километров, да еще с дочкой, такой еще ненужной, на руках, да еще под взглядами, конечно, соседок, полными сочувственного торжества и скромного яда.

«Такое ли представлялось тебе *тогда?*...» — подумал он с жалостью и вдруг увидел — чуя, как его слегка словно бы продирает по душе легоньким, безболезненным сладким электричеством, — безо всякого усилия *вдруг увидел*, как летним вечером, бархатно-теплым благоуханным южным вечером, в полусумраке тесной прохладной своей комнатенки, беспрерывно напевая обрывок какой-то пустяковой песенки, блаженно и бессмысленно чему-то улыбаясь, туманно и глупенько сияя уже вполне подведенными голубенькими глазами, собиралась она (ну, скажем, пару лет назад...) на Главную Улицу их городка «пройтись» с подружкой...

как с поспешным наслаждением вскальзывала она разгоряченным от дневного загара голым тельцем в прохладненькое, совсем невесомое платьице, как нежными перстами бегло ощупывала его на себе — там, тут... — и мятная прохлада ткани начинала как бы струиться по ней, облекая, обтекая, и — тотчас! — взволнованная, натягивалась внутри некая слабая струночка, сразу же начинавшая сладко подтренькивать...

как затем, деловито прижмурившись, кратко-покорно склонив голову, проныривала пышной прической в осторожно расправленную петлю дешевеньких бус, которые она называла «мои любимые» — потому, должно быть, «любимые», что разноцветно-яркие камушки их всегда возбуждали в ней одно и то же, по-детски радостное воспоминание о каких-то обкатанных, стеклянно постукивающих о зубки изумрудных, рубиновых, янтарных карамельках...

как напоследок мимоходом (но с весьма пожилой озабоченностью) она представляла себя на секундочку старому поседелому зеркалу, которое, хоть и не склонно было к лести, но все же не могло не отразить ее — от сияющей головки до лаковых туфель — именно такой: восхитительно-тоненькой, раздражительно прелестной, непобедимо юной...

как, совершив весь этот обыкновенный обряд, сам по себе *наслаждение предвкушения* доставляющий, выбегала она затем во дворик к враждебно поджидающей подружке («самой любимой», разумеется, подружке, имя которой теперь, небось, и не вспомнить...), и они отправлялись на Главную Улицу — в праздную, празднично-ленивую ее толчею, под высокие древние ее тополя, чьи ветви были так густо и дремуче перепутаны в вышине, что свет фонарей, вознесенных над улицей в провальное-черное южное небо, — лунно-ледяной, унывный свет — с трудом пробивался сквозь лаково-липкую театральную зелень лиственной гущи и к земле доходил уже в виде тихого, слегка зеленоватого аквариумного сумрака.

Она шла, деловито делая вид, что спешит по делу, и так тоненько, так стройненько цокали по вафельным плиткам тротуара ее каблучки, так весело, победительно поигрывали в ней каждая девчоночья жилочка, каждая переполненная глупеньким сиянием клеточка, что, воображая себя, она восхитенно воображала себя... ну, например, олененком из мультфильма — ладненьким таким, легконогим оленен-

ком с прелестными огромными пугливо-пристальными глазами, который, случись даже пустячная тревога, как стрела тетивы, унесется от охотников, прицеливая копытцами весело и звонко!

Только что уж хитрить, не собирался чересчур далеко уноситься тот соблазнительный олененок. Хожение вечерами по Главной Улице называлось среди девчонок ее круга откровеннее некуда: «охота на лейтенантов» — и это был промысел, издавна процветавший и чтимый в их городишке, ибо непререкаемо считалось, что нет на свете жениха лучше, нежели юный лейтенант, только что испеченный в стенах здешнего военного училища и ждущий назначения в часть, и считалось, что тебе неказанно повезло, почти сказочно повезло, если...

«Вот тебе и повезло...» — подумал он. Подумал, должно быть, вслух, потому что женщина, словно в ответ, простонала что-то с капризной досадой, зашевелилась во сне и завладела его рукой совсем уж полностью, обняв, как обнимают живое любимое существо.

«Вот тебе и повезло...» И вот ты, дурочка, летишь, обмирая от страха и одиночества, в желтенько освещенной, яростно дребезжащей жестянке самолета — летишь неведомо куда, навстречу пасмурному ужасу этой каторжно далекой Камчатки, летишь, заплаканная, и истово обнимаешь и уже обвиваешься вся вокруг руки совершенно чужого тебе человека, и с жалкой жадностью вдыхаешь так сладко, так стыдно мучающий тебя забытый грубый запах, и вся тянешься-тянешься-тянешься к этому запаху, и поспешное дыхание твоё, и вся ты сейчас, милая, словно бы *ле-нет* о том, как ужасно быть нелюбимой, как это обидно, как несправедливо, непроглядно, страшно!

Я ведь не виновата, лепечешь ты. Я всего лишь беспомощная, пустяковая, слабенькая девчонка, глупый олененок, умевший лишь завлекательно цокать копытцами, но ты-то, ты — снисходительный, сильный, окликнувший меня тогда в том зеленоватом полумраке аллеи, — ты-то не будь жестоким! Я ведь не виновата, ведь не только я виновата, что с готовностью откликнулась, но и ты виноват — ты окликнул — и не убирай руку, милый, и не прогоняй меня с этой проклятой Камчатки опять в тот проклятый город, где под проклятыми теми тополями все тот же висит проклятый зеленый дурман, от которого, помнишь? — и тут она вновь потянулась лицом повыше, почти дотянулась лицом, и вдруг — освобожденно и страдальчески, гортанно простонала что-то бессловесное с интонацией родного человека.

У Проклятикова заломило лицо — как от ударивших слез — от жалостной брезгливой нежности к этому беспомощному и неприкаянному в мире существу.

Он не сдержался — успокаивая, погладил ее по горячей, твердой, юной щеке.

Она проворно повернулась лицом, и он услышал беглый, благодарный и немного рассеянный поцелуй в своей ладони.

«Лизавета, Лизавета! Я люблю тебя за это... — пробормотал ДэПроклов, открывая глаза. — Интересно бы поглядеть на нее. Каково ей в москвичках живет?.. Хе! Лизавета — и вдруг москвичка! Дивны, ой, дивны дела твои, Господи!»

— Ну, счастливо вам!

— И вам — счастливо... — Она опустила лицо и принялась перебирать косметику в алой аляповатой сумочке, стоящей на коленях.

Они уже никуда не летели.

Все нетерпеливо толклись в проходе, сидели на подлокотниках кресел, изнывали от ожидания, когда же подадут трап и отдраят, наконец, дверь.

Одна только она не торопилась.

Сидела, глубоко утонув в кресле, явно старалась выглядеть понезаметнее и озабоченно все искала-искала что-то в сумочке.

Не хотелось ей на Камчатку.

...Старший лейтенант в полевых погонах — с маюлыбычивым, ярко-смуглым, довольно красивым, хотя и несколько замороженным в своей красавости южноукраинским, а может, и молдавским лицом, в фуражке, которая гарнизонным умельцем была перешита так, и чуть помята в тулье так, и надвинута на лоб так, что все это вместе должно было создавать некий образ российского офицера-окопника времен первой мировой или, скажем, русско-японской вой-ны, — чуть волнуясь и (было заметно) досадуя на себя за это, высматривал кого-то среди пасажи-ров, идущих по летному полю.

В руках он держал невзрачный букетик полевых цветов.

Встречали его соседку — Проклятикова почему-то сразу догадался. Хотел было остановиться и посмотреть на встречу, однако шагая по твердой земле, вообще — передвигать себя в пространстве — было настолько приятно после почти суточного сидения в кресле, что он махнул рукой: «Э-э, разберутся... Милые бранятся — только тешатся», — хотя что-то труднообъяснимое в лице красавицы-старлея уже и сказала Проклятикову с определенностью, что на Камчатке лейтенанту отлично, и семья ему тут ни к чему, и что он для себя уже твердо и давно постановил: незачем усугублять ту то ли подлость, то ли глупость, которую он совершил пару лет назад, когда, вчерашний курсант, поддавшись как бы всеобщему психозу женитьб, ежегодно охватывающему выпускников училища в преддверии назначений в часть, он так бездарно, так глупо, так поспешно «врасписался» чуть ли не с первой же станичной девчонкой, встретившейся ему летним теплым вечером в аллее Главной Улицы и поразившей его воображение не столько даже трогательной беззащитностью своею и как бы уже заранее благодарной покорностью любой его воле, не столько даже чистенькой новехонькой прелестью ординарно милого личика с туманно сияющими голубенькими глазками, сколько тем — и теперь-то без досады он и вспоминать об этом не мог, — как веселым-весело, молодо и рьяно побултыхивали у той девчонки при ходьбе, то грубо проклевываясь острыми сосцами сквозь полупрозрачную ткань платица, то на краткий миг сожаления пропадая, грузноватым грозным торчком стоящие грудные железы, один только взгляд на которые вверх юного будущего лейтенанта в такое сладостное помрачение рассудка, в такую бестолочь буйных ощущений и желаний, что в конце концов он не нашел ничего более умного, как избавиться от этого наваждения самым многосложным, хотя, пожалуй, и единственно реальным тогда для него способом: ценой аккуратного черного штам-пелка на пятой страничке ее паспорта...

...Проклятиков сладко млеял в дремоте, на солнеч-

ном пригреве, сидя на деревянной ступеньке аэропорта, и вдруг пробужден стал:

—.....!!! — яростный мат разразился над его головой.

Проклятиков отворил глаза.

Уже знакомый старлей, выскочив из дверей аэропорта, сбегал по лестнице, грубо гремя подкованными сапогами.

Мелькнув невдалеке от Проклятикова, упал букетик полевых цветов, не долетев до мусорной урны.

Лейтенант пребывал в бешенстве. Добежав до газика, стоящего на отшибе, он нырнул в него, как в бомбоубежище, яростно брякнув дверцей.

Еще один лейтенант, а за ним солдат-водитель — с неохотно остывающими улыбками циркового, как бы сказать, удовольствия на лицах, тоже сбежали по лестнице и, скорее изображая торопливость, нежели торопясь, пошлагали к машине.

Газик оскорбленно взревел и, заложив по площади краткий крутой вираж, унесся, оставив по себе молочно-голубую полосу выхлопа, которая повисела с полминуты недвижно, а потом, как бы толчками, стала уходить в сторону, редая и истаявая на глазах.

Возле автобуса «Аэропорт — город» появился первый пассажир с вещами. Проклятиков встал с неохотой.

...Свою самолетную соседку он увидел, уже сидя в такси.

С заплаканным, зло-несчастливым лицом она мыкалась среди казенных машин, таская огромный чемодан и, было видно, везде получая отказы.

Он подошел к ней.

Она глянула на него белесыми, готовыми к ярости глазами. С трудом признала.

Волоча к такси ее неподъемный чемодан, он спросил полуоглянувшись:

— Вижу, не очень-то нежная получилась встреча?

И тотчас — словно бы злобное фырчанье пыхнуло у него за спиной.

— Он у меня попомнит! Он еще попляшет у меня!

Проклятиков снова оглянулся. Господи! До чего же неизвестно преобразает женщин злоба!

Она была похожа сейчас на молодую, слегка драгую кошку, которая только что вырвалась из драки и вся еще страстно содрогается, сияюще щерится от потрясающей ее азартной ненависти.

— Я ему покажу! — повторяла она и в машине, сидя за спиной Проклятикова. — Он у меня еще попомнит!

Бедный лейтенант, подумал он.

Потом она притихла, и он услышал, как горестно и безутешно, по-детски швыряя носом, плачет она там, стараясь плакать потише.

Он пожалел и ее. Бедная девочка.

А потом с интонацией «Ну и хватит!» подумал обо всех вместе: «Бедная девочка. Бедный лейтенант. Бедный ДзПроклов. Все — бедные».

Они уже летели. В сравнении с тем полетом — летели в тишине. ДзПроклов вновь подивился, насколько все — по-другому. Он чувствовал себя если и не дикарем, то уж диковатым-то провинциалом по меньшей мере. Пять лет жизни вылетели, судя по всему, напрочь, в анабиозе он пребывал, и вот,

прочнувшись, почти физически ощущал себя чужеродным телом в окружающем его мире. Это не доставляло страдания, нет, скучно-удивительно было, да, неукладисто было, спокойно-непонятно, да, — так, наверное, чувствовал бы он себя, попади за границу. Чужая, несимпатичная страна простиралась вокруг и лишь когда сквозь нынешнее проступали черты той, прежней страны, которую он, оказываясь, любил, — только тогда будто бы досадливая страдальческая гримаса на мгновение искажала лик его души.

Все было грязно, грустно-потешно, бестолково-толкливо. Некая спешная воровская суета чудилась за всем. Откуда взялась в его воображении эта картинка? — но ему постоянно именно она почему-то представлялась: гражданская какая-то война, состав, насильственно остановленный среди чистого поля какими-то выскочившими неизвестно откуда махновцами, и — стремительный, торопливый грабеж — «Скорей! Быстро!» — волокут в тачанки все, что ни попадя, — «Быстро! Быстро!» — узлы, чемоданы, упирающихся женщин, поскорее нахапать побольше, набить торока, чтоб аж лопались, веселый, полуприпадочный азарт: «Хаяйвай», все — словно бы пьяные этим азартом, и у всех — одинаково трусливый, блудливый взгляд, исподтишка то и дело обращающийся к горизонту: не едут ли? не пора ли смыться?

Уголовщинкой папахивало отовсюду — она была, как скверный туманчик всепроникающий. Сквозь толпу молчаливых, с потупленными взорами, пригнетенных, темно и плохо одетых людей, преувеличенно громко перекликаясь между собой, победительно и, как бы сказать, предпригovorно веселящиеся, проталкивались, пренебрежительно раздвигая толчею, некие, будто по одному трафарету сработанные, человекообразные, крутоплечие, толстоликие, пустоглазые, глядя на которых и без всякой флюорографии было видно, что там, где у нормального человека душа, у этих — чрево.

ДзПроклов, шляясь по редакциям, от нечего делать почитал и нынешние газеты (чем не занимался все эти последние годы), и он поражен сделался: насколько воровское стало тут нормой. Не только журналисты — ему ли было не знать пустяковость этого люда, — но даже и государственные мужи со смаком и энтузиазмом новообращенных пытались *ботать по фене!* «Беспредел», «разборка», «авторитеты», «наезды» — не сходили у них с языка. И это тоже было, пусть и косвенное, но свидетельство того, что это была уже другая страна, чужая страна, в которой, судя по всему, правили законы *зоны*, но отнюдь не законы простого человеческого сосуществования. И он ничуть не удивился, когда где-то услышал, что и президента этой страны люди его окружения зовут не иначе, как «пахан».

Оказавшись в этой новой для себя, абсолютно чуждой для себя обстановке, ДзПроклов, повторим, не испытывал сколько-нибудь жгучих страданий — непреходящее грустное изумление не покидало его и жалость к своему народу, так стремительно и ловко облапошенному лагерными шулерами. Но не мог он избавиться и от другого, ликующего: он все-таки вырвался, он все-таки уже жил, он все-таки видел уже перед собой некое пространство для деятельной жизни!

С какой бы стороны ни рассматривал он то про-

стенское, но все же и вдоволь странное задание, которое ему поручили — отыскать на Камчатке автора подметных писем, — он не мог углядеть в своей миссии чего-либо такого, что претило бы ему. Жажда мести в нем давным-давно уже не было, но и наказание, которому, скорее всего, подвергнется обнаруженный аноним, вовсе не вызывало в нем протеста. То, что наказание это может быть и очень жестоким, вплоть до..., тоже воспринималось им без особо внятного протеста, и это несколько, признаться, смущало его, поскольку свидетельствовало, что не так уж далеко он ушел от тех, кто правил нынче бал и которых он скорее всего склонен был презирать, и что не так уж он чужд той сладкой смердящей помойке, которая простиралась вокруг, — но он, лукавя перед собой, торопился как бы вынести за скобки это свое опущение, списывая его на прошедшие пять лет даже и не растительной, а *никакой* жизни, в течение которых ой, сколь многое повыветрилось из него...

Сейчас на Камчатку летел ДэПроклов, мало чем похожий на ДэПроклова тогдашнего, он и вспоминал-то себя, тогдашнего, лишь усиливая память, преодолевая некую мозговую вялость, — и лишь тоска, туло нудящая, ни на секунду не отпускающая, ставшая как бы фоном, — тоска знания, что Нади уже *нигде нет*, и лишь сердце, которое принималось вдруг сладко, юношески лепетать, едва вспоминаясь Надя, — лишь это живо напоминало ему ДэПроклова прежнего, и его к нему горячо, родственно, неудержимо тянуло, как тянет к дорогому младшему братишке, с которым был в долгой разлуке.

...Сидели вокруг стола, и ощущение спокойного дружества соединяло каждого с каждым, сопрягало каждого с каждым. Потом позвонили в дверь.

С удивлением он почувствовал среди сидящих как бы дуновение легкого недовольствия. Это не враждебность была, а быстрая легкая неприязнь к чему-то такому, что сейчас возникнет, внося с собой *чужое*, и это почему-то надо будет всем терпеть.

— А вот и Игорек соизволили...

Среднего роста, довольно уже полноватый, молодой господин в серой тройке и строгом галстуке, демонстрирующий (в отличие от всех присутствующих) стиль, скажем так, немалой важности чиновника и соответственно этому костюмированный, соответственно этому руки потирающий, соответственно чуть утомленно всей честной компании улыбающийся, — вот такой господин появился в дверях прихожей.

ДэПроклову было смутно знакомо это лицо, время от времени мелькавшее, кажется, на факультете (но не рядом с Надей, это-то ДэПроклов запомнил бы), — когда-то, наверное, довольно приглядное лицо, но сейчас уже к одутловатости склонное. Лицо... (ДэПроклов несколько напрягся и сходу, точно определил) комсомольского деятеля вторых ролей, уже приглядывающего себе ступенечку повыше, пожалуй, что и не на молодежной уже, а на партийной лесенке. Где-нибудь по идеологии... да, разумеется, по идеологии, определил ДэПроклов, заметив значок Союза журналистов, горделиво мерцающий на лацкане. Ну, да — в практическом деле ничего не получается, таланту недостаток (классные журналисты значок не носят), а фанаберия-то есть, а управленческий-то жар в душе так и зудит...

Пустяковый господин появился в их компании. Таких ДэПроклов определял сходу, как на рентгене, и относился он к ним с такой же, примерно, мерой терпеливой гадливости, с какой относится, скажем, к вареной луковице, попадающей в тарелку с супом.

— А вы разве не знакомы? — услышал он вдруг голос Нади.

— Да вроде бы виделись, — промямлил ДэПроклов, чуя внезапно атакующее его странное чувство катастрофы, жалости, разочарования, обиды за нее. — На факе, наверное? — «Господи! Неужели?!...»

— Это — Игорь. Мой муж. А это — Дима Проклов, наш гость из Москвы, тоже журналист.

Тот попытался улыбнуться вмиг посеревшим лицом.

— А-а... Это ведь вы сегодня звонили?

— Звонил. — Проклов все же еще не мог выйти из ошеломления. — Но об этом мы потом поговорим.

Он глянул на Надю и услышал, как она напряжена — на грани острой, опасной — ожидая, каким будет следующее слово. «Бедолага, ох, бедолага! За что же тебе такое?» — мельком подумал он и сказал Игорю:

— Давай без этого «вы», идет? —

и тотчас почувствовал, как на него с ее стороны почти ощутимо пахнуло облегчением и благодарным теплом.

Он глянул на нее снова: в глазах ее было, в глазах ее было... о, как много всего было в этих нестерпимо засиявших, цвета яркого карего дерева, нежнейших глазах ее!

— Наденька! Жрать хочу! — по-простецки обратился муж к жене. — Там оставили хоть что-нибудь? — А ДэПроклову доверительно объяснил: — Целый день — как заведенный! Выпьем?

— Вообще-то мы — уже... — заколебался тот. — Но за ради знакомства, давай!

«Телетайп... срочная тассовка... межгород...» — Игорь что-то все этакое вещал, долженствующее свидетельствовать и о неимоверной занятости его, и о близкой причастности к делам важнецким, а ДэПроклов курил и постепенно приходил к себе.

«А чему я, собственно говоря, удивился? После той ее поездки я же ведь не общался с ней, почти даже и не видел. Как-то, столкнувшись в факультетском коридоре, спросил этак равнодушенько: «Ну, как встреча прошла?» Она ответила искренно, с готовностью, вся почему-то содрогнувшись от каких-то воспоминаний: «Ужасно! Это было так ужасно, Дима-Дима!!» — И не прочь была, и рада была бы, и ужасно ей этого хотелось — остановиться и поговорить с ним с *той* своей поездки, но ДэПроклов не удержался тогда от мелкой пакостной мести, не остановился, не доставил ей возможности поговорить. «Ну, пока!» — сказал и заспешил куда-то.

Он разобижен был, ясное дело, тем обстоятельством, что она все-таки поехала в Севастополь встречать своего доблестного морепроходца, и особенно почему-то оскорблен был, что она не сказала ему, уехала как бы тайком, оскорбленным считал он себя в самых лучших поползновениях души, и ко времени той, случайной встречи в коридоре уже вполне успешно лечил «подобное подобным», его уже утoreло несло в бестолковом, расхристанном романчике с факультетской библиотекаршей — в компании

парней и девок, старательно изображавших из себя богему, все там были чрезвычайные стихотворцы, все, как на подбор, гении, пили, со знанием дела причмокивая, сухое вино при свечах, впрочем, и портвейн жрали и водку, а совокуплялись на антресолях, благо в полуподвале том вечный стоял полумрак, на проигрывателе вечно крутилась музыка, вечно галдели о шибко умном, стихотворно завывали... Он почти и не бывал в то время на факультете. Где уж ему было вызнаться, вышла она или нет замуж, да уж и особой необходимости не ощущал в себе что-нибудь вызнаться о ней, да уже и не тянуло, как раньше, видеть ее, хотя каждый раз и взнывало что-то в сердце, когда издали он замечал ее лицо, всегда теперь грустное...

Потом он ушел стажером в «Комсомолку», прижился, перешел на заочный и, смешно сказать, факультет-то он закончил всего четыре года назад — через четыре года после однокурсников.

— ...Только-только на обед собрался, звонок! — Надин муж, оказывается, продолжал разглагольствовать. — «Сам вызывает!»

— «Сам» — это кто у вас?

— Первый. Николай Альгирдасович.

— Он об твоих ножиках знаменитых — в курсе?

Игорь низко опустил голову к тарелке, попытался смолчать, но потом все-таки глянул в глаза Дэ-Проклову и сквозь зубы ответил:

— В курсе...

С изумлением ДэПроклов обнаружил: в этом взгляде — ненависть. К нему.

Вот сукин сын, восхитился ДэПроклов. Сам же сочинил липу — причем так бездарно сочинил, что его сразу же вся Камчатка подняла на смех, — сам послал в многомиллионную газету, даже о ближайших последствиях не соизволил подумать... а в результате враг ему, видите ли, я! Ну и подонок.

— Он в курсе, твой Николай Альгирдасович, что о записке твоей известно аж на уровне Политбюро? — И ДэПроклов быстро, кратко, жестоко изложил ему историю с маленьким генсеком-коллекционером, заодно и о карательных акциях властей без жалости пофантазировал.

— ...Вот почему я должен четко знать, насколько твой Альгирдасович в курсе. В случае чего, не сумлевайся, и по его тышке тоже достанется. Насколько в курсе? Был ли ему звонок из Москвы по поводу говенных этих ножиков? Говорил он с тобой об этом? Вот мои вопросы. Завтра мне с ним так и так беседовать. Тебя я подставлять пока не хочу.

— Спасибо, — с кривоватой раздраженной усмешкой отозвался Игорь на последнюю фразу.

Помолчал и стал с неохотой выдавливать из себя:

— Заметку читал. Вначале — ничего не сказал. Потом (я так полагаю) из Москвы звонили. Он меня прикрил. До поры, до времени. Вызвал, расспрашивал, я натемнил. Потом звонил ты. Потом ты приехал. Насчет генсека не знаю. Мне он ничего не сказал.

— Ну, вот. Слава тебе Господи, разродился... — ДэПроклов засмеялся.

Ему был ужасно несимпатичен, более того — противен был этот господинчик. Хотя бы по одному тому, что это — был тот самый Третий, а теперь вот, муж Нади. Но и кровь ему пускать не было ни малейшего желания. Тоже — по одному хотя бы тому, что он был мужем Нади и именно на ней он отыгрываться будет... Ему даже было немножко жалко

этого унылого бездаря, так глупо поставившего под удар всю свою «карьеру», как говорится. Подумать только! Столько задниц начальству вылизать, столько времени изображать из себя черт те кого, идеологически безупречного, каждый день жилетку с галстуком надевать, и вдруг... и вдруг фразернуться на простейшем графоманском желании увидеть свою подписульку в центральной газете под десятистрочной заметкой.

— Ладно! — ДэПроклову надоела беседа. — Не боится! Перемельится — костная мука будет.

Тому было не до шуток.

Тот смотрел по-прежнему: исподлобья, тяжело, удушливо.

«А сволочь из него получится высокой пробы, — подумал ДэПроклов, — когда выбьется в начальство. А ведь, пожалуй, выбьется, несмотря ни на что. Увы... Надо же! — восхитился он вдруг эдакому раскладу. — От меня сейчас зависит, я, можно сказать, в руках сейчас держу будущность этой (он не нашел слова)... Сколько бы людей мог оберечь!»

Но он знал, что ничего не будет делать, дабы прищелкнуть именно сейчас эту гниду. Не он, так другой митом возникнет, ему ли было об этом не знать.

«Господи Боже! — через некоторое время он вновь изумился, даже потрясся. — И Надя — с ним?! За какие-такие грехи?..»

— У него что-то случилось?

Надя присела рядом с ним на диван, и его мгновенно *отпустило* — мгновенно и уже знакомо как бы обьяло приветным, добродушным, тихим и милым, что, подобно облаку, светло творилось вокруг нее. Ему вмиг стало легко и покойно.

— Слушай! — Он сказал, что чувствовал: — До чего же мне становится хорошо рядышком с тобой!

— Дима-Дима... — сказала она очень серьезно в ответ. — Мне тоже... так хорошо, так спокойно, когда ты... близко. Мне, — она смущенно помедлила, — мне все время хочется, чтобы ты обнял меня. Не так, не подумай! Чтобы — прижаться к тебе. — Она слегка растерянно помолчала. — А еще поплакать очень хочется. Вот так-то, Дима-Дима. У него что-то случилось?

ДэПроклов поморщился:

— Охота тебе...

Но она вдруг заговорила торопливо и (он поразился) жестоко:

— Потому что я хочу, чтобы ты... чтобы твое какое-то отношение ко мне... если будет мешать... так вот: пусть получит то, что заработал!

— Да не бери ты это в голову!

— Нет, нет! Я тебя знаю. Ты ведь и пожалеешь (твое, конечно, дело), но только, Дима, чтобы *меня* в этом не было! Ты понимаешь, о чем я прошу?

— Понимать-то понимаю, — страдальчески закричал ДэПроклов, — да только вряд ли получится. — И вдруг прямо-таки с мальчишескими интонациями воскликнул: — Да и вообще! Какого черта он сюда приперся? Так хорошо сидели!

Она весело и негромко расхохоталась, совершенно влюбленными глазами обласкивая его. Потом вмиг вдруг счачла:

— ...И самое ужасное, что нет никакого выхода, — сказала тихо и просто и спокойно, как о чем-то, сомнению не подлежащем.

...Последним и самым убийственным штрихом в портрете Игорька оказался его автомобиль.

Черная «волга» (насколько ДзПроклов понял, кто из соборов одалживал ее Игорьку) была оборудована на манер обкомовских машин, радиотелефоном, который никого ни с кем соединять не мог (ДзПроклов это сходу выяснил) и роль играл, хотя и исключительно бутафорскую, но важную: должен был внушать трудолюбие, и в первую очередь трудолюбие ГАИ, соответствующий трепет и должное почтение. Игорек не без гордости признался, что это — именно его идея. Его же титаническими усилиями, как он вскользь объяснил, добыты были и сугубые номера для «волги» с особой какой-то комбинацией нулей.

Все ясно стало ДзПроклову. Господин аж изнемогал от желания жить жизнью сильных мира сего. Ну, а покуда внедриться в эту жизнь у него никак не получалось, он эту жизнь по мере своих слабых сил *имитировал*.

Не будучи официальным собором, тем не менее соорудил, вишь ты, корреспондентский пункт себе, даже и с телетайпом, судя по разговорам. На машине, вот, разъезжал — с нулями и радиотелефоном, пусть и не работающим. В жилетке и галстуке толкался, наверняка, на всех каких только можно мероприятиях — по поводу и без повода брал интервью у всех мало-мальски значительных персон, слухи туда-сюда разносил, намеки... — из всех сил, одним словом, гнал туфту, изображая бешеную активность и насущную свою необходимость в жизни края.

Очень даже может быть, подумал ДзПроклов, что здешнее начальство (народ, должно быть, по-провинциальному простой и в журналистских делах темный) почти всерьез принимает этого прохиндея. Трогать, наверное, не трогают, слушать, конечно, не слушают, к делам привлекать не привлекают, однако и не удивляются уже, когда на всяком собрании, на всяком пленуме суетится этот самый Игорек с фотовспышкой перед самым президиумом, сидит, где повиднее, что-то загадочное строча в шикарном своем блокноте (неприменно должен блокнот у него быть шикарный, даже и не блокнот, а вроде как тетрадь в пухленьком кожаном переплете)...

— Диктофон у тебя есть?

— А как же!

...и диктофончик свой (тоже, небось, не работающий) то и дело подсовывает прямо под нос ораторам, причем, конечно, подставляет так, чтобы все видели и этот момент и его деловито-озабоченное лицо при этом, чтобы все прониклись: Игорек работу делает, не совсем понятную, непонятно кому нужную, тем не менее...

«Охо-хо... И ведь не противно же человеку! — чуть ли не в голос застрадал от тоски и скуки ДзПроклов. — И никаких ведь угрызений гордости не испытывает! Что за порода такая, Господи!»

А потом он подумал вот что: «А ведь для него истинно трагедии подобна вся эта дурацкая история с ножами. Альгирдасович, наверняка, разгон устроил (что уж страшнее может быть для таких, как Игорек?), может, даже пообещал разнести к чертовой матери всю его липовую контору — если хоть малейшее будет замечание обкому. На пушечный ведь выстрел к обкому его не подпустят. Он ведь для обкомовских прокаженных станет... Вот уж, действительно, трагедия так трагедия». И ДзПроклов что-то даже вроде сочувствия испытал к этому вяло мордастому, однако прямо-таки пышущему раздражен-

ной желчной энергией господину, который очень профессионально и быстро гнал их с Надей в машине по почти не освещенным улицам города.

И вот что еще... Приучивший себя вслушиваться (и слышать) в людей, рядом находившихся, ДзПроклов почуял и легкое-легкое дуновение опасности от соседства с Игорем.

Он удивился, а потом резонно рассудил: он сейчас, как крыса, в угол загнан, кто знает, куда, как и на кого бросится?

Игорь включил дальний свет, съезжая с шоссе к дому. Возникли из темноты курганы мусора возле помойных контейнеров, стены дома, затянутые в ржавые решета сейсмической защиты.

Подкатил к подъезду, хмуро сказал:

— Вы идите. Я машину в гараж оттоню.

Они вышли. Он уехал. Они остались вдвоем. Он обнял ее. Она с секундным колебанием, а потом с облегчением и готовностью прижалась к нему. Потом быстро и застенчиво расстегнула его куртку, сунулась лицом к груди, руки обвила вокруг спины его и стала тихонько и торопливо дышать там.

— Лапонька моя. — Он погладил ее по голове. — Бедняжка моя.

Она согласно закивала головой возле его груди, задыхалась еще торопливее.

Он взял ее голову в ладони, хотел поднять, поцеловать. Но она неожиданно воспротивилась:

— Дай мне... дай надыхаться...

Он слышал, как она тихонько, почти тайком целует ткань его рубахи.

— У него гараж далеко?

— Нет, — с горестью отвечала она. Подняла голову. — Минут десять, не больше.

— Плохо, — сказал он, бережно и нежно целуя ее лицо.

Она внимала поцелуям, закрыв глаза — будто ребенок, слушающий сказку.

Он коснулся ее губ.

— Я не умею целоваться, — сокрушенно призналась она. — С кем мне было целоваться? — добавила вдруг с сильным оттенком горечи.

— Ты знаешь, — сказал он, — не пойду я сейчас к вам. Не хочу!

Он представил плохо освещенную их квартиру, необходимость сидеть в соседстве с Игорем, разговоры, напрягаясь, разговаривать, и — главное! — уходить потом, дверь закрывать, оставляя ее один на один с ним.

Она, похоже, поняла.

Прерывисто вздохнув, несмело погладила его по щеке.

— Да.

Потом вдруг сразу же встревожилась и не на шутку.

— Но как же ты дойдешь? Я боюсь! У нас тут беспокойно ночью.

— Дойду. Гостиница там?

— Там. Но я — боюсь!! —

и вдруг схватила его руку и прижалась к ней лицом. Потом усмехнулась, касаясь губами руки ДзПроклова:

— Я вот так же за Егорку боюсь, когда его долго нет.

— Он большой у тебя?

— Огромный. Десять лет. И совершенно не слушается.

Она уже отплывала от него.

— Все! — сказал ДэПроклов, заторопившись. — Я пойду! Ты знаешь, *как* я рад, что я тебя опять встретил? — И снова обнял ее, очень крепко.

— Не зна-аю! — по-девичьи вдруг заревела она, высвободилась и отступила к подъезду. — Сделай так как-нибудь, чтобы видиться! Сделай!! — И пряча плач, побежала в лестничную темноту.

— Молодой человек! Что с вами?

Он очнулся и обнаружил себя, головой упертым в спинку впереди стоящего кресла и сквозь стиснутые зубы что-то мычащим. Он даже успел услышать последний звук собственного бессловесного тоскливого стога.

— Что с вами?

Интеллигентная старушка учительского вида смотрела на него и испуганно, и сострадательно.

— Что-то приснилось, наверно.

— Вы т а к стонали. Я даже испугалась.

— Извините. Я не нарочно.

Старушка, наконец, отвернулась от него.

ДэПроклов никак не мог прийти в себя. Давешний стон все еще стоял в нем, рвался наружу, и усилие требовалось, чтобы удержать в себе эту муторную муку. Он не думал о ней, о том, что ее уже нет, нигде нет и уже никогда не будет, — это знание *жи-ло* в нем, разрасталось, этому ощущению, казалось, было тесно в нем, и оно ни на минуту не оставалось в покое, то и дело он слышал в себе как бы толчки, тычки, напоминания о том, что ее нет, нигде нет и уже никогда не будет.

Странное дело, вспомнив однажды о ее муже, об этом никчемном Игорьке, он все чаще почему-то возвращался именно к нему мыслями. И все больше сквозняковой ненависти ощущал в себе. Почему-то именно так связывалось: «Если бы не это ничтожество, все было бы по-другому. Мы — еще с Москвы — были бы вместе, и все было бы по-другому. Он, гнида, всему виной!» — и если до какого-то времени он еще испытывал колебания, стоит ли «закладывать» Игорьку, то после известия о смерти Нади, чем дальше, тем больше хладела его душа и ни малейшей жалости не чувствовал он к человеку, с которым Надя была так отчаянно несчастна и из-за которого... у него не было сомнений на этот счет! — из-за которого...

Он не врал, когда в беседе с серым инквизитором утверждал, что он уже знает автора анонимок. Никто, кроме Игоря, не мог сделать этого. Он — один — знал, что история с кореньскими ножами — развесистая клюква, он — один — знал про генсека, он — один — знал, что добыча подарочных ножей поручена отделу идеологии. (Об этом, конечно, был информирован и Альгирдасович, но тот должен был оказаться совершеннейшим дебилом, чтобы на самого себя, в сущности, строчить телегу.) Только у Игоря была причина — крыса, загнанная в угол! — фигурально говоря, погибая, потянуть за собой на дно и других, как можно больше других.

Пожалуй, и такой мог быть расчет: Альгирдасович, защищая себя, свой обком, вынужден будет невольно выгораживать и его, они уже будут повязаны одной ложью, так, возможно, рассуждал Игорек, и это уже будут *другие* отношения.

Кто, впрочем, может теперь знать, какими побуждениями ведом был этот крысеныш, когда бомбил Москву разоблачительными письмами? Одно ДэПроклов знал непрерываемо: это — Игорек. И ему

лишь одно-единственное нужно было на Камчатке: задать прямой вопрос и видеть при этом глаза того, кому он будет задавать вопрос. Себе ДэПроклов верил и знал, что не ошибется, никогда еще он не ошибался.

Теперь, когда он поневоле размышлял о давнишней той истории с кореньскими ножами, все чаще ему являлась мысль, которую он вначале третировал как заведомо бредовую, но которая, тем не менее, упорно возвращалась к нему и возвращалась, как он ее ни изгонял.

Нелепая гибель изготовителя ножей. Очень уж ко времени случилась она. Прямо как по заказу. «А если, действительно, по заказу?» — размышлял ДэПроклов, и сам же себя поднимал на смех: ну, *никак* не вызался Игорь, его вялая, лениво-одутловатая, слегка бабья рожа с обlichem человека, замыслившего и осуществившего смертоубийство, хотя...

...хотя, вспомнив мимолетное ощущение опаски, которое он услышал тогда, пять лет назад, сидя в машине рядом с Игорьком (а ДэПроклов, повторим, абсолютно верил в истинность своих восприятий людей, и действительно очень редко ошибался), вспомнив, как поразился тогда, почуяв *ненависть* к себе, во время разговора за тем именнинным столом, — вспомнив все это, он уже почти готов был, с малой, конечно, долей вероятности предположить, что он, возможно, и недооценивал в чем-то Игорьку. Чужая душа — потемки, а уж душа крысеныша, на краю гибели — мрак кромешный.

Только вот какой выгоды ради потребовалось «мочить» безобидного кустаря-одиночку? Совершенно бессмысленно.

Впрочем, если предположить, что Игорек к этому касательство имел, то кое-какая ему лично все же выгода была: с исчезновением дяди Степы того (или дяди Мити?) можно было бы говорить и об исчезновении древнего промысла, единственным наследником которого дядя Митя-дядя Степа был, тайны которого унес с собой в могилу, а были те тайны или их в помине не было, это дело десятое, об этом надо было бы у дяди Мити-дяди Степы спросить, но только, увы, сейчас уже не спросишь.

Да не *может* такого быть! — сам себе сопротивлялся ДэПроклов. — Чтобы из-за дерьмовой заметки?! И сам же себе возражал: «Это для тебя — дерьмовая заметка, а для него в тот момент — угроза краха, катастрофа, смерть всех мечтаний и упований».

Ну, ладно. Как тогда технически он мог бы обстригать это дело?

Предположим — некий знакомец из местных уголовников. А там, сколь помнится, весь поселок был или из бывших, или из натуральных уголовников. Жизнь человека, тем более коряка, в тех краях стоила тогда (да сейчас-то тем более) пригоршню пятаков, не больше. Опасаться расследования, более или менее тщательного, нечего было. Тем более, что душегуб — тот самый начищенный бич — был налицо. Он, говорят, даже и не пытался отрицать случившийся с ним грех.

Ну, стало быть, знакомец из местных. Заплатить ему. Или — марафету какого-нибудь предложить. Тот устраивает большой чифирь. Когда те двое уже в отрубе, много ли труда требуется, чтобы выгащить у бича его заточку, ткнуть той заточкой кузнеца-самоходка, вложить орудие злодеяния в руку бича и спокойноненько удалиться.

Вариант, конечно, более или менее правдоподобный, размышлял ДэПроклов, хотя, похоже, за уши притянутый. Ну, почему, например, не ткнуть в сердце, или в печень, или еще куда-то? Больно уж хитроумно: именно в бедренную артерию! Чтоб истек дядя Митя-дядя Степа кровью потихоньку. Ну, а вдруг кто-нибудь зашел был невзначай в их балок? Ну, а вдруг дополз бы все-таки тот самородок до дверей? Ну, а вдруг спасли бы? (Хотя, конечно, вряд ли — насчет спасти — санчасть, сколько помнится, была только в зоне, километрах в двадцати; в поселке — только вечно пьяный «фершал», но и будь он даже трезвый, не смог бы пережить бедренную... Так что, если был злодейский расчет, то расчет неимоверно тонкий, невероятно какой-то точный, — но как-то очень плохо верится, что в убогом том поселке мог обитать человек, способный на этакое. А впрочем, откуда знать, что за люди обитали тогда в том поселке?

Если все же допустить, что случай с коряком-кузнецом не несчастный случай, то придется признаться, — признался себе ДэПроклов, — что ни малейшего сомнения в правдоподобности происшедшего ни у кого даже не возникло. Злодей, если он был, своего добился.

Оно, конечно, если бы вскрытие сделать да посмотреть, какой дурью этих двоих опоили, да если бы экспертизу провести на предмет того, а мог ли бич, лежа, нанести именно такое ранение, да если бы что-нибудь еще этакое, научно-милицейское, предпринять, — тогда-то, может быть, истина и открылась. По крайней мере, хоть сомнения возникли бы.

А местный участковый милиционер (участок у него был величиною с Бельгию) лишь одному удивился: откуда у этих бичей занюханных чай появился? Насколько ему, участковому, известно, местный народ вот уже два месяца без чифирия бедует.

Качественный был страж закона в поселке Усть-Корень, что и говорить. Когда ДэПроклов спросил его, ну, а чего интересенького из происшествий случилось на его участке, тот после долгого раздумья ответил: «Да ничего, вроде, и не было... Ну, может, коряка тут одного нашли. Точнее сказать, не коряка, а полкоряка». — «Как это?» — удивился Дэ-Проклов. «Бензопилой пиленный», — кратко ответил участковый. «Ну? И что? Кто сделал, отыскали?» — «Да разве тут отыщешь? — преспокойно отвечивал тот, махнул рукой. — Э-э! Одним коряком больше, одним коряком меньше...»

«Ф-фу! Ну и нагородил же ты, братец! — сказал сам себе ДэПроклов и даже потряс головой, стараясь избавиться от навязчивых этих мыслей. — Не мог, не из того дерьма леплен Игорек, чтобы провернуть такое! И какие такие знакомцы могли у него быть среди блатных?! Он же по *партийной* линии шел — за версту, стало быть, должен был обходить подобные, компроматные знакомства».

И тут же сам себе, не без ехидства заметил: «А между прочим, на следующее утро Игорек из города исчез. Надя сказала: «Куда-то на север полетел...» А на аэродроме, даже после обкомовского звонка лететь отказались: «бортов нет». Вертолет, который обычно обслуживал район Усть-Корень, оказывается, с утра улетел. И какой-то *ваш*, обкомовский, как они сказали, улетел с ним... Что ты на это скажешь?»

«А ничего не скажу! — отвечивал ДэПроклов. — Я лучше коньячишка выпью. Если так рассуждать, то Игорек этот, дерьмовый, пустяковый, пшик-человечишко, окажется у тебя семидесяти пядей во лбу прожженнейшим мафиозой!»

Однако Игорек, как репей, вцепился в ДэПроклова — даже коньячишко не помогало — и чем дальше, тем большей неприязни, чуть ли не ненависти преисполнялся ДэПроклов, не в силах избавиться от этого гнуса.

«Эх, Надя-Надя! — сокрушенно вздыхал он. — До чего же нескладно, до чего же несправедливо — хоть воем вой! — все у тебя сложилось. Чем же ты так Господа Бога прогневила? За какие-такие грехи вся жизнь твоя в такой перекосяк пошла?»

Она рассказала ему потом, как *это* случилось — рассказала мертвым голосом, без всякого снисхождения и к себе, и к нему, ДэПроклову, с такими подробностями, которые ДэПроклов предпочел бы не знать, от которых его прямо-таки коверкало и злобно сжигало изнутри. Она безжалостна была в этом рассказе, и, грех сказать, легкий душок мазохизма почувдился ДэПроклову в этом печальном повествовании.

Игорь прислал телеграмму: «Встречай!» — едва ли не в тот самый день, когда она решилась, наконец-то, написать ему о Диме-Диме и о том, что между ними — между Игорем, то есть, и ей — произошла, видимо, ошибка.

Вначале твердо решила не ехать.

Затем подумала, а каково ему будет, когда всех будут встречать, а его одного — нет, пожалела, решила, что все объяснит на месте, ничего Диме не сказавши, взяла билет и поехала.

Было мутное чувство: она совершает ошибку, может быть, даже непоправимую, и еще было чувство: она совершает предательство по отношению к Диме-Диме.

Однако, чем дальше поезд уходил на юг, навстречу лету — стоял уже май, за окнами было зелено, все уже ходили в летнем, — чем далее поезд вторгался в родное ей, южное, праздничное, тем более линиями становились воспоминания о холодной хмури Москвы и тем ошутимее росло ощущение какой-то праздничности, необыкновенности происходящего.

Женщины в купе — все до единой — смотрели на нее нежными, грустно-завидующими глазами, помогали кто чем мог, угощали и всем наперебой сообщали: вот, студентка, едет встречать жениха из-за моря.

И южный тот город оказался прелестен: с цветущими каштанами, с букетиками фиалок на каждом углу, со стеклянными будочками, где торговали изумительно вкусной сельтерской водой.

Она наслаждалась, бродя по набережной — наслаждалась светом южного неба, запахом моря, наслаждалась своей походкой, легоньким своим платьицем, так кстати сшитым к этой поездке, — и хотя она очень часто, почти постоянно вспоминала Диму-Диму, но уже чуть ли не с возмущением отказывалась вспоминать о Москве. Этот южный город, этот чудесный город, весь цветущий, весь уже прогретый ласковым, не злым солнцем, пахнувший морем, цветами, кофе — этот город уже напрочь вытеснил из памяти постыльную Москву, а значит, полузаметно, вытеснял из памяти и Диму-Диму.

Было и еще немного радости — самая ее послед-

няя малость — когда гремел оркестр на причале, все так же радостно сияло солнце, все стояли с букетами, высматривая на борту *своих*, и она *тоже* высматривала.

Он заметно потолстел, помордел. Она с трудом отличала его в толпе таких же, как он, одинаково одетых, одинаково багроволицых, одинаково бессмысленное, ликующее что-то кричащих с высокого борта вниз, где бестолково мельтешила разноцветная толпа женщин, встречавших своих мужчин. И она была одной из них.

Он не обнял ее, он схватил ее жадно в охапку, как собственность. Она с неприязнью отметила это. Отметила и то, что вдруг сделалась ужасно обезвожена — и всем этим гамом, и этим хватким обхватом (от него пахло вином и еще чем-то, чесночным), и, главное, тем, что она уже не в силах что-нибудь изменить в ходе событий, которые влекут ее, как утлую щепку властная вода.

Ее все время с кем-то знакомили.

Ее все время одномысленно оглядывали.

То и дело она слышала в адрес Игоря: «Ну ты даешь, Игорек!» — восхищенное и завистливое.

Суeta сборов куда-то кипела. Надя с усилием понимала, что радиогамма в лучшую гостиницу города, где заказывали номера, то ли не дошла, то ли затерялась. Такси на всех не хватило. И в конце концов в дрянном городском автобусе, битком набившись, поехали куда-то — «Бординг-хауз, бординг-хауз...» — слышались голоса, и наконец прикатили в этот самый бординг-хауз, который оказался на поверку просто-напросто общежитием моряков, где по случаю ремонта пустовал целый этаж.

Игорь куда-то бегал, с кем-то шептался, то и дело подбегал к ней, говоря, не волнуйся, сейчас все устроится, и с каждым разом от него все сильнее пахло вином и чем-то чесночным.

А она вовсе и не волновалась, устроится все или не устроится. Она отупело повиновалась, когда говорили: «Посиди здесь, подожди...» — она послушно поднималась и шла куда-то, когда говорили: «Пойдем, надо анкету заполнить...» — она *вся* оцепенела, и ей больше всего на свете хотелось проснуться, вырваться из этого тоскливого плена, хотя она уже и знала, что никакой это не сон, этот кошмар — наяву, и только где-то, очень отдаленно, где-то в самых потьмах души тоненько и больно, на одной щемящей ноте ньюло в ней ощущение страшной потери — потери всего и *вся*.

Он втолкнул ее в комнатенку, где вдоль стены — одна на одной — сложены были панцирные сетки от кроватей, в углу на грязном полу валялся рулон матрацев. На стенке, полуоборванная, улыбалась японка с календаря.

— Во! Еле отбил! — тяжело дыша, проговорил Игорь, не сразу попадая хлипким крючком в кольцо, и то и дело поглядывая на нее то ли виноватым, то ли вороватым взглядом.

Одна койка стояла в сборе. На ней был матрац без простыней, в желтых разводах.

Она подошла к окну глянуть, может быть, отсюда видно море, но не успела глянуть, он опять, как давеча, жадно обхватил ее сзади и вдруг стал грубо валить на матрац.

— Ну, не надо же так!

— Надо, Наденька... полгода... надо... — с хрипом повторял он.

— Мне больно! — вскрикнула она в голос.

Платье — она услышала — с треском разорвалось и оказалось вдруг на лице.

— Мне больно! — повторила она с яростью. Но тут он сделал ей еще больнее, и еще больнее, и еще... и ей стало отчетливо ясно, что ему яростно-радостно делать ей именно больно.

Потом он перевалился на край койки, не удержался и оказался на полу. Дышал он, как после погони, а глаза были дики, но он улыбался.

— Что ж ты наделал!.. — заплакала она.

— Что надо, Наденька, что надо... — Дрожащими руками он прикуривал сигарету и смотрел на нее уже без жадности, но победительно и слегка даже с высокомерием.

— У меня же все в камере хранения. Как же я пойду?

— Купим. Все купим.

В фанерную дверь забарабанили, и чей-то пьяноватый дурной голос крикнул:

— Игорек! На выход! Ты — уже?

— Я сейчас, на минуточку, — сказал он Наде. — Ты запришь. А то народ у нас... — он хихикнул. — Я стукну три раза. Поняла? Поняла, я спрашиваю?

Она закрыла за ним дверь.

По ногам ее что-то текло, быстро высыхая.

В комнате не было ни воды, ни раковины, ни даже графина. Она заплакала.

Платье было разорвано до пояса. Она заплакала еще горше.

Из окна никакого не было видно моря — пустырь с дрянными домишками и чахлыми садочками, какая-то железная рвань, штабели полугнилых фруктовых ящиков, заросшая травой железнодорожная ветка. Боль стихала, и она одно только мысленно, тихо повторяла: «Что же я наделала! Что ж я наде-лала!»

Он стукнул три раза, она медленно открыла, он ворвался с бутылкой вина и двумя яблоками.

— Я же не пью, ты же знаешь... — слабо сказала она.

— Ну а ты яблочка, яблочка поешь. — Сорвал зубами пробку, ополовинил бутылку и, едва поставив ее на пол, снова потянулся к Наде. Та в невольном страхе отпрянула, а он, словно того и ждал, тут же освирепел. Снова схватил ее в охапку.

Она была слабенькая, он был тяжелый и сильный. Он крутил и гнул ее, и она не могла понять, чего же он хочет, а когда поняла, он уже прижал ее лицом к зловонному мерзкому матрацу.

— Но так же нельзя! — кричала она, едва не задыхаясь от матрацной вони.

— Можно, Наденька, можно! можно! — уже вполне торжествуя, отвечал тот сзади. — И так можно... а теперь вот и так! — И тут от внезапной разящей боли Надя визгнула и перед глазами ее вдруг померкло — она почти потеряла сознание — только слышала толчки злой боли сзади и его, с придыханиями, торжествующие слова:

— Ты была... такая красивая... там... на причале... такая... такая!! Закроешь дверь, слышишь?

— Я не открою тебе.

— Не откроешь — выломаю. И не один.

— Я выброшусь в окно.

— С первого-то этажа? — Он с удовольствием рассмеялся.

Она наконец заплакала в голос:

— Принеси иголку с ниткой. Я прошу тебя! Я же так ждала тебя! И — воды, хотя бы в графине!

Но ни иголки с ниткой, ни графина с водой он не принес. Пришел через два часа, уже почти совсем пьяный, и снова мучил ее, с бешенством шипел: «Бери!», тыча в лицо, а потом, когда горячо брызнуло ей в лицо и что-то жгучее, горько-соленое попало вдруг на губы — ее ударило в рвоту, в конвульсиях стало возить и дергать по матрацу, и она даже не заметила, как столкнула пьяного Игоря на пол, где тот мгновенно и покорно заснул.

Потом полуосвещенным коридором бординг-хауза, среди ободранных в ожидании ремонта стен, кадок с известью, заляпанных подмоствьев, мешков с алебастром... — жадно зажимая руками разодранное на груди платье, затравленно озираясь, бродила в поисках туалета, воды...

За дверями еще пьяно гомонили.

Поперек коридора богатырски возлежал кто-то — в хорошем костюме, в галстуке, но почему-то в одном ботинке. Она долго боялась переступить через него.

Какая-то совершенно пьяная, распатланная женщина в одной лишь тельняшке на голом теле, явно заблудившись, стучала во все двери подряд и хрипло шептала на весь коридор: « Степа? Ты здесь? Степа! »

Потом, ожидая, когда сбегит из крана рыхлая от ржавчины вода, стояла перед мутным мертвым туалетным зеркалом и мертвым взором, как на чужую, смотрела на себя — на прекрасную Ассоль, превращенную Греем в бордельную шлюху.

— Никогда, — сказала она наконец, с трудом двигая кожей лица, ссохшейся от потеков спермы. — Ни за что! Никогда! — И ей казалось в ту минуту, что именно так все и будет: « Ни за что и никогда! »

...А наутро первое, что она увидела, проснувшись, — это был Игорь, стоящий среди комнаты на коленях.

Лицо его неправдоподобно обильно было залито слезами. Он не сводил с нее глаз — должно быть, от этого упорного взгляда она и проснулась.

Он был жалок настолько, что не вызывал даже безразличия. И жалко, и торопливо, и нищенски звучали его слова: я тебя обидел, прости, прости, если можешь, я ничего не помню, прости, там в море мы звереем, это был не я, прости, прости, если можешь, забудем...

— Я утром сбегал, платье тебе купил. Не знаю, подойдет ли? — И опять залился слезами: — Прости, Наденька! Я только о тебе и думал там, в море!

Ее вдруг замутило. « И вот это-то существо она ждала?! И это о нем она думала по ночам?! »

— Дай, — сказала она страшно усталым голосом и протянула руку к платью. — Только не вздумай подходить! — вскрикнула вдруг зло и базарно, когда тот стал подниматься и на лице его мелькнула уже знакомая тень ухмылки.

— Я отвернусь, отвернусь... — с готовностью залепетал он и отвернулся, и снова зарыдал: — Что я наделал?! Это был не я! Это бес вселился! Это же не я был, Наденька!

Платье оказалось на удивление впору, и это Надю странным образом утешило.

— Там еще ниже надо было, — слегка хихикнув, сказал Игорь. — Но я постеснялся.

В Наде мгновенно пыхнула злоба: разодрать в клочья не постеснялся, а купить постеснялся!

...Когда она с отчетливой дрожью омерзения затворила за собой двери бординг-хауза и, миновав пустырь, вышла наконец на улицу, сплошь веселозеленую, всю в солнечном утреннем свете, всю в запахах цветущих акаций, всю легонечко продуваемую

морским ветерком, не прохладным и не жарким, и пошла по этой улице, ни на миг не забывая, что она под платьем нагая, — а вокруг уже бродило южное, летнее, милое — она странное вдруг стала чувствовать в себе — несмотря на страшную, горестную обиду прошедшего дня, — странную *гордели-вость* стала она чувствовать в себе: и оттого, что она — нагая, чистая, и оттого, что она (тут она всю гадость вчерашнего как бы жирно вымарывала) уже по-настоящему женщина, и оттого, что взгляды, обращенные к ней, полны не просто восхищенной приязни, к которой она была привычна, но и еще чем-то — но не похотью, не похотью! — и даже то, что Игорь трусит рядышком с видом побитой шелудивой собачки, ничего кроме злорадной горделивости уже не вызывало, а походка ее, она заметила, стала какой-то совсем-совсем иной — походкой освобожденной, воскресающей женщины.

В камере хранения она взяла свой чемоданчик. Там же, на вокзале, в туалете, переоделась в свое. Платье, купленное Игорем, вернула.

— Оно же денег стоит, оставь... — начал было тот, но вовремя спохватился. Смял платье кулком, бросил на подоконник.

— Надя! — торжественным, но и еще более нищенским голосом начал он, дрожа губами. — Можешь тебя попросить не уезжать сегодня? Будет у нас — не будет, — заторопился он, едва увидел выражение ее лица, — скорее, конечно, не будет... если, конечно, ты... Но сегодня сюда отец с матерью придет. Они уже едут. Часа через два будут. Для них ты... в общем, невеста. Не надо бы, чтобы они знали... как-нибудь потом... У мамы очень больное сердце... — И он опять изловчился пролить слезу.

— Два часа? Пусть. Пароход на Новороссийск только вечером. — Затем отчеканила голосом, жесткостью которого удивила и ее саму:

— Но только, Игорь, знай: ничего не будет! Я — никогда — тебе — *этого* — не забуду.

Она, действительно, никогда ему этого не забыла. Однако относительно «будет — не будет» все опять стало вершиться и совершилось, как в вялом кошмаре.

Родители Игоря приехали на машине, и так торопились, и так извинялись, и *так* они понравились Наде — особенно мама, удивительно похожая на ее собственную мамочку, у Нади даже сердце точно так же, нежно и жалобно сжималось, когда она глядела на нее, — они так по-стариковски суежились вокруг нее, так ее уже заранее любили — что почти без труда уговорили недельку погостить у них в приморском поселочке, где начались бесконечные хождения в гости, застолья, приезжала откуда-то какая-то родня, и для них всех она и Игорь, несомненно, были жених и невеста. Им и постелили в одной комнате, на одной кровати (Игорь спал, как собачонка, на половике).

А потом отец Игоря радостно объявил, что уже все устроено: разрешение на свадьбу загс дает, Надины родители уже летят сюда, гостей будет чертова уйма и он, старый, счастлив, что дожил до этого дня.

Капкан щелкнул.

Потом родился Егор.

Все кончилось, не начавшись.

«Эх, Надя-Надя, — произнес он, и вдруг заметил, что сказал это точно с теми же интонациями, с какими она произносила: «Дима-Дима», — и от этого пустяка у него опять бессильной тоской взвыло в душе. А потом и бессилие это, и тоска утраты *на-всегда*, жалость к Наде, и жалость к себе, который

уже никогда не сможет переиначить свою жизнь так, чтобы в ней опять была Надя (сейчас-то ему казалось, что он всегда хотел этого и о Наде помнил всегда), — вся эта разноголосица чувств, ощущений и мыслей, знаменателем которых было чувство непоправимой *потери*, вдруг быстрым, кратким, замысловатым ходом преобразовалась в одно-единое, недоброе, очень простое понятие. И понятие это было — *месть*.

Он даже несколько опешил.

Глянул на себя ошарашенно: ни клочущей ярости, ни жгучей ненависти он уже не слышал в себе — одно лишь холодное, даже и не холодное, а как бы леденеющее внутри желание — желание отомстить.

«Как же так? — попытался он урезонить сам себя. — Как ни крути, а кончится это смертоубийством. В этом ведь ты не сомневаешься?»

«Не сомневаюсь».

«Ну, а как же ты будешь жить, взяв на совесть убийство этого, пусть и гнусного, на твой взгляд, человека?»

«Пусть».

«Это ведь грех, друг дорогой!»

«Пусть. Пусть гады пожирают гадов. Господь простит. Ну, а не простит, пусть. По крайней мере Надя будет знать, что ее жизнь, несладкая, исковерканная этим подонком, отомщена».

«Постой, постой! Ты же ничего еще не знаешь! Может, он и ни при чем! Может, и не писал он тех писем...»

«Писал. Я знаю».

«Ну, пусть писал! Не чрезмерная ли цена — жизнь — за то, что слетел с поста один какой-то инструктор-паразит, слетел Давидыч — ничтожная гнида, пусть даже и ты кувыркнулся — тоже не ахти какая потеря для Отечества?..»

«Ни я, ни тем более, Давидыч с инквизитором — ни при чем. *Надя*. Надя умерла. Надя была несчастна. В несчастиях ее повинен *он*».

«У тебя крыша поехала, мил-друг, после известия о Надиной смерти! Окстись! Ты не можешь по-настоящему знать, счастлива она была или несчастлива!»

«Я знаю».

«Почему же она не развелась с ним? Почему чуть ли не пятнадцать лет жила с этим, как ты считаешь, извергом?»

«Не знаю. Я знаю: она была отчаянно несчастна, и в несчастии этом повинен *он*».

«Успокойся. Возьми себя в руки. Долети до Камчатки. Беспристрастным взглядом...»

«Беспристрастного взгляда не будет».

«Тебе не кажется, что ты сбрендил?»

«Может, и сбрендил. Но все дело в том, что я *знаю*. И, кроме того, *она* на меня надеялась. Больше ей не на кого было надеяться».

Он был уже зело пьян. Пьян безрадостно, тяжело, мутно, но под мутной этой тягостью, как огонь под пеплом, тлела, грела, иной раз и злорадно вспыхивала как бы прорывающимся пламенем обретенная им решимость отомстить.

И уже ничто, он чувствовал, не было в состоянии поколебать эту решимость.

«Подонки должны платить, — тупо повторял он. — Каждый подонкок за свое подончество обязан заплатить сполна. *Они* потому и жируют, что мы — чистоплюи — не желаем, боимся, не умеем, брезгуем расправляться с ними по их же законам. Я возьму на себя грех. Хватит. Никаких доказательств в виде признаний. Никаких презумпций. Если я *знаю* — это уже достаточное основание. А Господь меня

простит. Он сам, должно быть, в растерянности от этого тараканьего нашествия подонков. Он поймет, что я — просто помогаю ему».

Но ему все же было неуютно в соседстве с таким ДзПрокловым, будто чужого человека подселили к нему, — не симпатичен он ему был, понятен, да, но без всякой приязни. И время от времени отвратная дрожь пробегала внутри — когда он пытался представить себя самого, живущего с сознанием того, что по его наущению, его волей, его приговором казнен человек.

И все же он знал: то, что произошло с ним — необратимо. Он уже знал, что *сдаст* Игорька, что на Игорьке уже можно ставить крест.

...Брел мимо курганов мусора, наваленных возле железных контейнеров, никогда, судя по всему, не вывозимых, мимо собак, которые во множестве оживленно и весело копошились в помоечных тех клондайках, мимо детишек, которые в хмуро угасающем свете дня нешумно играли возле обливших своих домов в какие-то невеселые сумеречные игры... Шел, горестно услаждаясь скверной прелестью окружающего, сладко ужасаясь, как убого все вокруг него, а ведь он — идет — к Ней! Идет, и даже не представляет, какая она теперь после восьми лет разлуки, и все-таки ждет пронзительной какой-то отрады от этой встречи, и все-таки уже покорно приуготовил себя к сладостному какому-то поражению, к нежному повиновению, к сдаче в плен.

Люди возле подъездов, люди в окнах — странно-тревожно и взволнованно-странно смотрели на букет цветов, которые он нес венчиком.

Он разыскал наконец ее дом, ничем не отличный от других.

Он нашел подъезд — грязный, с запахом кошек, со слабоумной матерщиной на облупленных стенах.

Он поднялся — то ли на второй, то ли на третий этаж — нажал кнопку звонка и тотчас услышал ее ясно-приветливый, радостный голос:

— Открыто, открыто! Входите!

И он — вошел.

Она домывала пол в коридоре.

Выпрямилась навстречу ему, руки слабо и беспомощно растопырив, — в правой руке грузно обвисала сочно намоченная тряпка мешковины, — сказала беззащитно:

— Ну что же ты так рано? Я и убраться не успела.

— Здравствуй, — сказал он.

— Дима-Дима... — произнесла она почти без выражения, вся прислоняясь к нему слабеньким своим тельцем, и облегченно вздохнула:

— Здравствуй. Это ведь ты?

— Ага. Это, всего-навсего, я.

— Я рада, что ты приехал, — сказала она как прижалась, все еще осторожно прислоняясь к нему. Потом отстранилась, сильно и тихо смутившись, от-вернулась: — Я домою? Ты — сядь.

Он послушно сел в кресло, с интересом огляделся.

Это была двухкомнатная, кажется, квартира, плохо, случайными и небогатыми вещами обставленная. Без уюта здесь жили, и чувствовалось почему-то, что нет любви в этом доме, нет крепости, и он уже не удивлялся той растроганной жалости, которая вспыхнула в нем, когда она так по-детски, так неприкаянно, пугливо и голодно прильнула к нему при встрече.

Хорошо, что я такую ее застал. Не при параде. Это — настоящее, и вот это тоже настоящее, отметил он, прислушиваясь к сладко ноющей своей пещали-нежности.

— Сидел бы тут у тебя и сидел, — сказал он, следя каждое ее движение. Она кончала протирать пол тряпкой, намотанной на щетку, и он отметил, как не очень умело и не очень споро получается у нее это.

— Сиди. Только не смотри, пожалуйста. Я не одетая.

— Пусть. А у тебя можно поспать? Знаешь, какое у меня чувство? «Я — вернулся».

— У меня тоже. Тебя долго не было, и вот ты — вернулся.

— Так у тебя можно маленько поспать?

— Поспи. Но не очень долго. Тебе подушку дать? Мы сегодня идем на день рождения, я говорила?

— Обязательно, — отвечал он, ноги вытягивая и со сладостью разваливаясь в кресле.

Сон однако никак не хотел впускать его.

Он глядел на длиннющие свои ноги, аж упирающиеся в противоположную стену комнаты, глядел на себя, полулежащего в кресле — посреди Камчатки какой-то, на краю света, а рядом Надя, домывает пол... странно все это и хорошо... и странно, что хорошо... и хорошо, что странно... — но заснуть все никак не мог.

— Не могу я спать! — сказал он с досадой, садясь.

— А нам уже ехать пора.

Она стояла — нет, надо бы сказать, *предстояла*, — наивно и явно демонстрируя ему что-то этакое, в цветочек, из ситчика, с какими-то оборочками, складочками, будто он хоть что-то понимал в этом, будто именно платьице было сейчас главным, а не она сама — не восхитительно-жалостное в своей хрупкости и загадочной прелести средоточие именно вот этих тщедушных косточек, нежных волоконцев, теплой плоти, которое, именно оно, тихое восхищение в нем вызывало, — как будто не она сама, не добродушно сияющая *сущность* ее, — главным здесь и сейчас были, а вот это платьице...

— Можно я тебя нежно обйму и поцелую? — спросил он.

— Можно, Димочка, — просто сказала она.

Он обнял ее бережно и тихо поцеловал во что-то горячее, шелковое, грубо вдруг и тяжело его сотрясшее, — где-то возле ключицы, внизу шеи.

И они остались стоять так сколько-то времени — будто бы согрвая друг друга, будто бы внимательно и осторожно проникаясь друг другом.

—! — сказала она горячо и, словно бы кого-то убеждая, прошептав это в грудь ему, в распахнутую рубашку.

— Да, — согласился он. — Я вернулся.

— Да. Вернулся.

— И что же нам теперь делать? — спросил он.

— Ну, я же не знаю...

Да и в самом деле, откуда же им было знать — впервые в последний раз живущим, — что же делать им с тем непонятным, грозно-важным, торжественным и скорбно-ликующим, что столь нежданно, столь ошеломляющим миготом стряслось вдруг между ними?

Потому-то и стояли вот так — тихо обнявшись, словно бы вслушиваясь друг в друга.

— Ты знаешь, — сказала она сокрушенно, — он говорит, что любит меня.

— Еще бы.

— И как же все теперь будет?

— Все хорошо будет, — сказал он без уверенности.

— Плохо не будет. Надеюсь.

— Я тоже надеюсь. На тебя.

...Потом в битком набитом, облупленном, опасно кренящемся автобусе, по жутко встряхивающей дороге они ехали к подруге ее на день рождения.

Их то и дело прижимало друг к другу, и вначале они смущенно отстранялись друг от друга, но потом, устав сопротивляться толкотне, вновь сомкнулись телами, каждый при этом старательно глядя куда-то в сторону.

За окнами был бедный, сумеречный, с плохоньким светом в окошках город.

ДэПроклов был взволнован, однако вовсе не тем, обычным, волнением, какое ему всегда приносило ощущение женского тела. Волнение было совершенно иным, неведомым, приятным, но странным, и, странное дело, не много было радости в волнении том, но много печали и почему-то обреченности.

Потом он сидел на стуле и слипающимися глазами старательно смотрел, как она и подруга (гости еще не собрались) накрывают на стол, и то и дело ловил себя на том, что чему-то блаженно-глуповато беспрерывно улыбается.

Потом услышал над собой смех и обнаружил, что спит, свалившись со стула, на полу, а Надя потихоньку тормозит его за плечо.

— Не надо было тебя тащить. Я же забыла, что ты только что прилетел.

— Никуда я не улетаю, — сказал он. — Я спал здесь всегда.

В соседней комнате ему положили на диван подушку, пошатываясь, он перешел туда, лег и мгновенно, обморочным вертолетиком, полетел в черный блаженный провал сна.

Пробудился он уже на подлете к Петропавловску. Сколько часов он проспал, как делал пересадку в Хабаровске (и вообще делал ли, «может, сейчас они напрямую летают?») — все провалилось в пьяные тартарары.

Рядом с ним сидела уже не старушка-учительница, а интеллигентного вида стручок-старичок — в *пенсне*! Читал книжку.

ДэПроклов как воззрился на него пьяным, диким спросонья взором, так и не мог оторваться.

Потом не выдержал:

— Вы меня, конечно, извините, — начал он сверхвежливым сладеньким голосочком, — дайте, хоть на полминутки, ваше пенсне поносить. Ни разу в жизни не носил. Даже, ей-богу, ни одного живоносащего не видел!

Старичок вместо того, чтобы возмутиться, вместо того, чтобы послать куда подальше — с искренним весельем рассмеялся.

— Ради бога!.. — сказал. — Если уж вам так хочется...

— Замечательно! — сказал ДэПроклов, водрузив на переносицу пенсне. — Жаль только зеркала нет. Как я? — спросил он у старичка.

— Вполне. Похожи на революционера времен «Народной воли». Вам бы еще бороденку.

— Почто же вы незнакомого человека и так обижаете?!

— Ну, извините! — усмехнулся старичок.

— Спасибо! — ДэПроклов вернул пенсне. — Теперь я не сомневаюсь, что действительно уже, считай, на Камчатке. В Москве, если б я с такой же просьбой к кому-нибудь обратился, меня облаяли бы.

(Окончание следует)

ГЕНИЙ

НО-
СРЕД-
СТВЕ-
НО-
СТИ

Читаю заголовок корреспонденции из Грузии. «Мы были в тупике, и сейчас до полной стабилизации еще далеко», — считает глава грузинского Госсовета.

Приходит на ум «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. Вы его опубликовали, вы его и съели. В лице каннибальской пары Пригов—Коннеген. Галковский пишет весело. Чем и обратил на себя мое внимание. Его оппоненты писанули нечленораздельно, но членовредительно. Еще бы, их зубы были заняты раздроблением членов.

С полным ртом трудно говорить внятно. Но зато в такого рода речи есть своя экспрессия: утоление голода задетой за живое посредственности, лязг зубов и сытое урчание. И вот уже Пригову транснациональная награда за каннибальство: интервью по Би-Би-Си. Разумеется, Галковский получил свое не за «бесконечную тупиковость», а за блистательную статью о «шестидесятниках». Он превысил полномочия, «вел себя неподобающе», «вышел из рамок». Его понадобилось осадить. Некий верховный карлик, тайный босс (лучшая находка в «Покаянии»), он же паук с противоположной стены от божницы с лампадкой из поэтики Достоевского (но, поскольку, как писал у вас Якимович, вещи в наше время потеряли самоидентичность, — паук оглел божницу и мерцание лампадки вырывает из мрака паука, оплетшего распятие, угнездившегося у кровотокающей раны страдающего богочеловека), дал задание произвести предупредительный окрик сломавшемуся рынком диссиденту, дезориентированному бунтарю, подрастерявшему причины своего бунта, несколько раз за нестандартное поведение попадавшему в психушку, — о, за это не награждают: «Мне вас жаль, — говорят правозащитники, — но это ваша проблема». И действительно: мы живем в век мировых стандартов; ваша ремесленная вещь ручной выделки, сумеете ли вы ее всучить, это ваша проблема, — это общество потребления стандартов.

«Единица! Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? — Разве жена! И то, если не на базаре, а близко», — писал великий поэт общества потребления, употребления, непотребства Владимир Маяковский. Одни потребляют, а других употребляют. Что это вообще за фигура такая, Галковский — неориентированная, неотшлифованная, какой-то недоделанный гений, тyka-

ющийся между славянофилами, консерваторами и прогрессистами? С фотографии смотрит человек в футляре, книжный червь на фоне родной стихии, флотоводец — за спиной бесконечный горизонт книжного моря, но за стеклами очков сверкают злые сверчки, что-то типологически сходное с инквизитором Эль Греко. Нашей непрерывно впадающей в ересь культуре необходима время от времени фигура инквизитора, наводящего ужас на врагов господних. Инквизитор, прокурор Бога, фигура двусмысленная, потому что мы помним, что имя ему Сатана.

«Независимая газета» опубликовала результаты интернетного опроса: только 12% респондентов верят в бытие Божье, и 46% верят в Сатану. Итак, если бы сейчас были выборы — президентом избрали бы Сатану! Бог ушел бы в глухую оппозицию. Тут опять дилемма: Бог в оппозиции всякой власти и всякая власть от Бога. Софистика софизмами, на софе софизмами жонглируем. Ну что за охота была Галковскому разыгрывать перед всеми роль Городничего? «У, это все они, шелкоперы, писаки проклятые, чертово семя!» Вжил в роль Городничего... Что же, «Бесконечный тупик» — это ответ Городничего Гоголю? Вопросание твари к творцу? Фельетонного персонажа к фельетонисту? У меня есть переписка Автора с Героиней в стихотворной форме, до сих пор не опубликованная, на ту же тему. А ведь кроме этого, во всем том отрывке «Бесконечного тупика», что вы опубликовали, ничего и не было. Что было? Империя, высокие своды, широкие столы канцелярий, вальяжные столоначальники; бумаги, запросы,

циркуляры, указы; бумаги переходили со стола на стол, из ящика в ящик, от советника к советнику — и за всем этим скрывалась могучая жизнь, и вот явился с закрытыми глазами сновидец Гоголь, и все это высмеял, да еще так язвительно, беспощадно: косность, невежество, глупость, взятки. И вот сновидцу Гоголю, никогда не знавшему действительной жизни, и пошло-поехало, писатели «кислотой своих сновидений выгрызли реальность» — и все это великолепие за сто лет рухнуло и осталась диктатура шелкоперов-сновидцев. Конфликтующий с жизнью шизик Чацкий оттеснил прагматика Молчалина, умыкнул Софью, но оказался импотентом. Виновник найден — русские писатели. Галковскому заплотировали со всех сторон. И консерваторы, и либералы, и заграница. И вот уже Борис Парамонов, спец по «русской идее», вскрывающий ее скальпелем психоанализа, знакомит нас с ранее неизвестными нам словами и идиомами. С транспарантом «Чичиков спасет Россию» и отборным матом — как будто коммунистическая диктатура сдерживала эти скотские склонности профессоров и тут их прорвало, — возвращаются в родную официальную словесность диссиденты — и победившая демократия бешено аплодирует; еще бы, провернуто одно из величайших жульничеств в мировой истории, проворовавшаяся бюрократия фаши-стско-корпоративного государства, стесненная в своем рвении (предпринимательской инициативе) путами «научного социализма», объявила себя гарантом демократии и прав человека. Волчье стадо гарантирует безопасность овец.

А какую вкусно пахнущую фразу вправляет Парамонов в одеколон психоанализа: представители бразильского класса собственников вынуждены создавать заградительные отряды, чтобы «отстреливать человеческий помет», то есть два-три миллиона беспризорных бразильских детей. Замечательный образ — «человеческий помет». Квинтэссенция гуманизма и либерализма. Не вполне по Библии, взывающей: «заступайтесь за сироту и вдову», — но мы возрождаем церковь, вековой институт по отпущению нам всех и всяческих грехов; а Библия — это всего лишь литература, а литература в свободном обществе носит не императивный, а маргинальный характер...

И что нам, собственно, Галковский?! Мы ему тоже заплотировали. За веселость. За виртуозность. Когда красиво врут, то это всегда симпатично. Мы заплотировали Галковскому-софисту, казуисту, инквизитору, эквилибристу мысли. Но мы ему ни на грош не поверили. Лао-цзы сказал: «Молчащий умен, говорящий глуп». Мы ему заплотировали, но тоже не поверили; как мы могли поверить болтливому китайцу, только что признавшемуся в собственной глупости, этому дураку-парадоксалисту; так же мы не поверили шелкоперишке Галковскому, что во всем виноваты шелкоперишки. Так же, как мы никогда не верим его учителю Розанову, этому сластолюбцу слов, этому чревоугоднику мыслей. Кто мы — передовой отряд человечества, строители капитализма по бразильскому образцу? Или же мы — это парт-и-я моего «я», моя мафи-и-я, в которой состою я один? Присоединится ли к ней еще кто-то? Надеюсь, что не надеюсь... Получив одобрение, этот неподобающий гений, этот шут реформаторской бюрократии, создавший апологию посредственности, — не забудем про злые сверчки за стеклами очков — не так-то он прост, этот Галковский, — окончательно распоясался, этот чертов разночинец бросил бомбу, да еще куда, в святынях так называемой либеральной интеллигенции, в выдрессированные отделом ЦК по культуре

редколлегии толстых литературных журналов. Да, мы не скрываем, что получили огромное удовольствие от чтения этого эссе. Я, знаете ли, люблю все веселое, озорное, кипящее, остроумное, ехидное, язвительное, злое, беспощадное, или же я люблю любящее, доброе, жертвенное, но я не люблю бессильное, скучное, занудное, трусливое, слабоумное, я не люблю авангардистов, концептуалистов, конструктивистов, герметистов; я не спорю, что бывают гениальные душевнобольные, но гениальных сумасшедших не бывает; на сломанной машине не поедешь. Почему-то, может быть, потому, что я недостаточно мертвый, мне не нравятся герметисты. Ваш герметизм — это всего лишь междометие, что вы мертвеете, что смерть поселилась у вас внутри, но вы не можете разомкнуть уст, чтобы попросить о помощи, и вы издаете невнятный звук, потому что те, кто мог бы вас спасти, и есть ваши палачи... Но вас никто не захочет съесть, потому что вы невкусны. А вот Галковского вы съели. Аппетит, значит, у вас есть... Впрочем, что мне Галковский? Что я Галковскому? Пожалел волк кобылу... Может, у него в глазах вообще не злые сверчки, а колбочие букашки?.. На другой день после статьи я прошел по редакциям журналов. В них поселились паника и смятение. Холодный ужас приговоренных к смерти и конфискации имущества прочел я в их глазах... Они все думали: может быть, сверху был спущен циркуляр; может быть, началась кампания... вот оно, змеиное дыхание августа... Впрочем, испуг быстро прошел и сменился жестокой яростью. Пригов—Коннеген, эта бисексуальная личность, обвинила Галковского в хамстве, распущенности, вульгарности, вроде как уличный хулиган пришел в приличное общество, но это приличное общество отплевывало свой «танец с саблями» не на одном поверженном трупе, не одно кровоточащее сердце топтали они с бесчувствием заряженных злой волей зомби...

Владимир Новиков напоминает Галковского: «...юный мастер интеллектуальной мастурбации». Значит, все-таки пронял он их. Не могут забыть и простить. Куда как безопасней обличать Ленина и Чехова. Но не тронь рой жалящих ос. Давайте все-таки попробуем проанализировать эту метафору. «Юный мастер» — казалось бы, положительная характеристика, но тут не так уж скрыто чувствуется подтекст: ты еще зеленый сосунок, чтобы бороться с нами, и в то же время вынужденное признание — «мастер», зачеркиваемое «юным». Юному положено ходить по редакциям с дрожащими коленками, ходить из месяца в месяц, из года в год, подгоняя себя вспышками неоправданных надежд, шлифуя тупую безнадежность, пока не поседеют виски и не потухнет огонь в глазах, а не вступать в неподобающие пререкания с отцами-попечителями.

Что такое «интеллектуальная мастурбация», трудно представить. Наверное, достижение сексуального удовлетворения посредством мысли (на что «шестидесятники» по слабости воображения неспособны), но подтекст вполне фрейдистский: «шестидесятники», как первобытный Вождь, захватили себе всех самок, изгнав сыновей в лес, в безвестность. И вот среди изгнанных в лес сыновей один набрался сил и дерзости вступить в схватку с Вожаком и завладеть юными самочками.

И начинается предбитвенный ритуал, вроде той перебранки, какой обмениваются перед боем боксеры-профессионалы.

«Старый похотливый козел. У тебя нет ни стыда, ни совести, ни сердца, ни ума, ни таланта», — выкрикивает

сын- «девяносты» (а может, внук), легко подпрыгивая и разминая члены, уверенный в своей увертливости и подвижности.

«Сосунок, выскочка, соплячок. Шел бы лучше заниматься онанизмом, а то я тебе яйца оторву», — отвечает ему, тяжело дыша, колыхая грузным животом и скрежеща зубами, Вожак- «шестидесятник», пряча в одной руке лезвие, а в другой — миниатюрную атомную бомбу.

И действительно, тот процесс, который происходит в литературе, можно обозначить только этим словом — стерилизация.

Кто из тех, кого не печатали, получил возможность публиковаться за годы «гласности» и так называемого торжества демократии? Те, кому за семьдесят или под семьдесят: Григорий Померанц, Борис Чичибабин.

Известно, зачем оскопляют самцов домашних животных: чтобы они стали смиренными, покорными, терпеливыми; не брыкались, не кусались.

Казалось бы, с годами «шестидесятники» должны стареть, функции ячеек угасать. Но этого не происходит. Я вот недавно имел такой разговор с «шестидесятницей». Кроме экономического ухудшения, ничего — в сфере свободы — не изменилось: все то же угрюмое подавление человека, все то же поворачивание спиной к крику боли, все тот же начальнический беспредел; ложь, манипулирование общественным сознанием, пропаганда, выпускание паров. Изменились только знаки, но система знаков не изменилась. Я в какой-то момент поддался искушению свободой, моя оппонентка всегда сохраняла ровный пессимизм. Я вынужден был признать ее правоту. «Это все еще на сто лет», — подытожила она. «Но мы-то не живем сто лет», — резюмировал я. И почему на сто, а не на тысячу? Ведь всякая бесконечность стремится к бесконечности, а всякий тупик — к бесконечному тупику.

Кто эти «шестидесятники», что это за звери такие, что они претендуют на «конец истории», о котором писал американский политолог японского происхождения Ф.Фукуяма, что это за мистические кони Апокалипсиса?

Это те, кто в шестидесятые-семидесятые годы усовершенствовали кровавую машину сталинского террора, придав ему «внешне приличные», неафишированные, бескровные формы; это те, кто создал психиатрический тоталитаризм. Непокорных не убивали, но «лечили». Палач с топором отступил на задний план, и на авансцену вышел врач в белом халате. Это был признак как «смягчения нравов» в условиях затянувшегося мирного времени, так и извращенно-изошренной жестокости. Посылая пулю во врага, ты спокоен, что он больше не воскреснет, но мит торжества быстротечен. А когда уничтожаешь его день за днем, год за годом, час за часом; одев его в халат дурака и обращаясь как с бессмысленным животным; особенно, если чувствуешь что он лучше, благороднее, талантливей тебя, то это уже блаженный оргазм победительного узурпатора, длительно-беспредельное сладострастие жестокости.

Кроме того, «шестидесятники» были людьми с двойным сознанием. В их недрах происходило перерождение Власти из санкционируемой ХОДОМ ИСТОРИИ, диалектически-детерминируемой устремленностью бытия к высшему совершенствованию, от материи к духу, во Власть метафизическую, неизменную, опирающуюся на вечные законы природы, на неизменную натуру человека, устремленную от материи к технологии; в которой прогресс мыслится только как прогресс технологии, и человек встраивается в технологическую систему как интегрируемая ею

частица, — уж не знаю, болт, винт или бит неизменной информации; отчего главным критерием человека становится соответствие стандарту, норме. Власть опирается не на религию, не на идеологию, хотя, конечно, в определенной дозе эти рудименты сохраняются; ВЛАСТЬ — это агрегат управления технологической системой, в которую на разных правах встроены машины-роботы и робот-человек. Все элементы свободы остаются только в управляющей части, в управляемой части только элементы реагирования на командные сигналы. Обязанность управления состоит в устранении неполадок работающей системы и поддержании заданного рабочего ритма. На периоды отдыха или восстановления сил команды осуществляются через каналы массовой культуры, поддерживающие заданный стандарт.

Исключаются слабые, инвалидные, слабоумные, а также обладающие повышенной эмоциональностью, слишком пылким воображением, сильным интеллектом, способным проникнуть в замыслы управленцев; независимые и самостоятельные, не способные к беспрекословному подчинению; бескорыстные, сострадательные и любвеобильные; все, кто слишком плох и кто слишком хорош. Поэтому можно сказать, что карательная психиатрия имманентно вышла из недр «шестидесятников», как выстраданное ими открытие мира, их эврика.

Галковский создал апологию посредственности, обрушившись на все, что над ней возвышалось, на критическую мысль, на творческую сновидность, на интуитивность озарения, и поэтому поначалу был встречен снисходительно, но его импульсивная живость, его внесистемная неупорядоченность, безусловно, настораживала. Нормальный человек не пишет так, как пишет Галковский. Нормальный человек пишет скучно, нудно, умно, серьезно, с тяжеловесностью монстра.

Безусловно, отдел стандартов допустил ошибку, упустил Галковского; одаренный человек неуправляем; он понимает слишком много и не понимает очевидных истин, касающихся характера и правил игры. Теперь придется его терпеть, подкармливать и дрессировать, лаской и угрозой, кнутом и пряником. Но если Галковский гений, я надеюсь, что он не даст себя приручить так быстро и выкинет еще какую-нибудь ослепительную шутку.

Московский медико-экологический центр

«Золотое Кольцо»

предлагает излечение бесплодия всех
форм, мастопатии, зоба, кист
и некоторых видов опухолей.

Без операции и гормональной терапии,
уникальными традиционными
и ультрасовременными методами био-
и иммунокоррекции.

Цены доступные.

Консультации профессоров очные.

Тел.: (095) 482-73-33, 586-04-81.

Для писем: 141304, Сергиев Посад, п/о 4, а/я 10.
Центр.

ЗАМЛЧАННЫ

МАРКС

Из сборника статей
о русской истории
«Скрипты»,
выпущенного
издательством
«Эрмитаж» (США)
в 1981 г.



В личности и учении апостола коммунизма есть глава, про которую нельзя сказать, что ее скрывают. Относящиеся к ней материалы опубликованы, но широкий читатель их не знает. Если «Капитал», «Коммунистический манифест», «Анти-Дюринг» и прочие «богослужebные» книги выпускаются ог-ромными тиражами и прямо-таки навязываются публике, то для ознакомления со статьями из «Новой Рейнской газеты» надо обращаться к малораспространенным и редко встречающимся изданиям, вроде штутгартского «Aus dem literarischen Nach-lasse von K. Marx, F. Engels und F. Lassal»*. Так же труднодоступны письма, касающиеся темы, о которой собираемся говорить здесь. Нужен особый исследовательский интерес, чтобы из нескольких томов «Briefwechsel»**, изданных трудами Ф.Меринга, Бабеля, Каутского, Бернштейна, извлечь необходимые тексты. Такой труд, конечно, не для массового читателя. Последователи же Маркса и марксоведы отнюдь не ставят своей задачей облегчение знакомства с ними. Если им и приходится порой касаться пикантного материала, они почти всегда сглаживают его одиозность, дают ему толкование, благоприятное для Маркса. Даже Эдуард Бернштейн, «ревизионист», первый посягнувший на культ непогрешимости учителя, старается оправдывать самые дикие его высказывания.

Только политические противники Маркса, вроде Джемса Гийома, давно отметили их «дикость», но их одинокие голоса заглушены дружным хором марксистов. Из русских «полумарксистов» едва ли не единственным, обратившим внимание на ересь вождей, был В.Чернов — лидер партии эсеров. В парижской газете «Жизнь» он напечатал в 1915 году серию статей, под псевдонимом Гарденин, которая появилась через год в Петрограде на страницах «Русского богатства», озаглавленная «Марксизм и славянство», а летом 1917 года под тем же заглавием вышла в Петрограде отдельной брошюрой. В буре тех дней она вряд ли привлекла к себе внимание; с приходом же к власти большевиков поднятая в ней тема попала в разряд запретных и пребывает таковой до сего дня.

Между тем, никогда за все 150 лет, протекших со дня рождения создателя «научного социализма» не было более удачного момента, чем сейчас, чтобы припомнить такие его высказывания, о которых ортодоксальные марксисты стараются не говорить, как о секретной болезни. Именно сейчас, когда мировая революция делает ставку на национальные противоречия, когда ни «пролетариат», ни «революционное крестьянство», ни даже «трудящиеся» не фигурируют в революционном словаре, уступив место «народам», «сегрегациям», «расовым дискриминациям», полезно открыть запечатанную книгу и посмотреть, что писал о «расах» тот, кто призывал пролетариев всех стран соединяться и кто считается создателем современного учения о политическом решении национальной проблемы. Говорю «считается», потому что на самом деле это учение создано не им, а его эпигонами в эпоху II Интернационала. Когда покойный Р. А. Абрамович лет 20 тому назад поместил в «Социалистическом вестнике» три большие статьи с изложением социал-демократи-

ческой точки зрения на национальный вопрос, там совсем не оказалось ссылок на основоположников марксизма. Перечислялись труды Карла Реннера, Бруно Бауэра, Каутского, Медема, всех представителей так называемой австро-марксистской школы, но ни Маркса и Энгельса, ни лиц из ближайшего их окружения не упоминалось. И это не случайно. Между теоретиками II Интернационала и Марксом — глубокая пропасть в воззрениях на национальный вопрос.

Чтобы не перечислять всех противоречий, коснемся знаменитого права наций на самоопределение, сделавшегося важнейшим лозунгом II Интернационала. Его нет у Маркса. Самое слово «самоопределение» берется часто в иронические выкладки. Если он и требовал иногда свободы и независимого государственного существования для какого-нибудь народа (ирландцев, поляков, итальянцев), то не в силу права и справедливости, а по сугубо утилитарным соображениям. Независимости Ирландии хотел не для самой Ирландии, а для ускорения государственного переворота в Англии. Потребовал на международном конгрессе в Женеве (1866 г.) самоопределения национальностей Российской империи, но слышать не хотел о таком же самоопределении австрийских и турецких славян. Скорейшая гибель и уничтожение — вот что желал он этим наиболее угнетенным народам Европы. Внимание же его к российским народам он откровенно объяснял намерением разрушить империю.

Он никогда не понимал «самоценности» права на самоопределение.

В революционном 1848 году поднялись венгры и чехи. Оба восстания имели одну и ту же цель — вырвать свою страну и народ из-под австрийской власти. Но все симпатии Маркса-Энгельса принадлежали только одному из них — венгерскому; другое, чешское, упоминается не иначе, как с величайшей злобой, оно объявлено «реакционным» и чехам грозит за него местью.

Современному читателю трудно примирить такие высказывания с укоренившимся представлением о Марксе — глашатае интернационализма и руководителе I Интернационала. Исторические факты не дают ни малейшего права делать различия в природе венгерского и чешского восстаний. Но Маркс не исходил из фактов. Он руководствовался отвлеченной исторической доктриной. В молодости оба они с Энгельсом были гегельянцами, и многое из гегелевского учения довлекло над ними всю жизнь, особенно популярное в те времена деление народов на исторические и неисторические.

У Гегеля оно основывалось на идее саморазвития мирового духа, Маркс и Энгельс подвели под него свой собственный базис в виде учения о экономическом прогрессе. Историческими народами были для них те, которые преуспевали в смысле материального процветания и на его основе создали крепкую государственность и культуру. Они — носители прогресса, хозяева истории. Им позволено устранять со своего пути народы отсталые, забирать их земли, богатства и самих уничтожать. «Народы, никогда не имевшие собственной истории, подпавшие с момента достижения ими первой грубой ступени цивилизации под чужое господство, такие народы не имеют никакой жизнеспособности и никогда не достигнут никакой самостоятельности».

*Из литературного наследия К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля (нем.)

** «Переписка» (нем.)

ти». Американцам не ставят в вину захват Техаса и Калифорнии, вырванных «из рук ленивых мексиканцев». Мексиканцы не знали, что с этими землями делать, а вот янки, за короткий срок, развили там кипучую деятельность, насадили промышленность, построили города, принесли цивилизацию на берега Тихого океана. «Быть может, — пишет Маркс, — «независимость» некоторого числа испанских калифорнийцев и техасцев потерпела от этого; быть может, «справедливость» и другие моральные принципы были нарушены там и сям при этом случае, но что значат эти нарушения против таких всемирно-исторических фактов?» Надо ли говорить, что оправданием захвата Техаса и Калифорнии оправдывался и захват Египта, Конго, южной и северной Африки и все колониальные захваты времен Дизраэли, Жюль Ферри, Бисмарка, Булова, Леопольда II... Что сказал бы Маркс своим теперешним последователям, выбросившим лозунг «антиколониализма»?

В одной из корреспонденций в «Нью-Йорк Дейли Трибюн» он описывал хозяйничанье англичан в Индии. Ему прекрасно были известны их хищнические приемы, беспощадный грабеж, следствием чего были систематические голодовки и неслыханное по размерам вымирание индусов. Но все прощается англичанам за их роль разрушителей патриархального хозяйственного уклада и быта туземцев, за внедрение в индусскую экономику капиталистических начал. Он уподобляет это социальной революции. «Совершая эту социальную революцию в Индостане, Англия, конечно, руководилась исключительно низменными интересами и действовала грубо, желая добиться своего. Но дело не в этом. Весь вопрос в следующем: может ли человечество выполнить свое назначение без коренной социальной революции в Азии? Если оно этого не может, то Англия, каковы бы ни были ее преступления при совершении этой революции была лишь невольным орудием истории».

Как примирить все это с социалистическим учением?

Автор «Капитала» вышел из положения гениально. Он объявил неисторические народы реакционными — врагами прогресса и революции. «Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затесненного и угнетенного тою народностью, которая стала потом носительницей исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории, как выражался где-то Гегель, становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами и слугами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции». Напротив, история экономически и государственно сильных национальностей священна, как история избранных народов.

В Австрии существуют, по мнению Маркса, только три таких носителя прогресса, принимавших деятельное участие в истории и сохранивших свою жизнеспособность, — это немцы, венгры и поляки. И потому они революционны. «Миссия всех других крупных и мелких племен заключается, прежде всего, в том, чтобы погибнуть в революционной миро-

вой буре. И потому-то они теперь контрреволюционны... «Все эти маленькие тупо-упрямые (stierköpfigen) национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги».

Нет нужды распространяться о том, как звучат подобные речи для современного уха, воспитанного на идее национальной терпимости и на осуждении расовой ненависти. Но нельзя не удивляться, что это изуверство, вот уже сто лет, не встречает слова осуждения со стороны последователей коммунистического пророка и не наложило на ореол его святости ни малейшего пятна. И это в то время, когда его именем разрушаются колониальные империи и создаются государства среди людоедских племен.

Сколько раз, и в статьях, и в переписке Маркса-Энгельса мы встречаемся с утверждением, будто реакционность славян объясняется не одним их участием как солдат в подавлении немецких и венгерских восстаний; она им присуща «от природы». Славяне и тысячу лет тому назад были контрреволюционны, подобно тому как немцы и мадьяры были революционерами еще при Карлах Великих, при Фридрихах Барбароссах. Энгельс так и говорит: «В Австрии, за исключением Польши и Италии, немцы и мадьяры в 1848 году, как и вообще в продолжение последнего тысячелетия, взяли историческую инициативу в свои руки. Они — представители революции. Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадьярами, только для того поднялись в 1948 году на борьбу за восстановление своей национальной независимости, чтобы тем самым одновременно подавить немецко-венгерскую революцию. Они — представители контрреволюции». Их с одинаковым возмущением упрекали в двух взаимно исключаящих друг друга грехах: в том, что они стоят не за революцию, а за Габсбургов, и в том, что устраивают восстания против Австрийской империи. Читателям так и не объясняют, каким образом можно соединить верность Габсбургам со стремлением выйти из-под их власти. Не объясняют и другое: почему венгры, захотевшие отделиться от Австрии, сохранили репутацию революционеров, а славяне за такое же точно намерение предаются анафеме. С ними обещают свести счеты после революции. «Кровавой мстостью отплатят славянским варварам, — говорит Энгельс, имея в виду победу революционной стихии, — всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций».

Когда Чернов-Гарденин в 1915 году с возмущением говорил об идее деления народов на революционные и контрреволюционные, Ленин горячо вступился за своего учителя. «Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов. Например, если социализм победит в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут тогда против нас, сначала хотя бы дипломатически, своих Бисмарков, мы будем за наступательную революционную войну с ними».

Правда, по Ленину, Китай и Япония контрреволюционны лишь в том случае, если двинут своих Бисмарков; по Марксу же, они будут контрреволюционны и в том случае, если не двинут их.

Англичане беспощадно подавляли все ирландс-

кие восстания, пруссаки подавили дрезденское восстание, австрийцы задушили освободительные восстания чехов, итальянцев, венгров, тем не менее, ни англичане, ни обожаемые немцы не отнесены к нациям реакционным. Маркс-Энгельс могли поругивать Виндишгреца, Радецкого, но состоявших под их командой немцев ни в одном контрреволюционном грехе не заподозрили. Чехи же, хотя и подняли восстание и героически сражались на баррикадах, — реакционны. Реакционны как раз потому, что восстали, ибо восстали против немцев — избранного революционного народа. В те самые дни, когда на улицах Праги лилась кровь, оба друга писали в «Новой Рейнской газете», что хотя им по-человечески и жаль чехов, но победят они или потерпят поражение, «их национальная гибель во всяком случае неизбежна». По их словам, в той великой борьбе между реакционным Востоком и революционным Западом Европы, что должна разразиться всего, может быть, через несколько недель, восстание чехов против немцев ставит их на сторону русских — на сторону деспотизма против революции. «Но революция победит, — угрожали они, — и чехи окажутся первыми жертвами угнетения с ее стороны». Чехам, таким образом, нет спасения: если их не добьет и не достреляет князь Виндишгрец, то добьет и достреляет Карл Маркс на другой день после победы революции. Они обязаны исчезнуть как национальность, потому что имели несчастье попасть в разряд народов «неисторических».*

* * *

Марксу не принято приписывать националистических страстей. Даже Чернов, квалифицировавший образ его мыслей как шовинизм, дал этому шовинизму эпитет «революционный», что в достаточной степени бессмысленно, так как шовинизм категория национальная и в другой план непереносима. Но как объяснить несомненную и ярко выраженную неприязнь к целому ряду народов? Допустим, что авторы «Коммунистического манифеста», в самом деле, ничем кроме социализма не горели, это не спасает их от упрека. Горение на манер вышеописанного не делает чести ни им, ни социализму. Неужели надо предположить не «революционный», а самый настоящий шовинизм? В таком случае, чьим шовинистом мог быть Маркс? Еврейским, поскольку он еврей? Но он и о евреях писал столь неласково, что существуют печатные работы, обвиняющие его в антисемитизме. Значит, немецким? Как ни странно звучит сейчас такой вопрос, отбросить его не так просто. То, что почти не встречается в наши дни, было сравнительно частым явлением во дни Маркса. Стоит вспомнить Дизраэли — вдохновителя английского джингоизма. В той же Германии до самого прихода Гитлера было немало евреев, называвших себя немцами иудейского вероисповедания.

* Bertram D. Wolfe в своем труде «Le marxisme une doctrine centenaire» пишет:

«О «славянской сволочи» (Lumpengesindel) Маркс писал уже в своей статье, подводящей итоги революционного 1848 года. Немного позже, в феврале 1849 года, ту же тему развил Энгельс, заявляя, что судьба западных славянских народов — дело уже конченное». «Их завоевание совершилось в интересах цивилизации... Разве же это было «преступление» со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки (Nationchen) и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?»

А Маркс, несмотря на большое количество предков-раввинов, не принадлежал к иудейству. Уже отец его был протестант; сам же он, хоть и сделался в юношеском возрасте атеистом, воспитан с детства в протестантизме, а мать и старшая сестра Софи являли типы настоящих протестантских фанатичек. Все это — не в пользу его еврейства. Если прибавить женитьбу на Женни фон Вестфален и постоянное вращение в немецких кругах и семьях, то не трудно понять его германизацию. К тому же, как это рисует в своей книге Б. Николаевский, нигде, может быть, не существовало более удачных условий для ассимиляции евреев, чем в Германии. Особенно ухаживали за интеллигенцией. На Маркса, как на в высшей степени одаренного человека, не могла не оказать влияния и культура страны, особенно великая немецкая философия. Едва ли не Гегель, чьим поклонником он был в молодости, привел его к германизму. Ведь конечным пунктом всемирного развития и наивысшим воплощением мирового духа, по Гегелю, было прусское государство Фридриха-Вильгельма III. Раз сам мировой дух был пруссаком, то почему бы не идти по его стопам Карлу Марксу? От еврейства он мог усвоить темперамент, психический склад, но по умонастроению был совершенным немцем. После войны 1870 года, когда в Интернационале его пангерманизм стал вызывать толки, он с гордостью отвечал — да, я немец и хороший немец (von Haus aus ein Deutscher).

Что марксизм вытупился из немецкого гегельянства, это знают все, но что «революционная нетерпимость» Маркса родилась из немецкой национальной нетерпимости и высокомерия, этого знать не хочет ни один марксист. Гегель был, по-видимому, главным виновником того, что немецкий народ, для Маркса, имел все права на первенство. Достаточно беглого просмотра его сочинений и переписки, чтобы заметить особый тон всякий раз, когда речь заходит о немцах. Это ничего, что он и Энгельс частенько поругивают Бисмарка, Фридриха-Вильгельма, Вильгельма I, прусских юнкеров. Однажды они похвастались тем, что неоднократно выступали против всяких проявлений национальной ограниченности немцев, но тут же оговорились: «В отличие от некоторых других лиц, мы не ругали все немецкое зря и с чужих слов». Критика была семейная. Но во всех высказываниях, касавшихся общего взгляда на германский мир, у них неизменно звучали фанфары. Они ведь родились и выросли в эпоху шумного превознесения германского гения и сознания превосходства всего германского. Порой они давали образцы настоящего юнкерского патриотизма, как это было во время франко-прусской войны 1870 года. Победы пруссаков они называли в своей интимной переписке «нашими блестящими победами». Тут они не далеко ушли от Лассалля, мечтавшего «дожить до времени, когда турецкое наследство достанется Германии и когда немецкие полки солдат или работников будут стоять на Босфоре».

Но патриотизм Маркса сказался в специальной области. Его национальная гордость состояла в том, чтобы не где-нибудь, а именно в Германии восторжествовало то дело, которому он посвятил жизнь. Честь открытия новой эры в истории должна принадлежать умнейшей и образованнейшей стране, породившей его — Маркса. В первое же десятиле-

тие своей политической деятельности он до такой степени выявил эту тенденцию, что один из наблюдательных испанских парламентариев, Донозо Кортез, в 1850 году заметил: «У социализма существуют три великие арены: во Франции находятся ученики и только ученики, в Италии — исполнители чужих преступных замыслов и только исполнители; в Германии же — жрецы и учителя». *Ex Germaniae lux!** Статьи Маркса-Энгельса в «Новой Рейнской газете» свидетельствуют; что для этих людей все совершившееся в 1848 году в Европе вершится вокруг одного стержня, одного имени, и это имя — Германия. Ожидая решающих для Европы событий, они и в мыслях не держат, будто разыграются они где-то во Франции, Англии, в любой другой развитой промышленной стране. Где бы они ни начались, главной ареной будет Германия, и триумфальный парад победных революционных армий состоится не в Париже и Лондоне, а в Берлине. Позднее, когда образовался Интернационал и Маркс добился в нем руководящей роли, всякие сомнения в великом провиденциальном назначении Германии отпали.

Ради этих национальных страстей он уже в 1848 году пошел на компромисс со своей теоретической совестью. Объявив немцев, в противоположность славянам, народом революционным, он погрешил против собственной теории прогресса, согласно которой никакая страна не может мечтать о революции, не имея к тому предпосылок в виде развитой промышленности и особого «радикального класса, связанного радикальными целями» — пролетариата. Его еще не было тогда в Германии, Энгельс в письме Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года с грустью писал, что «в такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая партия, втянутая в передовую революцию вместе с такой передовой страной, как Франция», — эта партия оказывается в трагическом положении. В случае серьезного конфликта она не имеет шансов очутиться у власти, как это полагалось бы; стремление к власти для нее было бы преждевременным по причине общей отсталости страны и немногочисленности пролетариата. Маркс настойчиво вменял в обязанность Германии создание собственного пролетариата. В 1865 году он жаловался Энгельсу на невозможность «далеко уехать» по пути революции на немногочисленном немецком рабочем классе.

Значит, по сравнению с англичанами и французами немцы имели столько же прав на звание передового революционного народа, сколько и презираемые Марксом «неисторические» славянские народы. Но славян он заклинает согнуть с лица земли, а немцев всячески выводит в люди. Придумывает для них любопытный прием: «В Германии все дело будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны». На простом языке это значит: если пролетариат в Германии слаб и ничтожен, так это ничего — сделаем пролетарскую революцию крестьянскими руками; если наша передовая партия висит в воздухе, не имея социального базиса, — не важно! — лишь бы добраться до власти. Продолжая тему захвата власти, Энгельс предлагает уже заранее «подготовить в нашей партийной литературе историческое оправдание нашей партии на

тот случай, если это действительно произойдет».

Не звучит ли в этих рассуждениях что-то до ужаса нам знакомое? Не ленинская ли это постановка вопроса о пролетарской революции в России, где не обязательны ни развитая индустрия, ни многочисленный пролетариат, но обязательна и необходима «передовая партия» для совершения переворота любыми средствами? В 1848 году в Германии и в 1917 году в России революция готовилась не по марксистской теории, а вопреки ей.

Германия до самой смерти Маркса оставалась наименее индустриальной из всех великих стран Запада, но, невзирая на это, Маркс считал ее очагом прогресса и гегемоном пролетарского международного движения. Вся деятельность его направлена была на перенесение центра этого движения в Германию.

Сохранилось его замечательное письмо Энгельсу от 20 июля 1870 года — перед самым началом франко-прусской войны. Пересылая своему другу выпуск «*Reveil*» со статьей старика Делеклоза, будущего героя Парижской коммуны, Маркс рвет и мечет по поводу одной фразы в этой статье: «Франция единственная страна идей». «Это чистейший шовинизм! — восклицает он. — Французов надо вздуть (*die Franzosen brauchen Prügel*). Если пруссаки победят, то централизация государственной мощи будет использована для централизации германского рабочего класса. Кроме того, преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Достаточно сравнить движение в этих двух странах с 1866 года до настоящего времени, чтобы видеть, что германский рабочий класс выше французского, как с точки зрения теоретической, так и организационной. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона».

В этой «нешовинистической» тираде что ни слово, то смертный приговор революционно-интернационалистической репутации Маркса. До более тесной зависимости германской социал-демократии от успехов германского оружия не доходил и Лассаль, пытавшийся одно время заключить союз социализма с пруссачеством. Надобно знать негодование Маркса, с которым он отнесся к попытке Лассалья договориться с Бисмарком, чтобы в полной мере оценить приведенный здесь отрывок его письма. Напустить Мольтке и Бисмарка на французов, возмнивших себя носителями революционной идеи, выколотить из них такое высокомерие и под пушками заставить признать превосходство марксизма над прудонизмом — это ли не образ мыслей, достойный руководителя «Международного товарищества рабочих»? Таков он был и во время войны. Соблюдая социал-демократическое лицо в воззваниях Генерального совета Интернационала, он, в частной переписке, — совершенный пруссак. «Французов надо вздуть!» Он и Энгельс решительно одергивают простака Либкнехта, когда тот честно, по социал-демократическому уставу, вздумал обличать свое правительство и чинить неприятности Бисмарку. В одном письме Энгельс протестует против того, чтобы «какая-либо немецкая политическая партия проповедовала на манер Вильгельма (Либкнехта — Н.У.) полную обструкцию и выдвигала всякого рода побочные соображения взамен главного». Главное

* Свет — из Германии! (*лат.*)

— конечно — победа над Францией. Так явствует из этого и из другого писем. Энгельс в восторге от мощного патриотического подъема всех слоев немецкого населения, единодушно поддерживающего свое правительство, и освящает этот порыв как здоровое национальное чувство, потому что Германия, по его мнению, боролась за свое национальное существование. Французы же — отпетые шовинисты, как буржуа, так и пролетарии, как бонапартисты, так и социалисты: «до тех пор, пока этому шовинизму не будет нанесен удар, и крепкий удар, мир между Германией и Францией невозможен». «Я думаю,— заявляет он,— что наши (т.е. немецкие социал-демократы — Н.У.) могут при-мкнуть к национальному движению».

Маркс вторит ему: «Война сделалась национальной». Он вполне разделяет восторг Энгельса по поводу первых побед пруссаков, и фраза в письме его друга — «это мы выиграли первую серьезную битву» не встречает с его стороны никакой отповеди. Напротив, случай с Кугельманом позволил проявиться его пруссачеству с не меньшей открытостью. Дело в том, что в воззвании Генерального совета Интернационала, отрецензированном Марксом, было сказано, что хотя эта война со стороны немцев носит оборонительный характер, но лишь до тех пор, пока германский рабочий класс не почувствует, что она из защиты превращается в нападение. Теперь, после блестящих успехов пруссаков, Кугельман решил, что такой переход от защиты к нападению совершился. Маркс строго отчитал Кугельмана, заявив, что вторжение немцев во Францию — чисто оборонительный акт, не имеющий ничего общего с агрессией. Кугельману, при всей его дружественности к Марксу, пришлось признать, что он ничего больше не понимает в гегельяно-марксистской диалектике.

Но вот, Наполеон III взят в плен, низложен, и в Париже объявлена республика. Немецкая социал-демократия в речах и воззваниях восторженно ее приветствует. Не могли не принять в этом участия и оба друга. Стоило, однако, французской секции Интернационала обратиться к немецкому народу с призывом прекратить братоубийственную войну и вывести войска из пределов Франции, как в переписке двух Аяксов начинает звучать прежняя нота. «Прокламация парижского Интернационала, — пишет Энгельс, — определенно свидетельствует о том, что эти люди вполне во власти фразы. Эти субъекты, поддерживающие Баденэ (Наполеона III — Н.У.) 20 лет и шесть месяцев тому назад не сумевшие помешать ему получить шесть миллионов голосов про-



Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Erster Band.

Der Produktionsproceß des Kapitals.

Neubearbeitung wird vorbehalten.

Hamburg

Verlag von Otto Meißner.

1867.

New-York: L. W. Schmidt, 24 Barclay-Street.

тив полутора миллионов и которых они бессмысленно и без всякого повода возбуждали против Германии, — эти люди вообразили теперь, когда победоносные немцы подарили им республику (и какую!), будто Германия должна немедленно оставить священную землю Франции, иначе — война до конца! Это старинное увлечение: превосходство Франции, неприкосновенность ее почвы, освященной 1793 годом, которое с некоторых пор служит средством прикрывать все французские свинства святошества слова республика». Неделию спустя после этого письма у Энгельса звучит нота сожаления, что французов не удалось вздуть так, как это бы хотелось ему. «Продолжающаяся война начинает принимать неприятный оборот, французы еще недостаточно побиты (die Franzosen haben noch nicht Prügel genug), но, с другой стороны, Германия слишком уж торжествует».

Будь все приведенное здесь сказано обычным немецким патриотом, оно не представляло бы ни малейшего интереса, но в устах проповедников единения человечества (или хотя бы только пролетариата), апостолов братства народов, борцов против национальной ограниченности это образец редкого лицемерия. Прорвавшийся у них матерый германизм не остался незамеченным. Не одни французы, но социалисты многих стран возмущены были Марксом как руководителем той части Интернационала, что избрала в качестве своей штаб-квартиры крошечный городок Брауншвейг. Сразу же после войны началось против него восстание романских секций Интернационала. В марксоведческой литературе оно расценивается как борьба двух идейных течений, как борьба бакунизма с марксизмом, но немарксистские авторы освещают это совсем ина-

че. Сам Бакунин на страницах брюссельской газеты «Liberté» представляет смысл событий в Интернационале в виде реакции на пангерманистскую социалистическую мечту, родившуюся в голове Маркса и означавшую германское всемогущество, сначала интеллектуальное и моральное, а потом материальное. То же самое утверждал Джемс Гийом. Кропоткин рассматривал борьбу бакунистов с марксистами как «конфликт между латинским и германским духом». Позднейшие исследователи, не принимавшие участия в борьбе и не связанные ни с одним из антагонистов, усматривали корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины и учения у Маркса существовал такой же взгляд, как и на «неисторические» народы. Все они должны исчезнуть, уступив место его, Маркса, гениальному открытию. Между тем, стоявшая на нем печать «made in Germany» слишком ясно бросалась в глаза современникам.

Недовольны были и тем, что Интернационал, фундамент которого заложен был не социалистами, а рабочими, первоначально носивший характер цехового пролетарского содружества, превращен был Марксом в заговорщицкую организацию. Пробравшись к руководству и получив возможность оказывать влияние на дела Международного товарищества рабочих, Маркс проявил абсолютную политическую нетерпимость. Он не только начал учить уму-разуму французов, англичан, швейцарцев, но и пускать в ход грубые способы давления, вовлекать их в ненужные и несимпатичные им политические акции, а всех сопротивляющихся поносить и обличать их «оппортунистические», «мелкобуржуазные», «мещанские» заблуждения.

Гибель 1-го, так же, как распад 2-го Интернационала совершилась на почве *национальных* противоречий.

Но вернемся к самой яркой, к самой расистской теме высказываний Маркса-Энгельса — о славянах. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением. Славяне не только варвары, но только «неисторические» народы, но — величайшие носители реакции в Европе. По словам Энгельса, они — «особенные враги демократии», главные орудия подавления всех революций. Это ничего, что выступали они простыми подневольными солдатами в армиях Елачича, Паскевича, Радецкого, Виндишгреца; ответственность за подавление венгерского, венского и итальянского восстаний возлагается не на этих генералов и не на имперское габсбургское правительство, а на бессловесных хорватов, словенцев, русских. У Радецкого добрая половина армии состояла из немцев, но упомянуты ли они хоть одним худым словом? Контрреволюционный дух исходил, оказывается, не от них и не от генералов, а от солдат славянского происхождения. Мало того, в тех случаях, когда душителями чьей-либо революции откровенно выступали немцы, наши друзья призывали не верить этому. «До сих пор, — пишет Энгельс, — всегда говорилось, что немцы были ландскнехтами деспотизма в Европе. Мы отнюдь не намерены отрицать позорную роль немцев в позорных войнах 1792—1815 годов против Французской революции, в угнетении Италии после 1815 г. и

Польши после 1772 г. Но кто стоял за спиной немцев, кто пользовался ими в качестве своих наемников и авангарда? Англия и Россия. Ведь русские и поныне еще похваляются тем, что они своими бесчисленными войсками решили падение Наполеона, и это, конечно, в значительной степени правильно. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что среди тех армий, которые своими превосходящими силами оттеснили Наполеона от Одера до Парижа, три четверти составили русские или австрийские славяне. А угнетение немцами итальянцев и поляков! При разделе Польши конкурировали между собою одно славянское и одно полуславянское государство. Австрия у Маркса и Энгельса часто обозначается как полуславянская держава, а кое-где говорится, что она и управляется славянами. Есть в одной статье совершенно исключительное место, трактующее хорватов вершителями судеб и гегемонами Австрийской империи. Описывая движение правительственных войск в 1849 году, окруживших со всех сторон Венгрию, Энгельс трактует это так, будто не габсбургское правительство, не австрийские генералы, а хорваты, которым «дана в помощь сильная австрийская армия со всеми ресурсами», руководят войной.

Писать комментарий к этой строке вряд ли нужно.

Вообще статьи в «Новой Рейнской газете», да и большинство обзоров текущей политики двух друзей представляют такую бездну безответственных обобщений и выводов, личных, партийных и национальных пристрастий и самого простого невежества, что хочется внимательно посмотреть в лицо тем, которые до сих пор видят в этом образцы «научного социализма».

Напрасно, однако, думать, будто славян считают врагами демократии только за их службу в австрийской армии и за участие в карательных экспедициях. Эта вина — так себе, небольшая; главная причина — в их стремлении к национальной независимости. Бакунинское «Воззвание к славянам» вызвало пароксизм бешенства у обоих авторов «Коммунистического манифеста». Не довольствуясь ссылками на объективную невозможность независимых славянских государств, не располагающих для этого ни географическими условиями, ни экономическими ресурсами, они усматривают главное зло в ущербе, который будет нанесен немцам. «Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, — писал Энгельс, — если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых «прав»! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемоморавское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!» С негодованием цитируются те места из «Воззвания к славянам», где говорится о «проклятой немецкой политике, которая думала только о вашей гибели, которая веками держала вас в рабстве», о

«мадьярах, ярых врагах нашей расы, едва насчитывающих четыре миллиона человек, похваляющихся, что возложили свое ярмо на восемь миллионов славян». Энгельс пишет возмущенно: как! Упрекать немцев и мадьяр за их великую цивилизаторскую миссию? Ведь без них бы австрийские славяне остались глубокими варварами. Да и самое слово «угнетение» вовсе не подходит для выражения характера взаимоотношений немцев со славянами. Слово это Энгельс берет в кавычки. «Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения». Что же до насильственной германизации, так ее попросту не было. «Немецкая промышленность, немецкая торговля и немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык». Насильственную германизацию он признает только в отношении полабских славян, но считает, что их завоевание было в интересах цивилизации. Энгельс бесконечно благодарен средневековым Генрихам Львам и Альбрехтам Медведям, приобщившим железным мечом славян к германской культуре. С высот просвещенного девятнадцатого века, централизовавшего все, что еще не было централизовано, он поет дифирамбы подвигам старинных завоевателей. Централизация — это прогресс. «И вот теперь являются панслависты и требуют, чтобы мы уничтожили централизацию, которая навязывается этим славянам всеми их материальными интересами! Словом, оказывается, что эти «преступления» немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежат к самым лучшим и заслуживающим признания деяниям, которыми только могут похвалиться в своей истории наш и венгерский народы».

Во второй половине XIX века вышло трехтомное историко-географическое исследование чешского ученого Первольфа, посвященное кровавой эпопее захвата и ассимиляции немцами славянских земель. С приходом к власти Гитлера эта книга стала предметом особенной ненависти немцев. Их возражения на этот труд поражают сходством с только что приведенными строками Энгельса.

В ответ на призыв Бакунина «бороться не на жизнь, а на смерть, пока, наконец, славянство не станет великим, свободным и независимым», Маркс и Энгельс писали: «Если революционный панславизм принимает эти слова всерьез и будет отрекаться от революции всюду, где дело коснется фантастической славянской национальности, то и мы будем знать, что нам делать. Тогда «беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть» со славянством, предающим революцию на уничтожение, и беспощадный терроризм». Напрасно оба друга спешат добавить, будто провозглашаемая ими борьба будет не в интересах Германии, а в интересах революции; ничем другим кроме расовой ненависти язык этот не мог быть продиктован. На нем говорила вся Германия с каролингских времен. «Я ненавижу славян. Я знаю, что это нехорошо, нельзя ненавидеть кого бы то ни было, но я ничего не могу поделать с собой», — признавался Вильгельм II. Не обладая честностью Вильгельма, Маркс и Энгельс вуалировали свой, поистине, нацистский шовинизм соображениями «революционной стратегии». Но они дали слишком много доказательств того, что не в революции и не в стратегии тут дело. Для людей, обывавших классовую борьбу движущей силой истории, по меньшей мере непоследовательно подме-

нять ее борьбой между нациями. Сушим лицемерием была фраза в «Учредительном манифесте» Интернационала, призывавшая добиваться того, чтобы «простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали господствующими нормами и в международных отношениях». Писал это тот редактор «Новой Рейнской газеты», который в 1849 году печатал в ней свои прогнозы о скором наступлении мировой революционной войны, долженствующей стереть с лица земли «не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом».

* * *

Напрасной была бы попытка представить эти настроения как временные или как заблуждение молодости. Они сопровождали Маркса до могилы. В 1877—78 годах, во время Балканской войны, когда турки начали беспощадную резню болгар и когда даже «колониалист» Гладстон выпустил книгу с протестом против таких зверств, Маркс, живший в то время в Лондоне, объявил Гладстона русским агентом, а турецкие зверства — русской выдумкой. Друг его и оруженосец Вильгельм Либкнехт в Германии цинично заявил, что брожение на Балканах ничего общего с освободительной борьбой не имеет; он, Либкнехт, не знает славян, стремящихся к свободе. Этот господин выпустил книгу — «Zur orientalischen Frage oder: soll Europa kasakisch werden? Mahnwort an das deutsche Volk»*, — где развивал обычный марксистский взгляд на славян как на удобрение истории и на оплот русского деспотизма. Он сожалел, что Австрия, в результате политики Бисмарка, исключена из Германии. Вследствие этого «прорыв вал, который шел через славянский мир от Балтийского моря до Адриатики» и теперь «Австрия предана почти беспомощной славянскому наводнению». Вся германская социал-демократия, марксистская и немарксистская, отличалась такими же настроениями. Признавал же Лассаль славян «за расу, которые имеют одно право: быть ассимилированными великими культурными нациями».

От современников не укрылась такая славянофобия.

«Есть ограниченные умы и узкие народные ненависти, которых убедить я не берусь, — писал Герцен в 1859 году, — они ненавидят, не рассуждая. Возьмите, чтобы не говорить о своих (Герцен пишет поляку), статьи немецких демократов, кичащихся своим космополитизмом, и взгляните в их злую ненависть ко всему русскому, ко всему славянскому... Если б эта ненависть была сопряжена с каким-нибудь желанием, чтобы Россия, Польша были свободны, порвали бы свои цепи, я бы понял это. Совсем не то. Так, как средневековые люди, ненавидя евреев, не хотели вовсе их совершенствования, так всякий успех наш в гражданственности только удваивает ненависть этих ограниченных, заклепанных умов».

Но все-таки была одна славянская страна, не только не ввергнутая марксистами в Тартар, вместе с «неисторическими» народами, но вознесенная в

* «К восточному вопросу или: должна ли Европа стать казакской? предупреждение немецкому народу» (нем.).

революционное лоно Авраамово. Это Польша. Постоянно подчеркивалось: Польша — это не то, что прочие славяне, это гордый лебедь революции среди гадких утят славянства. Маркс и Энгельс в 1848 году были самыми горячими ее поклонниками. Либерально-революционная ее репутация сложилась еще до них: особенно утвердилась она после 1831 года. Причина, по которой Европа так возлюбила Польшу, лучше всего видна из манифеста польского «Демократического общества» 1836 года:

«Польша в прошлом всегда защищала Запад от варварских вторжений татар, турок и москалей. Польша погибла потому, что когда на Западе освободительная человеческая мысль объявила войну старому порядку, на защиту которого ополчился русский деспотизм, Польша, исполняя свою историческую миссию, вступила в борьбу с этой силой, но была побеждена. Спасение Европы было отложено. Отсюда вытекал тот вывод, что дело спасения Польши есть дело спасения не одной только Польши, но всего человечества».

Из этой декларации видно, что сами поляки «историческую миссию» свою усматривали в сторожевой роли на Востоке. Турецко-татарская опасность миновала, значит, спасать Европу приходилось от москалей. За эту роль извечного врага России Европа и ценила Польшу. Больше всех ценили авторы «Коммунистического манифеста». Энгельс, в неоднократно цитированной статье в «Новой Рейнской газете», писал в 1849 году, что «ненависть к русским была поныне и останется у немцев их первою революционною страстью». Поляки были им милы, прежде всего, как враги России, а вовсе не за то, что они слыли прирожденными революционерами. Обывательская и политическая Европа, разбиравшаяся в польском вопросе столько же, сколько в русском, понятия не имела о шляхетском характере польских восстаний, целью которых было национальное освобождение, и только. Руководители этих восстаний готовы были приветствовать революцию в любой стране, за исключением своей собственной. Подвиги их на парижских баррикадах и в армии Гарибальди были выслуживанием перед революцией с целью воспользоваться ее милостью для восстановления Польши. Только немногие, вроде Прудона, порицавшего Герцена за альянс с поляками, понимали это. Но понимали ли Маркс и Энгельс? Знали ли, что Польшу можно любить и ценить за что угодно, только не за революционность? Безусловно знали.

В письмах к Энгельсу от 2 декабря 1856 года Маркс рассказывает эпизод из истории 1794 года, когда «Комитет общественного спасения» подверг сомнению революционность поляков и отказал им в содействии. Он вызвал к себе уполномоченного польских повстанцев и задал этому «гражданину» несколько вопросов: «Как объяснить, что ваш Костюшко, народный диктатор, терпит рядом с собой короля, который к тому же, как это Костюшко должно быть известно, посажен на трон Россией? Как объяснить, что ваш диктатор не осмеливается провозгласить массовую мобилизацию крестьян из страха перед аристократами, которые не желают поступаться «рабочими руками»? Как объяснить, что его прокламации теряют свою революционную окраску по мере его удаления от Кракова? Как объяснить, что он немедленно покарал виселицами народное вос-

стание в Варшаве?.. Отвечайте!» Польскому «гражданину» пришлось молчать.

Дальше увидим, что оба друга прекрасно разбирались во внутренних социально-политических делах Польши, знали, что в роли революционеров выступали крепостники-помещики, не стремившиеся к социальному освобождению. Но, презирая польских патриотов, они постоянно поддерживали идею восстановления Польши, преимущественно Царства Польского, то есть русской ее части, умалчивая о Познани, а потом и откровенно признавая ее не подлежащей освобождению. Государственное восстановление Польши прокламировалось не для блага польского народа, а как средство разрушения Российской империи.

Никто никогда не говорил о России с такой проныкновенной ненавистью, как Маркс; разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых. «Оплот мировой реакции», «угроза свободному человечеству», «единственная причина существования милитаризма в Европе», «последний резерв и стеновой хребет объединенного деспотизма в Европе» — вот излюбленные его выражения. Список причин, по которым он возненавидел нашу страну, столь велик, что занял бы несколько страниц, но весь он сводится к обвинению России в тиранической политике по отношению к Германии. Россия, будто бы, стояла всегда на страже германской раздробленности; еще на Венском конгрессе узаконила разделение Германии на 36 мелких государств, и в дальнейшем всякое самостоятельное изменение государственного строя ей было запрещено Николаем I. Россия виновата в восстановлении крепостного права в Германии после гибели Наполеона. Россия заставила Пруссию подчиниться Австрии. Пруссия превращена была в русского вассала и прикована к России. Встречаются строки совершенно бесподобные: «Россия приказывала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями — Пруссия и Австрия должны были повиноваться». Курьезность и противоречивость обвинений, видимо, не замечались Марксом. То он упрекает Россию, что выдала Германию с головой Наполеону, то винит в победе над Наполеоном, вследствие которой Германия лишилась свобод, принесенных ей этим завоевателем. То он возмущается, что Россия подчинила Пруссию Австрии, то, наоборот, негодует, что Австрия отброшена Пруссией от всей Германии при поддержке России. Смешно подходить к этому маниакальному бреду с реальной исторической оценкой и критикой. Приведенный букет высказываний интересен как психологический документ. Россия должна провалиться в Тартар либо быть раздроблена на множество осколков путем самоопределения ее национальностей. Против нее надо поднять европейскую войну либо, если это не выйдет, — отгородить ее от Европы независимым польским государством. Эта поллитрамота сделалась важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80-х и 90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательство своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народовольцы считали нужным, в целях снискания популярности и симпатий на Запа-

де, «знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для *самой европейской цивилизации*». Лицам, проживавшим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т.п. А потом в программах наших крупнейших партий, эсдеков и эсеров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия *в интересах международной революции*. Ни Габсбурги, ни Гогенцоллерны не удостоились столь лестной оценки; их подданные — социалисты собирались свергать своих государей для блага Австрии и Германии. Только подданные Романовых приносили царей на алтарь, прежде всего, *мировой революции*. Без укоренившегося влияния Маркса и немецких марксистов трудно объяснить включение этого пункта в программные документы.

После сказанного нет надобности объяснять вполне утилитарный характер любви Маркса к Польше. Разрабатывал ли Энгельс план похода революционных армий на Россию, он прежде всего взвешивал роль Польши как союзника; говорил ли Маркс о каком-нибудь из польских восстаний, он неизменно рассматривал его с точки зрения ущерба для России. Потому-то Марксу и безразлично было, кто двигает это национальное возрождение — социал-демократы или аристократы-помещики. Он всех брал под плащ революции. Самая скорбь его и Энгельса по поводу неудачи польского восстания 1863 года выглядит скорбью расчетливых людей. «Пройдет много времени, прежде чем Польша снова сможет подняться, даже при посторонней помощи, а между тем, *Польша нам совершенно необходима*».

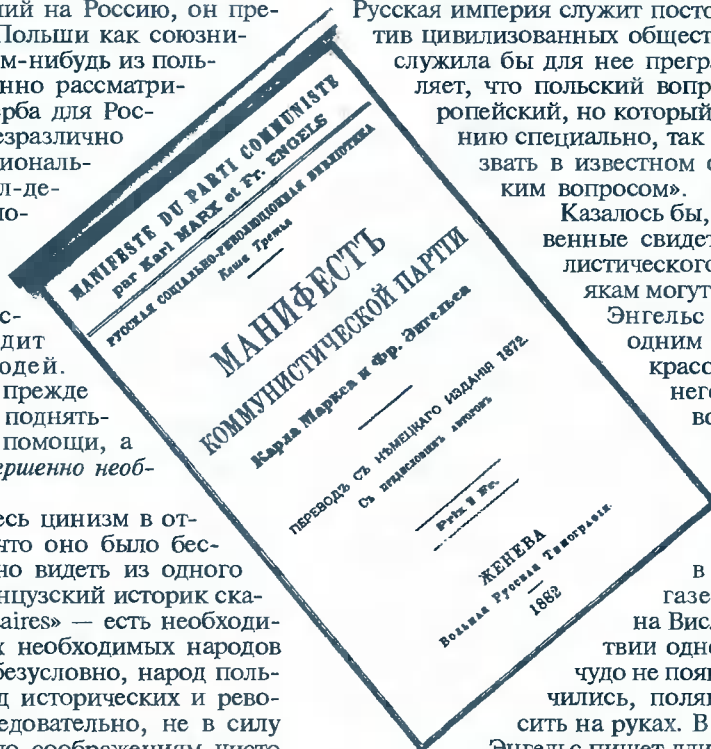
«Необходима». В этом весь цинизм в отношении их к Польше. А что оно было беспрельдно циничным, можно видеть из одного письма Маркса: «Один французский историк сказал: *il y a des peuples nécessaires*» — есть необходимые народы. К числу таких необходимых народов относится в XIX столетии, безусловно, народ польский». Зачисление его в ряд исторических и революционных произошло, следовательно, не в силу его природных качеств, а по соображениям чисто служебным. «Ни для кого иного национальное существование Польши не необходимо более, чем именно для нас, немцев».

В 1864 году в предварительном комитете по со-

зыву конгресса будущего Интернационала Марксу удалось, наряду с вопросами общего характера (о труде, о капитале, о рабочем дне, о женском труде), включить в план работ конгресса совершенно частный вопрос о «необходимости уничтожить влияние русского деспотизма в Европе посредством приложения права народов располагать самими собою и посредством восстановления Польши на началах демократических и социальных». На конгрессе произошла по этому поводу дискуссия. Протокол гласит: «Делегация французская высказывает мнение, что по этому вопросу не должно быть никакого голосования и что конгресс ограничится заявлением о том, что он противник всякого деспотизма во всякой стране и что он не входит в разбор столь сложных вопросов, как национальные. Нужно желать и требовать свободы в России как и в Польше и отвергнуть старую политику, которая противопоставляет народы одни другим. Мнение большинства конгресса склонялось явно к предложению французов. Тогда попросил слово г.Беккер. Он выразил сожаление, что конгресс не решает ничего по этому вопросу. Русская империя служит постоянно угрозой против цивилизованных обществ Европы; Польша служила бы для нее преградой... Он прибавляет, что польский вопрос есть вопрос европейский, но который интересует Германию специально, так что его можно называть в известном отношении немецким вопросом».

Казалось бы, какие более откровенные свидетельства макиавеллистического отношения к полякам могут быть? Но они есть. Энгельс подарил нас еще одним документом такой красочности, что мимо него пройти никак невозможно. Известно, какие гимны пелись Польше в 1848 году, как бредили польским восстанием в «Новой Рейнской газете». Ждали «чуда на Висле». Но по прошествии одного-двух лет, когда чудо не появилось, гимны кончились, поляков перестали носить на руках. В 1851 году (31 мая) Энгельс пишет длинное письмо Марксу по польскому вопросу и тут обнажает с полным бесстыдством моральную подкладку своей «революционной мысли».

Он сообщает, что чем больше он размышляет об



истории, тем яснее ему становится, что поляки — разложившаяся нация (*nation fondue*). «Ими приходится пользоваться лишь как средством, и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование». Выходит, что как только в самой России найдена будет разрушительная сила, — гордого лебеда революции можно будет загнать в общеславянский курятник. Поражает в этом письме чисто национальное презрение, возникшее не под влиянием минуты, а выношенное, отстоявшееся. «Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость». «Бессмертна у поляков наклонность к распрям без всякого повода». И, наконец, «нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение. В противоположность ей Россия, действительно, олицетворяет прогресс по отношению к Востоку». Энгельс находит в России гораздо больше образовательных и промышленных элементов, чем в «рыцарственно-бездельнической Польше». «Никогда Польша не умела ассимилировать в национальном смысле чужеродные элементы. Немцы в польских городах есть и остаются немцами. А как умеет Россия руссифицировать немцев и евреев, тому свидетельство — каждый русский немец уже во втором поколении». Он отмечает лоскутный характер бывшего польского государства. «Четверть Польши говорит по-литовски, четверть по-русински, небольшая часть на полурусском диалекте, что же касается собственно польской части, то она на добрую треть германизирована». Энгельс благодарит судьбу, что в «Новой Рейнской газете» они с Марксом не взяли на себя в отношении поляков никаких обязательств, «кроме неизбежного восстановления Польши с соответствующими границами». Но тут же добавляет: «лишь под условием аграрной революции в ней. А я уверен, что такая революция скорее вполне осуществится в России, чем в Польше».

Нет сомнения, что меньше чем за три года Маркс и Энгельс утратили надежду на антирусское восстание поляков и потеряли к ним всякий интерес. Это не значит, что отказались «посылать их в огонь», то есть подбивать на дальнейшие бунты против России, но радикального средства в этих бунтах уже не видели. Энгельс убежден, что «при ближайшей общей заварухе вся польская инсurreкция ограничится познанцами и галицийской шляхтой плюс некоторые выходцы из Царства Польского, и что все претензии этих рыцарей, если они не будут поддержаны французами, итальянцами, скандинавами и т.п. и не будут усилены чехословенским мятежом, — потерпят крушение от ничтожества собственных усилий. Нация, которая в лучшем случае может выставить два-три десятка тысяч человек, не имеет права голоса наравне с другими. А много больше этого Польша, конечно, не выставит».

Маркс, хотя и не в столь ярких выражениях, соглашается с Энгельсом. Он поспешил отказаться от своей прежней готовности восстановления Польши в границах 1772 года, ибо рассудил, что немецкую Польшу, с городами, населенными немцами, не следует отдавать народу, «который доселе еще не дал доказательства своей способности выбраться из полужофеодального быта, основанного на несвободе сельского населения». Он и от Лассалья получил заверение в полном согласии с такой точкой зрения: «прусскую Польшу следует рассматривать как германи-

зированную и относиться к ней соответственно».

В случае войны с Россией Маркс готов компенсировать полякам потерю Познани щедрым присоединением земель на востоке, обещает им Митаву, Ригу и надеется на их согласие «выслушать разумное слово по отношению к западной границе», после чего они поймут важность для них Риги и Митавы в сравнении с Данцигом и Эльбингом. Самые восстания польские мыслями только против России. «У меня был один польский эмиссар, — пишет он Энгельсу в 1861 году, — вторичного визита он мне не сделал, так как ему, конечно, не по вкусу пришлось та неприкрашенная правда, которую я преподнес относительно плохих шансов всякого революционного заговора в настоящий момент на прусской территории».

Прекрасное резюме этому комплексу настроений дал Энгельс в цитированном выше письме, сделал набросок марксистской тактики в польском вопросе. «На западе отбирать у поляков все, что можно, оккупировать немецкими силами их крепости под предлогом защиты, в особенности Познань, оставить им занятие хозяйством, посылать их в огонь, слопать (*ausfressen*) их земли, кормя их видами на Ригу и Одессу, а в случае, если можно будет вовлечь в движение русских, — соединиться с этими последними и заставить поляков примириться с этим». Под «русскими» разумеется, в данном случае, не царская, а революционная Россия.

Итак, поляки лишь «сгоряча» и по тактическим соображениям причислены были к «историческим» народам. Под конец жизни интерес Маркса к полякам пропал, уступив место восторгу перед народо-вольцами-террористами.

Именно перед народо-вольцами, а не перед чернопеределцами, из которых вышли потом последователи Маркса в России. Их он не жаловал за то, что «эти господа стоят против революционно-политической деятельности», тогда как он приветствовал и всячески ласкал террористов. Вот что рассказывает Эдуард Бернштейн о приеме, оказанном Марксом народо-вольцу Гартману. Молодой в то время Бернштейн был уже почитателем Маркса и тоже был им принят довольно ласково. «Однако же, — говорит он, — при наших беседах всегда сохранялось между нами известное «расстояние». Совсем иначе стояло дело между Марксом и Львом Гартманом, явившимся в Лондон летом 1880 года. Я был просто поражен, видя, как этот великий мыслитель, а также Энгельс, обращаются совсем по-братски, на ты, с молодым человеком, который производил на меня впечатление умственной посредственности и бесцветности». «По-видимому, — заключает Бернштейн, — их дружеское расположение к нему вызывалось исключительно его участием в террористическом предприятии».

Известно, что Маркс презрительно отзывался о возможности революции в России. В ней «может быть только тот или иной бунт, причем достанется немецким платям, а революции никакой и никогда не будет». Так говорил он в 1863 году. Он искренне удивлялся своей популярности в этой стране; нигде его так не чтут и не издают, как в России, которую он усердно оплевывал, революционных деятелей которой глубоко презирал и чуть не поголовно считал царскими агентами. И вот этот человек в конце 1881 года провозглашает: «Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе». Совершенно очевидно — не

рост промышленности, не рост пролетариата, не «идейная зрелость», которых еще не было, даже не крестьянские волнения подвигли его на такое заявление, а убийство Александра II, шумная деятельность кучки террористов. Он приходил в восторг от того, что им удалось превратить нового царя в гатчинского военнопленного революции.

Разумеется, не благо русского народа, даже не судьбы русской революции занимали его, а уничтожение самодержавия, представлявшегося ему торжеством европейской революции. Не сумели его уничтожить поляки — прочь поляков, да здравствуют Желябовы и Перовские!

Но после всего сказанного о поляках ни минуты не верится в искреннюю «революционную» симпатию его к Желябовым и Перовским. Он их ценил как роботов революции, но ненавидел как русских.

Рискуя загрозоздить изложение иллюстрациями, не могу не привести рассказ Герцена. В Лондоне, в Сент-Мартинс Холле, 27 февраля 1855 года состоялся митинг в воспоминание о 24 февраля 1848 года, на который приглашен был в качестве оратора и Герцен. Избран он был также членом международного комитета. После этого получено было письмо от какого-то немца, протестовавшего против его избрания. Немец писал, что Герцен известный панславист и требовал завоевания Венны, которую называл славянской столицей. «Это письмо, — говорит Герцен, — было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявило желания быть членом, и сообщивши ему официальное избрание, не может изменить решение по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения и он их предложит теперь же на обсуждение комитета. На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию; что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти». Большинство высказалось за Герцена, Маркс остался в ничтожном меньшинстве — встал и покинул комитет. Это была одна из многих выходов против русских, предпринятых единственно на том основании, что они — русские. Бакунина, Герцена и многих других революционеров-эмигрантов Маркс считал платными агентами царского правительства. Народническое движение в России рассматривал как «панславистскую партию, состоящую на службе у царизма».

Пусть найдутся люди, способные доказать, что выраженная здесь русофобия объясняется революционной психологией, а не расовой ненавистью.

В наши дни, когда «расовая дискриминация» — почти уголовное преступление, любой коммунист, сказавший на эту тему хоть сотую долю того, что сказали авторы «Коммунистического манифеста», не мог бы оставаться в партии ни минуты, они же — худым словом не помянуты и пребывают по сей день в роли вождей и учителей.

Одним всего здесь описанного — не в нацистском облике коммунистических апостолов, а во «всемирном молчании», созданном вокруг этого облика. Никого почему-то не коробило и не коробит их рассуждение в «Новой Рейнской газете» о «братстве европейских народов», которое «достигается не посредством фраз и благочестивых пожеланий, а пу-

тем решительных революций и кровавой борьбы; дело идет тут не о братстве всех европейских народов под сенью одного республиканского знамени, но о союзе революционных народов против контрреволюционеров, о союзе, который осуществится не на бумаге, а на поле битвы».

Не напоминает ли эта бредовая мысль о Священной Социалистической Империи Германской Нации, в которую не внидет ни один народ-унтерменш, знакомый нам образ Третьего Рейха?

За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся, одна за другой, на одну полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идет речь в этой статье, все еще остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса. Начинают, однако, появляться разоблачительные работы, вроде книги Бертрама Вульфа. Не далекий день, когда последние лоскуты тоги сорваны будут с проповедников зла и великая ложь марксизма обнажена будет в полной мере.

Вы хотите жить лучше?

Используйте свои скрытые возможности это приятно и выгодно!

Школа практической психологии поможет вам:

- по-новому оценить себя;
- овладеть техникой налаживания отношений между людьми;
- быстрее ориентироваться в различных жизненных ситуациях;
- укрепить свою семью;
- приобрести способность извлекать пользу из потерь;
- восстанавливать свое здоровье.

В результате вы получите репутацию человека, которому удается все!

Школа имеет очную и заочную формы обучения.

Чтобы БЕСПЛАТНО получить дополнительную информацию, присылайте конверт со своим адресом:

113556, Москва, М-556, а/я 78

Школа практической психологии

Звоните: (095) 250-92-78

Сергей КОЛБАСЬЕВ

Сергей Адамович Колбасьев погиб в 1937-м, в ту же пору, когда погибли Борис Корнилов, Павел Васильев, Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Борис Пильняк... Родился он в 1899 году. Шестнадцати лет поступил в морской кадетский корпус. В марте 1918-го корпус закрыли и кадетов досрочно выпустили комсоставом на корабли. После этого началась морская служба: линкор «Петропавловск», эсминец «Москвитянин», затем с Балтики — старшим помощником на эсминце «Препкий», входивший в состав Волго-Каспийской флотилии. Шла Гражданская война, места службы приходилось менять часто. В 1919 — вновь линкор «Петропавловск», затем — Азовская военная флотилия... И лишь в 1922 году по ходатайству наркома просвещения А.В. Луначарского Сергей Колбасьев откомандирован с флота для работы в издательстве «Всемирная литература» и приказом наркомвоенмора уволен в запас... Но спокойная работа в издательстве пришлось, видно, не по характеру молодому писателю. И уже в январе следующего года он отправляется в советское посольство в Кабуле — переводчиком. Колбасьев с детства знал несколько языков. А затем — работа в посольстве в Хельсинки.

Рассказы и стихи Сергея Колбасьева публиковались в двадцатых и тридцатых годах. И уже тогда он подвергался резкой критике таких «морских» писателей как его куда более удачливый однокашник по морскому корпусу прозаик Леонид Соболев и буквально набрасывавшийся в те же годы на пьесы Михаила Булгакова «Братиска» и драматург Всеволод Вишневский. «Колбасьев показал Красный флот так же, как Замятин, Куприн и Мстиславский некогда показывали жизнь окраинного офицерства со всем ее кретинизмом», — писалось в одной из рецензий.

...Рассказы эти сегодня вышли в книге «Поворот все вдруг», и читатель сможет оценить мастерство Сергея Колбасьева-прозаика. Хуже со стихами — они с тех пор почти не публиковались. Наш публикатор В. Кондрьяненко отыскивал их в архивах и на пожелтевших страницах газет и журналов. Стихам этим присущ романтический настрой — они близки произведениям таких авторов как Эдгар По, Редьярд Киплинг, Николай Гумилев и «ранний» Николай Тихонов. Пожалуй, трех первых можно смело назвать в числе учителей Сергея Колбасьева.



Рисунки Нинель Оселко

Служба

Орудий тяжелые дула.
Над спинами переползающих волн.
Уйдешь в каюту, броня стянула
Железную койку и железный стол.
По вечерам собираются вместе
Двадцать семь несносных людей.
Табак отсырел, и пахнет жостью
Какао, сваренное на воде.
Только уснешь — такое бывает:
Дробью заголосит звонок.
— Стать по местам. — «Боевая» —
И трапы дрожат от топота ног.
Долгие вахты на ветру и стуже
И в кочегарках в красной жаре.
Не всякий сможет выстоять службу
В нашем железном монастыре.

1922

* * *

Хорошая, широкая страна.
Тайгу и горы видно из окна.
А в комнате бревенчатые стены,
Спокойная седая голова.
Людей немного, и всегда права
Короткая хозяйская винтовка,
И только грустно на душе, когда
Плывет по небу темная вода.

* * *

Подковы звякают, и конь храпит,
И камни катятся из-под копыт.
Трещат и прыгают, по косогору
Ревет и крутит мутная река.
— Ездок! — И слышит сердце ездока
Издавека знакомый милый голос.
Нет, не бывает на земле чудес.
Здесь только скалы, темнота и лес.





Луна

В стеклах луна встает.
Черные стулья застыли.
Лег на полу налет
Сине-серебряной пыли.

Тихо иду. Под ногой
Поскрипывают половицы.
А сзади кто-то другой,
Которому тоже не спится.

Стынет моя голова.
Синеют вздутые вены,
И капает синева
На полосатые стены.

Лестница еле видна,
Остановились звуки.
Всасывает луна
Вытянутые руки.

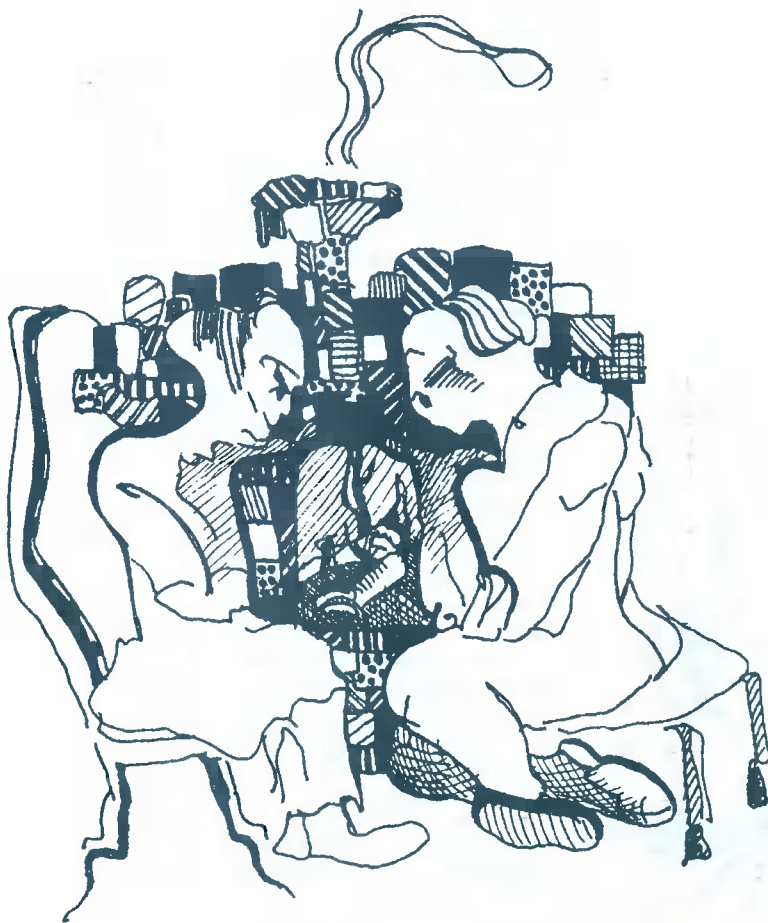
X.1922

Путешественник

За стеной кричит автомобиль.
Низко проплывают облака.
Как мне жить размеренную жизнь,
Вывернутым следовать уставам,
Если небо в тусклых стеклах светит,
Если дует переменный ветер,
И сквозь запах пыли и извести
Слышится сосновая смола?
А сегодня я на город вышел,
Потому что больше нет покоя.
Трудно камень воспаленный дышит,
Изгибаясь, распухают крыши,
Оплывает лавой золотою
Голова высокого собора.
Раздвигается линейный город,
Ускользает пылью в тонком зное,
И опять встает передо мною
Круглая прохладная гора.
Звонкой тучей пляшет мошкара,
Ястреб прокричал среди деревьев.
Низко проплывают облака,
Бурой пеной прыгает река.
Через реку сквозь кусты густые,
На гору по каменной тропе.
И дорогу я припоминаю:
Вот зола от нашего костра.
Здесь стоял шалаш — трещит сухая
Полубогорелая кора.
Там за поворотом на дороге
Дом над темной выгнутой рекой.
Встретит на бревенчатом пороге
Человек с высокой головой.
И тогда я не вернусь обратно,
Потому что этот человек
Позапрошлым летом был убит.

VIII. 1922





Романс

В этом доме последний ночлег,
Две скамьи и кирпичный очаг,
Только дымен огонь очага,
А в окне уплывают луга.
Три удара: условленный стук,
Путь на запад и путь на восток,
Но раздумывать поздно теперь,
И раскрылась скрипучая дверь.
— На коней! — Поворот, в ворота,
И дорога летит, на лету
Отвечая ударом копыт,
И песок под ногами кидит.
По тропе, по полянам, в кусты,
Разрываемый взмахом хлыста,
Ветер сыплется сетью росы,
Впереди заливаются псы.
И летим через ветры и дым,
Но летим по горячим следам,
Из камней высекая огни,
Наклонись до луны, догони!
И по тучам преследует конь
Золотую летящую лань.
Звонко трубят вдогонку рога,
А внизу голубые луга.

Волк

Наклонились над картой плечо с плечом,
Штурман и командир:
— Сперва Восточным Каналом, потом
Берегом проведи.
Ночью противник дозор несет
У Золотой Косы.
Атака будет под утро. Все, —
И посмотрел на часы.
— А завтра к вечеру будем здесь,
Примерно часов в шесть. —
Трос пополз по скользкой воде
И по борту шлепнул: — Есть! —
Отходит пристань, стелется дым,
Мол сгибается серой дугой,
И клокочет тугой столб воды
За крепкой тупой кормой.
Адмирал знает в судах толк,
Знает, кого послать.
Быстрым ходом бежит «Волк»,
Быстрая волчья стать.
И вентиляторы, по два в ряд,
Густо, по-волчьи рычат,
И смотрят вперед глаза волчат,
Смотрят вперед и молчат.
Вынул бинокль, протер: — Смотри. —
Там впереди по краю воды,
На золотой полосе зари,
Черным пятном дым.
А за дымом тонкая мачта встает.
— Правильно! — командир сказал.
— Боевая тревога! Полный вперед! —
И через минуту: — Залп! —
Эй! Волчьи упругие прыжки,
Только вода кругом свистит,
Стучат стальными зубами замки,
Залп за залпом летит.
А противник медленно повернул,
Блеснул коротким огнем,
И горячий град по лицу хлестнул.
И шаром рванул гром.
Тишина. А руки еще дрожат,
Светится золотая мгла.
В воздухе неподвижно висят
Деревья из тонкого стекла.
Застыли длинные спины волн.
Вдали голоса протяжно поют.
Эскадренный миноносец «Волк»
Отдал якорь в раю.

VII. 1922

Посвящение

Слышу: сладковатый, охлажденный воздух
Проникает медленно в густую кровь.
Мелкой дрожью пробежал в гортани.
Я встаю, я встал, я буду говорить.
И звенят слова повторными стихами:
Это ливень хлещет на зеркальный камень,
Это скользкий блеск стеклянного собора,
Тонкий звон аэропланного мотора,
Напряженный провод телефона.



Вижу город бледным заревом встает —
Легкое железо и стекло,
И поблескивают в темноте белесой
Ветряные равномерные колеса.
Фонари висят в серебряном огне,
А внизу в холодной глубине
Улица бесшумная скользит.
Вспыхнула, звездой раскрылась площадь,
А на площади застывшая толпа.
Ветер длинный флаг над головой полощет,
Льется вдоль протянутой руки.
И сплошным огнем горят зрачки
На широкой мостовой внизу.
Что мне этот город, люди эти
Громким голосом через пространный ветер,
Звонким сердцем в разряженный воздух,
Легкими руками в высоту!

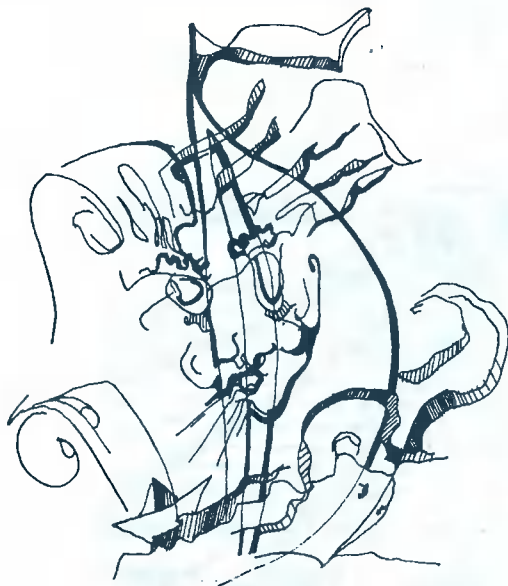
И летит передо мной твое лицо
В белом облаке рассеянного света.

IX. 1922

Эпиграф

Для того чтобы стать человеком,
Нужен внезапный ветер,
Выгнутый белый парус,
Шипенье холодной пены
И бешеный блеск воды.

1926



Публикация Владимира Кондрияненко

Рустам ГАДЖИЕВ

ВСАДНИК С МОЛНИЕЙ В РУКАХ

Повесть



Рисунки Александра Жабинского

— Где ты был, Диргин-Дарганчу?
— В горы ходил Диргин-Дарганчу.
Колыбельная песня.

*И маленькие дети видят большие сны.
Надпись на колыбели.*

Расскажу я вам все, без утайки, как было в действительности. Или быть могло, потому как боюсь: а не лжец ли я, самый опасный, если нарушаю молчание, если верю своим воспоминаниям? Да и память ли это? Ничего не скажу — не совру, получается, а поведу — обману вас непременно. Только верьте мне, все равно верьте, даже если вру, обманываю, обкрадываю вас. Не знаю почему, но это так — бегите, шагайте за мной — не вкусными словами, но тайнством рассказа увлекаю вас за собою, в ту страну, где на голой желтой равнине жил-был мальчик. И была в такой жизни странность, и странность эта окружала мальчика желтой глиняной плоскостью, с асфальтом, рельсами и трубами заводов, а ведь страна его называлась — Страна гор. «Почему я не в горах? — спрашивал себя мальчик. — Почему я смотрю на горы с крыши дома, когда ждет меня там, среди скал, всадник с молнией в руках?» Так говорил этот взрослый мальчик, и глаза его наполнялись тоской и даже слезами — такой он был человек. А где-то, далеко-далеко от него, таким же взглядом смотрел на горы человек с бородой, огромный и сильный, которого за железные руки и острый глаз прозвали Беркутом. И были эти взгляды так схожи, так одинаково ненормальны и пронзительны, что никак не могли не сойтись сплестись пути-дорожки мальчика Мурада, убийцы и преступника малолетнего, и Степного Беркута, вечного бродяги Степного Беркута, доброго великана Степного Беркута, который столько раз терял свою жизнь, просеивал между пальцев, да никак не мог потерять насовсем.

Но сначала — о том, как я встретился с ним, с чего это началось и почему в моем кармане, в нужной дырке, поселился ножик с длинным лезвием. Я мальчик с желтой равнины, маленький, злой преступник Мурад Магомедов...

Где ты был, Диргин-Дарганчу?
В горы ходил, Диргин-Дарганчу.

Они меня не любят.

Заводила у них Черный Рустам, Черномор, малолетний вор и дилда. Все о нем знают, только рукой махнули. А мне все равно — Черномор он, Беломор или Красномор. Иду по своим делам и иду. Они пока меня не заметили, а когда и заметят, с чего бы им ко мне привязываться? Может, я на карьер иду, купаться? Пускай попробуют привязаться.

Так, значит, думаю, а сам иду еле-еле, как та черепаха, внутри непонятное творится, в животе. Жду, когда сами дорогу уступят. Мало ли чего боюсь! Мое сердце и мой страх. Может, я сплю сейчас, не чувствую ног и рук, и тяжести земной? Во сне они идут впереди: Алис и брат Алис, Мухуч, сплевывая крошечные шарики слюны, во сне хохочут и издеваются над кем-то, заводя Черномора и компанию. Сквозь закрытые веки вижу их, не меняются — и днем, и ночью, среди сна... Весело им. Должно быть, описали кого-нибудь. Это шутка у них такая, говорят: смотри, летит спутник, — а сами другой рукой спортивные приспущают и писают тебе на штаны. Борзые. Стоит одному из них обернуться и меня увидит, как сразу остановятся, заулыбаются, глазами заблестят. Я с этим

маленьким Мухучем уже не раз до крови дрался. А тут еще бездомный Алис, его страшный брат, абрек недозревший. Весь город только и шепчет: Алис то, Алис се. Знают и боятся, как овцы прямо. Только вид делают, что он такой же, как все. Держи карман — как все. Алис он, Алис.

Иду я, значит, за ними, — совпало так, понимаете? — и вижу: сворачивают всей толпой туда же, куда и мне — в переулочек на Лермонтова. Может, они до карьера так пастись будут?

Я даже остановился. До карьера! Не купаться, други, переночевать мне надо бы у кривого сторожа! Выгнал меня отец из дома. Напилился опять, как свинья. Сначала вышвырнул мамин столик, который она по ночам вырезала. «Хозяйством, — кричит, — занимайся, а не финти-флюшками своими до полуночи! Я тебе деньги принес? Где мясо?! Это — мясо?!» Столик тонкий, красивый, разломился надвое, а там каждая деталька вручную инкрустирована. Отец, чудовище пьяное, ногой по столику бьет, мама плачет, и такая обида меня взяла, просто грудь выворачивала. Он еще бить ее вздумал — белый стал от злости и кинулся. Она во двор, он за ней, а я за ним, ничего не вижу уже. В глазах темно, суматоха какая-то. Когда очнулся, он меня на улицу выбросил. Открыл ворота и вышвырнул, как щенка. Лежу я в пыли, локти ободраны, реву, а в ладонях нож сжимаю. Но реву не так просто, не подумайте. А так случилось, будто из меня что-то вынимают, а взамен ползет другое, окончательное. Точно змея ползет, медленно.

Смотрю, через мгновение ворота открылись и он ко мне идет. Зубы стиснуты, волосы развеваются, а глаза пьяные и злые. «Отца убить решил?» — кричит. А живот у него в крови. И руки в крови.

Видели, как барашку режут? Она скакать как сумасшедшая начинает, ногами в воздухе. Вот и я, как эта барашка, поскакал. Бегу, а ноги, кажется, на месте стоят. Когда обернулся, земля подо мной качается, а его уже еле видать. Кричит что-то. Только маму жалко и братика маленького, Ибрашку. Думаю так и засовываю нож в карман, так, чтобы лезвие в нужную дырку залезло.

Вот так и порвалось, други. А потом, как в поговорке, беда пришла не одна, борзые — они кровь за версту чувствуют. Почему, думаю, все такие злые? Почему отстать от меня не хотят? Выходишь ты не в себе, кривляешься, как дурной Хаджи, от обиды — убежать, исчезнуть, сгнить навсегда в темноте карьера, — а тут, из-за угла, новые рожи. Улыбаются, подходят и, ни слова не говоря, целят тебе в глаз кулаком. Весь мир кувыркается. Ну, думаю, сволочи, съедите вы. Подали вам ошпаренного шестиклассника с ножом в левом кармане.

— Куда идешь? Бабки есть?

Вот! Я же говорил! Остановились и за углом ждали. Хищники. Черномор говорит:

— Тебя, кажется, Мурад зовут? Ты с Центральной, сто семь?

А этот маленький и наглый опять:

— Бабки есть?

Я головой мотаю: «Нет».

— Обсаженный какой-то...

А Мухуч что-то негромко Алису бубнит. Я слышу его голос и напрягаюсь весь, натягиваюсь, как струна.

— Че, оглох, что ли? — спрашивает Черномор. — А это кто порвал? — показывает на мою пыльную куртку. — С кем фигарился?

— Родители, сволочи, выгнали из дома, — говорю я и

глаза опускаю, чувствую — не то говорю, даже горячо внутри стало. Так уж у меня: сначала скажу, потом от живости своей мучаюсь и удивляюсь — зачем сказал? Кому?

— Кто выгнал?.. Ничего себе! — удивляется Черномор. — Не могу себе представить, как родители выгоняют. Матушка, что ли?

— Матушка его за хлебом отправила, — говорит маленький и наглый. — А он сдачей с нами поделится.

— Нет, пахан! — зло доказываю я. — Только что выгнал. Насовсем! Ухожу вот...

— Куда?

Они стоят вокруг и смотрят на меня. Уже вся шайка, и глаза у всех крутые. И чувствую: во мне опять это окончательное просыпается и болит. Даже в груди заныло.

— Конечно, такого идиота выгонят, — говорит Алис.

— Мухуч говорит, ты первый на него прыгнул. Что, зубы во рту мешают?

— Че молчишь? — спрашивает Черномор. — Героем заделался?

— Джими, Джими, — толкает его локтем маленький и наглый. — Джими, пой!

Странно так. Стоят вокруг и говорят обо мне — будто марсиане какие-то. Переговариваются, за реакцией наблюдают. А мне все хуже и хуже. Тут Мухуч ко мне ближе подходит и бьет пустой пластмассовой бутылкой. Прodel палец в горлышко и бьет по голове. Ударяет и смеется. Боли нет, но все как-то в мире меняется. Я совсем уже маленьким становлюсь и беспомощным.

— Отвесь ему, — говорит Алис, — чтобы не возникал больше.

— Оставьте мою жизнь в покое! — я кричу.

— А у тебя разве жизнь?

— Это моя жизнь! Что вы прицепились все? — кричу я в слезах.

— Это не жизнь, — постановляет Черномор. — Это СУЩЕСТВОВАНИЕ, — добавляет он с презрением, и Мухуч снова бьет меня бутылкой. Пластмассовая, она отскакивает, как шарик пинг-понга. Все они гогочут, а Мухуч, сделав встревоженное лицо, и говорит: «Подожди, подожди, что у тебя тут такое? Блин! Кровяна!» — и, схватив руками за голову, бьет меня своей. Прямо лбом по губам. Поворачивает лицо к Алису и смеется.

Как он ударил, действительно, кровь потекла. Но я тогда этого не понял. Понял, что опять суматоха поднялась. В глазах темно, внутри холод, прямо коросты ледяные, а перед глазами какие-то лица оскаленные мелькают. Это потом я узнал: я Мухуча порезал, насмерть почти, а Алис стал меня забивать, озверевший, — я и Алиса порезал. А остальные, они отошли, но не убежали, нет. Отошли в переулок между Центральной и Лермонтова, и смотрели, как я с ножом стою и Алис в грязи ползает. Потом я опять побежал не чуя ног. Солнце садилось уже. А я подумал, что давно ничего не ел, и залез к толстому Хундурбеку в сад. Ползал по дереву, набирал его абрикосы и плакал. Мы с маленьким братом всегда в этот сад лазили. Абрикосы сыпались через дырку в кармане, я снял куртку и завязал ее узлом. Приехал толстый Хундурбек с пивным животом, и я потихоньку слез. Смотрю, Боцман под ногами хвостом виляет. Это волкодав Хундурбека, мохнатый и огромный. Я ему абрикос дал, протянул на ладони, а Боцман понюхал и зарычит как! Я только тут заметил, что рука в крови вся. Я сразу отдернул и тереть ее стал, и про нож вспомнил, и про то, что случилось. И

началось изнутри — бум!.. бум!.. бум!.. — все равно волны на меня накатывают, жаркие волны и холодные, и как будто понимать я начинаю, что натворил, и до конца понять не могу — дыхание застревает, даже куртку с абрикосами выронил.

Я к Боцману нагибаюсь, беру его за морду, в глаза смотрю собачьи. И страх не страх, а боязнь, вижу, появилась в глазах его.

— Отвернуться хочешь? — спрашиваю.

Боцман испуг свой жалкий пересилил.

— Не бойся, Боцман. Я всегда был твоим другом, а сейчас один идти не хочу. Пойдем со мной в горы; на самый далекий перевал, Боцман. Там чабанские кутанги, злые, как маймуны, ты меня защищать будешь. Это, правда, не жизнь. Пойдем, Боцман!

Боцман слушает и кровь с моей правой слизывает.

— У меня есть нож, а кушать я тебе найду. Барашков, что ли, не видел, как режут? Там их тысячи, и мясо сухое чабаны вешают на крюках, целые туши мяса. Мы уйдем выше Дубков, выше Чиркейской ГЭС. Мы будем смотреть на этих людских тварей сверху! Это другая страна, без света, без радио, где люди не знают русский язык. Но мы пойдем еще дальше, куда старики боялись ходить. Только орлиные гнезда и кости солдат Нажмутдина Гоцинского. Там черные, блестящие скалы, а в низовьях — волчьи ущелья. Главное, чтобы камышинка ночью не погасла. Мы ее в керосине намочим, камышинку. Только не трусь, Боцман! Не дрожи, ради Бога!

Я говорил все это Боцману, и знал, что ни одно слово не пропадет даром, впустую, — и не мог остановиться. Я чувствовал, что безумная тоска моя обретает формы, ее можно взять руками, сжать и выбросить, что комок глины. Мой путь становился все яснее, и слова сами вылетали из горла. Я пинал свой страх, я становился твердым и высоким, я рос, как тополь, и плевать хотел на всех гадов, которые топтали землю.

— Я никогда больше не буду маленьким, — пообещал я Боцману... — Я пойду до конца, как большой, пока не увижу всадника с молнией в руках. Я не трус, Боцман! — говорил и зубами развязывал его веревку. — Не ерзай, зубы тоже ножи человека или собаки... Навсегда уйдешь от своего толстого Хундурбека с пивным животом. Только зайдем за теплой одеждой. У меня нет такой шкуры, чтобы на камнях спать. Ночью камни как лед!

Отвязанный, Боцман посмотрел на меня, вздыбив шерсть. «Может, останемся?» — хотел он сказать, словно чего-то в себе преодолеть не мог. Клыки-то оскалил, а в глазах страх затаился.

— Надо, Боцман, — сказал я. — Там этих злых гадов нет, и добрых обманщиков. А если мы не уйдем навсегда, ничто не изменится в жизни. И ты до старости по веревке бегать будешь. Пойдем, Боцман...

И мы пошли.

Дома меня уже ждал наш участковый. Я увидел его с улицы, в окно, и по выражению лица, по движению губ, по тому, как он говорил с отцом, понял только одно: он тоже меня не любит. И мать сидела у окна бледная, похожая на встревоженную птицу. Стали бы вы после этого возвращаться? Глаза у меня слипались, и колотило всего от холода, хотя вечер стоял теплый. А тут еще Боцман заворчал: почувствовал Манаса. И Манас его почувствовал, залаял — он тоже из породы кутанг, только не собака он, зверь безухий. Дружки отца ему уши и хвост

отрезали, чтоб злее был. Залился, значит, он, и отец с участковым во двор вышли, посмотреть, кто пришел. Я же дом обежал.

— Стой здесь, Боцман, — говорю. — Дождись меня обязательно! Подождешь?

Боцман гавкнул, и я через забор полез. Манас, как с ума сошел, лает и лает.

— Зря тебе уши обрезали, — я ему говорю. — Не был бы таким злым, взял бы тебя в горы.

Залез в свою комнату через окошко, взял, что потеплее, остатки чуду в рот засунул, сумку, мою любимую, из-под кровати вытащил, с привычного места, — и в окно, обратно, в сад. Слышу: на веранде кричат, не понимают, почему Манас все заливается. Выпрыгиваю, значит, я, и вдруг, в саду, меня кто-то за руку берет.

— Мурад, ты от нас убегаешь?

А это брат мой маленький.

— Надо, Ибрашка, — я ему говорю. — Иначе всю жизнь здесь до старости проживем и ничего не изменится.

— Ты хочешь, чтобы мама его бросила, — догадывается Ибрашка. — А я не хочу. Я хочу, чтоб все вместе. Не убегай, Мура, я тебе что хочешь дам. Хочешь велик?

— Мне надоело, — я говорю. — В горах, знаешь, как хорошо... Я в самые далекие... В самые.

И тут Манаса с цепи спустили. Пролетел он под вишнеградником и прямо к нам. Я похолодел.

— Ибра, в окно, в окно! — я кричу.

А он мне:

— Не убегай, Мурад! — и не двигается с места.

Манас, как волк, в него зубами вцепился — прыгнул и схватил всей пастью за плечо. Ибрашка как закричит, слезы из глаз брызнули, Манас его бросил и ко мне. Я нож вытащил и пригнулся даже. Я же помню, что большой уже. И говорю:

— Ну иди сюда, Манас. Иди.

Он порывал, порывал злобно, голову пригнув, и прыгнул. Не знаю уж, сколько раз он меня покусать успел, пока не убежал с визгом.

— Беги, беги, бесхвостый трус, — кричу я, улыбаюсь, а самому противно, словно высосал меня всего пес.

Ибрашка плачет сидит, ко мне взрослые бегут, а мне опять больно, брата жалко, будто я виноват, что Манас его покусал.

— Не плачь, Ибрашка! Не плачь... — я ему кричу и бегу к забору. И, перепрыгнув, нож от злости в доски забора втыкаю. Даже кисть свело.

И не хочется мне уже ни в горы идти, ни здесь оставаться, вообще ничего не хочется.

— Пойдем, — говорю, — Боцман. Найдем пещеру и уснем там навеки. Станем как стеклянные: человек и собака. Ты стеклянный, и я стеклянный. Пусть эти злые сволочи все передохнут. Гады.

Пиная я с этими словами забор, и уходим мы ночью из города, ночуем, обнявшись, в канаве, на помидорном поле, а утром шагаем прямо к чистым, многоэтажным вершинам, к великому Кавказскому хребту, как говорит наш географ. К предгорьям с кизилевым лесом, которые я видел с крыши нашей «гэпэдушки» тысячу раз.

Где ты был, Диргин-Дарганчу?

В горы ходил, Диргин-Дарганчу.

Горы — фонтаны земной энергии, — так я скажу, други и братья, — однажды равнина вздыбилась от гнева и стала горами. Лежащий в Степи знает, что рано или поз-

дно тело станет плоским, мысли выпрямятся, отвердеют, восходы и закаты округлят удивленно распахнутые глаза... Останься, Мурад! Останься лежать на равнине! И желтый ковыль покроет твою голову.

Но только ты поднимаешься в горы, невидимые фонтаны силы очищают тебя от скверны. С криком: «Ого-го-го!» — горы набрасываются на тебя со всех сторон, и этот крик навсегда закладывает тебе уши. Выше — больше. Приходит страх, после которого горы оживают — темные великаны с ошеренными пастями ущелий и блестящими острыми скал, — и ты постоянно чувствуешь их давление, смотришь на них со страхом, начинаешь смеяться по-другому, ты говоришь и с удивлением слышишь свой голос, как бы со стороны — и не узнаешь его.

А если вдруг равнинный человек застревает в горах, лицо его становится, как камень, щебень сыплется с плеч, и день за днем его мучит: где он сам — теплый, мягкий человек, а где руки, глаза, язык не его, а камней.

Так я думаю.

Поэтому коренные горцы живут кучно, сакля к сакле, и тепло человеческое берегут. Понятие очага и кунака здесь священо.

Когда в тридцатые годы карательные отряды милиции рушили сакли в аулах, они думали, что горным дикарям пойдет на пользу равнина.

Глиняная равнина с железной дорогой и химическими заводами.

Тогда и появились кажары — черные, тупые, агрессивные, с теми же сказочными телами из камня, но без очага, без рода, без гор. Которых уносила железная дорога, а которые оставались — с глиняными мозгами и вечным безумством в глазах. Советская власть кормила кажаров из бутылочки, ставила к станкам, учила жить в тесноте общежитий.



Это я тоже понимал, когда думал об отце, продираясь через заросли чапчака, нашего кизилового леса.

Тогда же, когда появились кажары, появился и всадник с молнией в руках. Мой всадник. Первый раз я увидел его в тонкой-тонкой книжке. Русская девушка-геолог рассказывала о дороге чистых, как слезы, самоцветов — она проходит там, где проскакал всадник с молнией в руках. С тех пор я видел его повсюду. Даже на пачке сигарет «Казбек» он летел, мой всадник с молнией в руках — черный силуэт с буркой, вот только молния еще не сверкает, сокрыта от глаз почему-то. Чтоб не ослепнуть, решил я.

Уже выйдя из чапчака на горную дорогу, я знал, что шагаю по ней не совсем я и что еще не раз произойдет эта подмена, и я потеряю себя в пути, и еще будет больно, когда мои плечи и лицо начнут превращаться в камень и трескаться от твердости.

Утром я видел все хребты, которые должен пройти. Они висели в небе один над другим, а потом исчезли. Так бывает перед восходом солнца. Самый снежный и чистый хребет вызвал во мне дрожь, я подумал, что где-то там люди теряют память. И я потеряю, иначе мой всадник не захочет даже знаться со мной, и не мелькнет среди скал, в грохоте неба, и не остановится на моей тропе, чтобы сказать: «Здравствуй, Мурад».

Весь этот и следующий день я добирался до горного Буйнакского, экономно доедая свое чуду, кизил и дикие груши, которые набрал в чапчаке. Я старался не думать о доме, я решил, что забыть — значит очиститься. Несколько раз я выходил на асфальтовую дорогу и снова уходил с нее, не решаясь голосовать. Боцман молча поддерживал меня и напирался всем телом, когда проходили редкие машины. Вообще он держался бодро, хотя с пищей ему приходилось туго. Дома он привык жрать что попало, но необходимость даже это добывать самому озадачила его. Один раз, когда я еле плелся в гору, рядом притормозил старый «ГАЗ», водитель приоткрыл дверь, приглашая сесть, и я медленно покачал головой. «Это было бы уже вранье, если б ты поехал на машине, болтая с водителем», — доказывал я себе и плелся, впитывая головой обожженное солнце. Несколько раз мимо нас, рядом с нами проходили отары овец, чабаны пустыми глазами оглядывали меня и Боцмана, и чудилось в их взглядах неодобрение. Что делает здесь этот городской мальчик с тонким, бледным лицом? Зачем вторгается в наш привычный и суровый мир своей разодранной курткой и отчаянным взглядом? Один парень прошел совсем близко, сам одетый так небрежно, что я с трудом сдержал смех. На боку у чабана висел кинжал без ножен, просто как тесак, а в руках гуляла невообразимой кривизны палка. Что до одежды, то был он гол до пояса, а на ногах болталось выцветшее дырявое трико. Чабан оглянулся, и взгляд его, пронзительный, ровный, безжалостный, вызвал холод внутри, мурашки побежали вниз, примораживая ноги к камням. Куда и зачем идешь, Мурад? На растерзание горам, Мурад. Какие силы человек использует перед расстрелом? Я еще долго стоял и думал о пропасти одиночества, о том, как можно напугать одним только взглядом и как же страшен случайный встречный здесь, в горах. Боцман во время таких встреч бегал и лаялся с чабанскими собаками, но до серьезных драк дело не доходило. Мы были сами по себе, они сами по себе. Гнали овец и хмурились. Камни из них так и сыпались, а из овец их сыпались черные шарики. Боцман бегал возбужденный, свобода явно пришлась ему по душе.

После Буйнакского, где я ползая в садах, наполнил сумку и украл одеяло, начались настоящие горы. Там я и увидел впервые и в течение часа разглядывал большого и странного человека, сидящего спокойно в центре горной чаши. Такой же одинокий бродяга, идущий на юг, он взволновал меня, и мы с Боцманом два дня следили за ним, следуя неотступно, до самого подъема на Чиркейский перевал. Вокруг никого не было, незнакомец убирал и ставил палатку, днем таская на себе целый стог вещей, притом являясь единственным человеческим существом, которое я теперь видел. Горы как бы заперли нас вместе. Каждый звук вызывал эхо. Это было странное и удивительное ощущение, и, выглядывая из-за какого-нибудь гребня с кустами, я внимательно следил за каждым движением большого спокойного человека и, отогреваясь днем от ледяной ночи, брел за ним, точно сонная муха, намотав одеяло вокруг пояса и обвязав его веревкой.

На вторую ночь, у перевала, закутавшись во все имеющееся тряпье и прижимая к себе Боцмана, я так продрог и закоченел, что встал незадолго до рассвета и, ничего не соображая и не чувствуя, кроме холода, побрел к палатке незнакомца. У палатки я ощупал нож. Если этот бородастый русский меня пошлет, я не знаю, что случится. Потому что идти мне больше некуда. «Где ты был, Диргин-Дарганчу...» Тогда я думал, что еще одно одеяло и немного пищи спасли бы меня совершенно...

Так я оказался у палатки, которую суждено мне было узнать и запомнить, как собственное лицо и руки. Я подошел близко, вплотную, толкнул брезентовый полог. Постоял, толкнул еще раз, собираясь с духом. Я мог бы свалить всю палатку, честное слово, если б захотел. Что надо говорить в таких случаях, я не знаю, поэтому постоял еще немного перед домиком и сказал:

— Эй...

И даже рассердился немного.

— Эй! — сказал и толкнул всю палатку. И, представьте, в то же мгновение кто-то моей спины касается, вроде как руку кладет, без спроса. А точнее, подло и коварно насмехается, подкравшись сзади. У меня даже в глазах потемнело, будто током ударило — раз — и лицом к насмешнику. Смотрю: он, великан русоволосый, хозяин палатки. Головой качает.

— Зачем же палатку трогать? — спрашивает. — Палатка, она безответная, ее и свалить недолго.

— Мне нужно одеяло, — я ему говорю. — Это спрашивается, если такой жирный великан отдаст одеяло.

И Боцман в знак подтверждения гавкает — поспешил бы ты, друг? Нас двое, и мы торопимся.

— Одеяло, спору нет, вещь хорошая... А ты, малец, что такой хмурый? Холодно тебе?

— Поменьше разговаривай! — я ему говорю. — Почешись, а то вши кусать будут.

— Ну что, бери, раз надо, — он так сухо говорит, полог палатки поднимает и смотрит на меня. А в палатке оно, заветное, скомкано.

— Ты смотри у меня... Дернешься... — я его предупреждаю и напрягаюсь весь. Руку в карман засунул, к рукоятке поближе. Один шаг делаю, второй, и только внутрь нырнуть осталось, да одеяло схватить, да ноги дать, — дернулся мой бородач, бросился всей массой. Я тут же нож лезвием вверх, в живот ему, но этот гигант быстр, как шайтан, одной лапой руку с ножом схватил,

другой меня поперек груди — и придавил малость. Ему-то ничего, рядовое напряжение мышц, а я последний хрип испускаю: ребра сдавило, глаза вылезли, изо рта звуки страшные льются, вздохнуть не могу. А он в лицо мне заглядывает и смеется, падла, белые зубы в рыжей бороде. И глаза в морщинках смешливых, будто сетка на лицо накинута. Но тогда мне не до его рожи было. Вижу — черная пелена весь мир застит, дернулся с нечеловеческой уже силой, с инстинктом животным — а он и тут меня удержал, до конца выжал, до судорог. И только всхлипы изнутри выходить начали — не мои всхлипы, грудь сама хлопала, — он возьми и посади Мурада на землю. Смех слышу, будто издалека. Зрение возвращается стало, день в глазах засиял. Вижу — горы, вижу — человек, высокий, широкоплечий, бородатый. Улыбку вижу.

— С возвращением тебя в наш грешный мир! — говорит. — Как тебе хватка? Железная хватка! Кабана давил. Лося удавлю, если встречу. Медведя удавлю. Тебя жалко стало. Щенок еще.

— Сам щенок! — я хриплю.

— Беркут, — говорит он и головой качает, без улыбки, а так, с прищуром и усталостью какой-то. — Степной Беркут я. Глаз у меня острый, понимаешь? Меня за зрение так прозвали и за хватку. — Он опять руку в локте согнул и засмеялся. Мускулы у него, как шарики надувные, под сорочкой задвигались.

И опять улыбка на лице его пропадает. Нагибается ко мне великан и говорит:

— Я тебя давно заметил. Давно слежу. Беркут шкурой чувствует! Порезать хотел Беркута?

Прямо арлекин какой-то, думаю, или помешанный? И говорю со злобой, горькую дрянь изо рта выплевывая:

— Не бывает степных беркутов! Врешь ты все!.. И не нужно мне твое одеяло, заткни свою задницу толстой этим одеялом! Плевать я хотел на твои мускулы! У моего брата в сто раз больше, он тебя поймает один на один...

— Стоп!.. Стоп!.. — он кричит. — Ну ты злой! Понастоящему злой! Ты что думаешь, убил человека, взял одеяло и айда? Нет, так не годится, черт побери! Запутался ты, парень! С ножом бросаться это ладно, это, помучавшись, и простить возможно, но разговор вот этот бабский! Это что же?.. Это — вроде как обложил дерьмом бродягу, и на душе потеплело? Ну, побьет меня твой брат! Побьет точно! Мерзко-то как...

— Да ты сам меня придушил! Что я тебя, бил? Одно одеяло несчастное... — я заплакал. — Да засунь его...

— Ну-у-у, брат, — говорит он, будто разочаровался в близком друге. Будто поддержать меня хочет, в минуту злую и трудную.

— Ну ты вообще, брат! Я бы не смог, как есть говорю, не смог бы! Да ты экзорсист, оказывается, изгоняешь демонов. Есть такие люди, душу очищают, себя насилуют. Мог ли я думать, что такого парня встречу... здесь, в горах! Ты вот что... Одеяла у Беркута нет, но это фигня, нам и не нужно! Есть спальный мешок, ты знаешь, что такое спальный мешок?! Да что с тобой!

— Не знаю... — я нос вытираю, хлопаю почем зря, — слезы в нос попали, — говорю. — Как они туда попадают? Все время куда не надо, то в нос, то в горло...

— Ты так часто плачешь? — Он встревожился, смотрит на меня и думает о чем-то напряженно. — Ты вот что! Спальный мешок очень тесный, Степного Беркута только одна нога влезает! Точно тебе говорю! Да и не нужен мне спальный мешок, давно выбросить собирался, да нет, ду-

маю, реликвия. Тебе как раз будет, парень! Твое одеяло на мой мешок! Ударили?

Говорит он мне все это и руку протягивает. Ну а мне что, я по руке его хлопнул. Носом шмыгнул, глазами моргнул, сижу весь мокрый. Меньше меня не станет оттого, что я удаву этому руку дам, душителю бородатому. И мешок его почище всяких одеял оказался. Лежу я, как детёныш кенгуру в кармане мамы, рядом Боцман прикорнул, палатку нюхает, а голос Беркута снаружи, как паутина, на нас наматывается. Тараторит этот арлекин, прямо как радио. Любит поговорить мужик. А все же, хоть и пустобрех, а слушать не противно, и правду мою выставляет, будто под свет прожектора, враньем своим, и видно, что не правда это вовсе, а дурь моя и злоба оголтелые.

— Слушай, одеяло у тебя... — он говорит. — Вздв таким одеялом укрыть и еще краешек останется! Небось, от злости своей замерз, слышь, горный путник? От злости сосуды сужаются, конечности холодают и выходит не мальчик, а мертвец, зомби ходячая...

— Откуда ты такой взялся?

Он тут же голову в палатку засунул.

— Какой? — спрашивает.

— Языкастый, — я говорю. — Что, язык очень длинный? Во рту не вмещается?

Он язык свой высунул — розовую котлету — и глаза на него сослил.

— Слушай, правда, длинный, — говорит. — А я и не замечал. Может, болезнь какая? Может, я заразный? Может, таких языков вообще больше нет, один-единственный? Нет, язык у меня прелесть, нужный язык! Сколько раз от начальника спасал Степного Беркута, от тюрьмы, от разбойников! Нет, язык — он подвешен так, тут все дело в устройстве. Организма у меня такая. Степные Беркуты, они любят поговорить.

Говоря это, он снаружи звенел посудой. Потом снова просунул голову в палатку:

— А тебя как зовут, мальчик?

— Щенок, — я ему говорю.

— Ладно, Щенок, — говорит Степной Беркут, — покажи сноровку. Вылезай завтракать.

И опять звенит снаружи.

— Щенок... сапог... носок... портянка...

— Дурак, — я говорю. — Если обманешь, я тебя порежу.

— Дурак... кабак, — бормочет Степной Беркут. — Порежу... невежу... щенок... браток...

И душно мне стало, други, в мешке этом чертовом, хоть дугой выгибайся. Дергаюсь, а он не пускает, душит, обволакивает. Огромная клоака проглотила Мурада, в кон паутину упрятал Мурада бородатый паук. Яростно дергаясь и звуки издавая сдавленные, добрался-таки до замка и вскрыл проклятый мешок.

Вылез я, сумку свою взял, Боцмана окликнул и вылез на свет Божий.

— Ты, никак, уходить собрался? — спрашивает Беркут.

— Пойду чабанскую стоянку искать, — говорю. — Барашку нарежу, с Боцманом мяса поедим.

— Слушай, я обижусь! Для кого я это приготовил?

— Обижайся, — я ему говорю, пауку бородатому, и уйду к овечьим тропам. Он остается и за спиной как-то слишком громко тарелками звенит. Ну, думаю, обозлился ты, дядя! Показал я тебе, трепачу, чего доброта твоя стоит, мешочно-палаточная. Обернулся я разок, быстро так, вроде невзначай — и будто оборвалось что-то внутри, — ругаться я начал, про себя, последними словами. Смеялся

он, этот человек по имени Степной Беркут, беззвучно трясся, растянув рот до ушей. Смотрел на посуду свою дымящуюся и жрал, как последняя лошадь.

Ну и ушел, ну и что? Чего в дороге не бывает? Кого только не встретишь. Солнышко светит, руки-ноги шевелятся, ну и ладно. Зарежу барашку, костер разожгу и вкусного мяса нажарю на угольях. Ломтики с собой возьму вверх, и будет кусочек барашки в моей сумке путешествовать. Может, даже до всадника дойдет. Не каждой барашке это удастся — всадника увидеть. Путливый они народ, эти рогатые. Главное, придавить изо всей силы, когда резать буду.

Идем мы с Боцманом, нашли нужную тропинку и ползем, как мушки бескрылые, по горам, их круглые бока переползаем спиралями карнизов. Я — мушка, и Боцман — мушка четвероногая. Перевал впереди — главный хребет, а перед ним маленьких хребтов множество, все друг на друга налазят, от этого такая картина образуется — сердце замирает сначала. Потом привыкаешь. Идем мы с Боцманом по самым утоптаным тропинкам, где сланец и глина копытцами овечьими утыканы. Боцман, он шарики черные, навозные понюхивает, понимает, значит, мой кровожадный замысел.

— Найдем мы их, Боцман, обязательно найдем, — я ему говорю. — Если не найдем, то и содохнем, как ничкемные животные. Нам без мяса никак нельзя. Просто хоть тут же подыхай без мяса. А этот, бородатый, пусть свою свинину жрет. Он ее сюда тащил на спине, чтоб не содохнуть, вот и мы должны свою барашку резать. Так уж устроены человек и собака, каждый день должны кого-нибудь съесть. Если не накормишь себя, то и жизни не будет. Где еда, там и жизнь. Ищи их, Боцман, ищи чабанов! У них запах особенный, человеческий. Здесь они ходят как миленькие. Где трава, там и чабаны...

Долго мы шли, клянусь вам, — шли, и шли, и шли, пока изменения в горах не случилось. Недобрые изменения пугать меня начали, за каждым новым поворотом. И Боцману мой страх передался. Лаять тревожно он начал, смотрит на меня и лает. И эхо от его лая по этим горам незнакомым гремит. Красными какими-то стали горы, в изломах все, и формами — словно кладбище фантастических животных. Идем мы по тропе, сердце у меня колотится. С одной стороны — стена красно-черная, с другой — обрыв. И не видно конца этой тропинке, и назад смотреть страшно — столько мне уже не пройти, сколько мы с Боцманом отмахали. Солнце уже за полдень перевалило, книзу клонится, в сумке у меня пусто, в животе все кишки в сгусток превратились, еще немного и трескаться начнут, в голове тоже пусто и кружение какое-то небесное. Небеса одни вижу. Глаза вроде как к небу пригитивает. Иду я по голубым небесам ногами, а скалы у меня над головой висят, сосульками вершин свешиваются. Прошел я немного по небу и вижу: неладно дело. Затошнило меня, небо снова вверх ринулось, перевернулось, а все земное хозяйство под ноги бултыхнулось. Во рту горькое что-то появилось, с железным привкусом. Привалился я к скале и Боцмана глазами нашел, собаку свою, среди всей этой огромной земли. Вот он стоит, хвостом виляет, гавкает.

— Ищи чабанов, Боцман, — я ему говорю. — Иди, я сказал. Без чабанов ничего не выйдет. Убирайся, свинья! Пошел отсюда, а то камнем кину, гад!..

Боцман разволновался весь, разлаялся. Я подождал, пока он успокоится, и вразумляю башку его собачью:

— Ну что ты хочешь, чтобы я в пропасть свалился? Может, ты меня сожрать хочешь, Боцман?.. Боцман, миленький, — я горечь проглотил, в комке слюны, и опять: — Боцман, миленький, не будь дураком, тупицей, одно человеческое поручение и то не можешь выполнить! Ну что ты, Боцман? Что ты?

Боцман ко мне подошел и носом ткнулся. Прекратил я тогда его упрашивать, поднял голову, затылком к скале привалился, и опять оно передо мной закачалось, небесное пространство, со всеми морщинами земными, горами и пригорками. Закрыв я глаза незаметно, а когда открыл, Боцмана рядом не было. И нигде не было. Я все так же на карнизе стою, прилипнув к скале, и вижу, как солнце между двух вершин спускается. Красиво оно опускалось, нельзя сказать как! Поймалось в ловушку солнце. И лучи оранжевые весь воздух пронизали, пыль далекой равнины окрасили страшно, стрелами вонзились в тело моей горы, сделали гору кроваво-красной, упали на камни у ног и на мое маленькое одеревеневшее тельце. Незаметно из оранжевых превратились в багряные, а потом в багровые. Понял я тогда, что значит для горы время. Я сам был горой, ее частью, и время для меня превратилось в солнечную радугу. И потом, когда первый холодок тронул камни, началось то, чего ждали мы оба — я и гора. Камни начали трескаться. Они задрожали внутри меня, в животе и лопнули радужными пузырями. Раз, другой... Колени у меня затряслись и пошли сгибаться, сами по себе, затряслись плечи, и даже челюсть задергалась, когда я рот открыл! Какая-то, еще не каменная, живая моя часть из всех сил оставшихся закричала во все небо. Во всю землю. Только уши мои каменные тот крик не слышали. Одно осталось у меня — глаза. Стал я смотреть вокруг и увидел камень. Руками пошевелил, от скалы оторвался, отклеился постепенно и к тому камню упал. Лежу, а рот все открыт, тело недорослое криком исходит — жить, значит, хочет. Вцепился в камень и ну подниматься. Поднялся, пошел к обрыву, камень кинул. Может, он и гремел, только мне все равно — я не слышу. Ищу камни и кидаю вниз, и сам падаю на край обрыва. Грудь моя всхлип издает от удара, камень — красно-желтый, красивый — из рук моих медленно, как во сне, вылетает и сонной снежинкой уходит вниз. Ударяется о бок пропасти, и снова парит, и снова ударяется. И свет в глазах меркнет, меркнет рисунок на камне, сливается весь мир с темнотой провала и снова проступает во всех чертах, словно кто-то балуется со светом. Небо вижу, горы. Мешанина из неба и гор. Что-то с трехмерностью неладное случилось: небо и горы друг на друга бросаются, и получается, что небо — это горы, а горы — это небо. И еще чувствую, а потом понимаю — за ноги меня кто-то тянет, оттягивает навсегда от края, от камня моего летучего — тянет руками всадника, и такие это руки замечательные, что я смеюсь. Еложу спиной по камням и вглядываюсь в продолжение ног. А оно бородатое, это продолжение, рыжебородое, белозубое, в брезентовой куртке. И имя у него чудное — Степной Беркут. Я помню. Говорит он что-то, укрывает меня.

— Я глухой сейчас, — я ему хриплю. — Ничего не слышу. Ты бы пожрать мне дал. В горах прячется всадник с молнией в руках, я к нему иду. Хочешь, тебя возьму? Если ты не гад внутри, он остановится и скажет тебе: «Здравствуй».

Бородатый смотрит на меня, так странно смотрит и наконец головой кивает. Фляжку мне к губам подносит. Это я потом узнал — коньяк у него во фляжке. А тогда,

что же, только кашлял и пил, и от огня осколки камней внутри смягчались. Здорово было и больно.

— Он прячется в скалах, а когда скачет среди туч и дождя, молния сверкает, черная бурка вздувается от ветра и скалы гремят. Там, где проскакал всадник с молнией в руках, геологи находят самоцветы: красные, желтые, синие, как радуга. Так он пугает чабанов и краеведов. Я читал о нем в тонкой, как струйка воды, книжке, когда был еще маленьким и боялся, как трус.

Говорю, и слышать начинаю. Шум такой, негромкий, вечерний, который над горами стоит. Беркут Степной рядом приваливается и просит:

— Расскажи мне про нее. Про ту жизнь.

— Там есть младший брат, — я ему говорю, Степному Беркуту. — Он один, без меня остался. Он живет в маленьком городе, с папой и мамой, но это ничего не значит, понимаешь? Он очень честный. Он знает всю правду, хоть и маленький, и когда-нибудь он тоже уйдет из дома... Сейчас, наверно, уже спит...

— Нет, — говорит Беркут. — Он смотрит на горы и думает о тебе.

Так он сказал и посмотрел в ту сторону, где была равнина. И я посмотрел. Пыль там стояла муторная и остатки солнечного света.

— У тебя тоже есть младший брат? — спросил я Беркута.

— У меня их тысячи, — сказал он зачем-то, человек по имени Степной Беркут, и недобро глазами сверкнул. А зачем — кто его знает?

Так прошел этот вечер — кушать я учился, заново. Горло мягким стало, как у младенца, Беркут мочил кусочки лепешки и в рот мне запихивал. Так прошла эта ночь — все атомы и молекулы во мне суетились, и вращались, и горели. так, что спал я или не спал, точно нельзя сказать. Спальный мешок весь был заполнен мною — Мурадом, который был Движением и Огнем. Хоть и бормотало это Движение, и стонало от боли в расплавленных камешках, а все же был мой мешок целой вселенной, и огненные сны снились маленькому Мураду, большую часть дня простоявшему у Голодной Скалы.

И оттуда, из ночи, помню свой крик:

— Беркут!

Он из темноты возникает, ко мне нагибается — лоб в морщинах, глаза тревожные.

— Что такое стряслось? — спрашивает.

— Меня Мурадом зовут, странный ты человек, — говорю, тоже наморщившись.

Беркут смеется, укрывает меня получше и исчезает в темноте. «Мурад... захват... автомат...»

А что утром? С рассветом выясняется, что Степной Беркут перенес Мурада в ущелье, где ветры не дуют, перенес незаметно как-то, ночью. И вот, среди чахлах кустиков, вместе с солнышком, кормит проснувшегося птенчика Мурада вкусным завтраком из хлеба, сыра, гречневой каши и родниковой воды. На десерт сухофрукты, коим словом обзывает Беркут сушеную курагу.

— Жуй как следует, — смеется он, на мою жадность глядя. — Непрожеванное, оно в горле застрянет, как затычка, и помрешь ты, как помер старый казак Ермолай, с удивлением и обидой в глазах. А сколько молодежи сгинуло через это! Если помер казак молодым, значит, ел второпях и скакал из-за стола, отцовского слова не послушав. Один Степной Беркут еще живет, — смеется он, —

чудом каким-то. Я ведь с Дона сам, из Ростова, и на Кубани моя родня, и Ставрополье — моя деревня. Степной Беркут, полюшко мое бескрайнее, беспредельное, ковыльное. Веришь, плакать тянет, когда говорю. Трава по пояс. Девки смеются, вспотевшие, полные. Солнце в полнеба, на закате. Мальчишки тебя провожают — идут из одной станицы в другую. Никогда не забуду. — Он смахнул слезинку, или вид сделал, что смахнул. Хитрый. Глаза прищуренные, нос, как у птицы, борода опять же. Ну, думаю, великан, заливать ты мастер. И тарелку алюминиевую вычищаю.

— Ну как тебе каша? Последнюю воду потратил, все дрова в округе сжег. Единственное дерево в ущелье сторело ради наших желудков. Я камни пробовал зажигать — не горят, однако. Думаю, Мурад проснется, злой, как черт, за нож схватится, если горячего не будет. Так и сторело дерево, через трусость мою.

— Бодман чабанов нашел, — я ему говорю. — Пойду, барашку зарезу. Ты лучше не уходи куда. Мясо будет.

— А не боишься резать? Она же маленькая, беспомощная, барашка твоя. Как же ты ее, ножом? Как ты ей в глаза помотришь?

— Да пошел ты на фиг! Как чабаны овец режут? Что они, в глаза им заглядывают?! Тупые глаза у барашки! Тупые и безмозглые!

Я и не заметил, как кричать начал. Стою и объясняю ему:

— Я мужчина, я должен быть большим, как ты не поймешь! Иначе всадник даже не мелькнет среди скал, не подойдет ко мне, не скажет: «Здравствуй, Мурад».

— В тебя солью стрелнуть из ружья. И будешь ты попу целый день в ручье мочить.

Я за шиворот его схватил — сидящий, он чуть пониже меня оказался.

— Я ничего воровать не собираюсь, — говорю ему в



лицо. — Я приду и заберу у них барашку, и попробую только пикнуть, они у меня узнают! Черти горные, от овец своих не отходят. — Я отпустил Беркута. — Всю жизнь с овцами, сами как бараны стали. Мне нужно кушать, и наплевать, что они там думают!

— Счастливого пути тогда, — говорит Беркут и в тарелке ложкой скребет. Небрежно так скребет, самым кончиком. Оба мы на эту ложку смотрим и не двигаемся. Стою я, пока совсем уже хреново не становится.

— Если тебе не противно, останься. Я приду, — я ему говорю. — Боцман, вперед! — и поворачиваюсь.

И опять наш день, как вчера, начинается. Ухожу я с Боцманом, а Беркут за спиной посудой звенит. И думаю я: что ты за человек такой? Как же можно так? Я же все тебе рассказал... Обернулся я быстро, вроде невзначай — и даже улыбнулся, не сдержался, други! Сидит он, сидит! И не смеется, нет. Думает просто и тарелку свою разглядывает. Радостно так мне стало, не могу вам объяснить, почему — радостно и все. Иду — и ноги сами меня несут, и губы сами улыбаются. Вот и все, чего могу сказать еще? Радость, она женского рода, нездешняя она мадамзель, как и любовь, и ложь, и смерть. Не объяснить их, не понять. И только всадник — мужского. К нему я иду. К нему. Вот.

Овечья отара — это мне нравится, это как организм, в котором ты пульсируешь, движеешься шариком крови. Улыбка бледная и нож — два твоих проводника, и Боцман, крупный, сильный зверь, который на минуту стал мозгом отары, ее нервным импульсом, бегая как угорелый: бляные овечье, суетолока, пыль. Мурад барашку режет. Мурад умертвляет живое мясо, делает его недееспособным, покорным, безмолвным, готовым ко всему. Огонь, угли и желудочный сок закончат дело твое, Мурад, а пока твои нервы, руки и сердце должны сами добыть себе Жизнь, кусочек Жизни.

Оттачив барашку, я придавил ее, лег на ее мягкий бок — безжалостно, как на пузырь с жидкостью, — и подумал, что сделаю сразу, не связывая ног, а то действительно никакого мужества не хватит. Пусть бьется. Она за жизнь — и я за жизнь. Больно, наверно, уже, ребра ей сдавил, живот круглый, набитый. Пусть и мне будет больно. Отогнул ее голову вверх, в глаз посмотрел испуганный, черный и ножом по горлу провел.

Как же, держи карман, даже шерсть не порезал. Пили уж, браток, не думай о тупости лезвия. Тупость твоего ножа превосходит умственную тупость барашки, и разница покроется настоящими страданиями, предсмертной агонией и истерикой всех нервных клеток этой Божьей твари... в которой ты должен видеть только мясо, только питательную субстанцию...

Я пилил горло и яростно загребал ногами, крутился, чтобы барашка меня не сбросила. Мы оба кружились, как сводный волчок. Подбородок ее соскальзывал, тело рывками уходило из-под меня. Вру. Наверное, я оставался человеком. Я знал, что нельзя ее отпускать недорезанную, и чувствовал свою ответственность за ее мучения, за окончательность и чистоту приговора. Я был человеком, идущим к всаднику. Идущий к Всаднику резал небольшую овцу, чтобы насытиться и продолжить путь.

Маленькая, она хотела жить и боролась за жизнь. Уже весь окровавленный, измученный, готовый все бросить и только лежать и плакать без конца, уткнувшись в землю, уже напуганный совершенно адским инстинктом жизни, я вдруг почувствовал, что победил.

Воля, мысль, душа ушли из живого существа, что болело со мной. Оно задохнулось, умерло, заснуло — то, что тело еще скакало, мчалось в судорогах и сокращениях мышц, уже ничего не значило. Осталось перерезать последние коммуникации, соединявшие голову с остальным телом. Но я уже не мог. Сила совершенно ушла из рук. Я обмяк. Барашка выскользнула из-под меня и стала бить копытами в бок. Было больно. От ее ударов потом появились черные синяки, но тогда этой боли мне казалось мало. Меня сковали холод и усталость, а в груди застрял железный еж. Я спал в стеклянном саркофаге гор, рядом скакала барашка, и боль не проходила, и железный еж сидел в моей груди, источая яд. Я спал и видел, как бегут ко мне собаки, отливающие серебром. Их было много, множество, они двигались медленно, как будто слоны, и шерсть их, темная, ровная, сверкающая, заполнила все вокруг. Боцман кружил, как заводной, обегая меня, шлепая в луже крови и брызгая пеной. Он казался маленьким, затравленным щенком. В этом сне он защищал меня от зубов волкодавов, его преданность хозяину спасала и его собственную кожу. Собаки лаяли, стояли вокруг, но напасть на нас не могли. Они ждали своих хозяев, хозяев барашки, которую мы не сумели ни дорезать, ни утащить. Я сидел и видел сон, в котором ко мне шли чабаны, четверо чабанов, и впереди шагал человек на голову выше любого из них, шире в плечах и светлее кожей. «Я знаю, — подумал я. — Это Степной Беркут, я помню. Он пришел ко мне. Мы уйдем вместе». Я сидел и не мог встать и проверить реальность происходящего. Сон наяву оказался последним прибежищем страха, последней норкой, в которую юркнул Мурад. Глаза барашки чернели, как провалы, лишенные глазного дна. Боцман рычал.

«Сон наяву, — подумал я. — Я стерплю и это. Всадник! Что будет дальше?»

Чабаны подошли ко мне и подняли с земли. Один из них вытащил нож и склонился над барашкой, отнимая остатки жизни; один отогнал собак, а двое других подняли меня и повели в чабанскую саклю. Беркут шагал рядом, качая головой...

Я шел, иногда спотыкаясь, и ни о чем не думал. Барашка осталась там, позади, ее теперь резал другой человек. А я больше не резал барашку, я шел, растопырив руки, красные от крови. Чабаны, ни слова не говоря, привели меня к сакле и бросили перед железной мордой умывальника. Такой умывальник, который снизу нажимают рукой. Боцман залайл на чабанов, чтобы убирался, но чабаны и так уходили. Степной Беркут все стоял и все качал головой, как болванчик, а потом повернулся и ушел вместе с остальными в каменную саклю-временяку. Я нажал на железку, и вода полилась, окрашиваясь в красное. Я опустил руку, и вода перестала литься. Я сбросил крышку и погрузил руки в умывальник, в бачок, я смотрел, как растворяется кровь, и смеялся. Вытащив, я посмотрел, какие они чистые, мои руки, и ударил ногой по доске. Брызнула вода, доска рухнула, бачок слетел с гвоздя и покотился. Боцман заскулил и начал обливать лапы.

И вижу я: из сакли выскакивает Степной Беркут, а за ним высовывается один из чабанов, самый молодой на стойбище.

— Хватит буяннить, пойдём-ка, выпьешь калмыцкий чай. Это то, что нужно сейчас мужчине, — зовет меня Беркут, и не просто зовет.

— Отпусти меня! — я кричу и вырываюсь из его ручищ.

— Хватит! — он тоже кричит и сгребает меня в охапку. Как я биться начинаю, кусать его и царапать! Знаю, что стыдно это, да все равно, плевать мне уже на стыд. Только сил не хватает.

Притащил он меня в саклю, а там темно, электричества нет и не может быть, квадрат окошка и дверь, видно только стол в середине и пар, который от чашек поднимается. Лица чабанов вокруг стола. Много их, как увидел я столько людей, осатанел, ударил Беркута изо всех сил и закричал, на срыве уже:

— Что, сильный, да?!

Сидя на табурете, закричал. Сижу я за столом, Беркут меня держит, в лицо заглядывает.

— Что это мокрое? — спрашивает, и к щеке пальцы сует. Заботливый! Впиваюсь в его пальцы с такой силой, что зубами косточки чувствую, вкус крови на языке и губах. По подбородку потекло.

— Ну все, отпусти, — говорит Беркут.

Я зубы разжимаю и прячусь. Голову, глаза в сторону, вниз, зажмурился даже, чтобы пропали они все.

А чабаны чашку передо мной ставят, в полтора литра, чай там калмыцкий, с молоком, масло и перец сверху плавают.

— Калмыцкий чай, — говорит Рамазан. — Без него кровь мужчины превращается в воду. Пей, Мурад!

В следующий миг содержимое чашки расплескивается по столу — я отталкиваю дымящееся благодеяние, как бачок умывальника. Белый кипяток мгновенно пожирает темную поверхность стола. Чабаны вскакивают, но не все. Взрослые мужчины не двигаются и на меня смотрят, холодно и гневно, а старики, те даже глаз не поднимают, не ищут причины, словно так и должно быть и стол их заливают каждые две минуты. В этот момент чувствую, ослабляет Беркут хватку, ударяю его головой в живот и выскакиваю из-за стола. Делаю четыре шага к двери и поворачиваюсь. Не могу убежать, други! Что-то неоконченное я оставил за этим столом, испоганенным молоком и кровью, и никаких сил не хватает — не идут ноги. Повернулся я с таким мучением, что по щекам дрожь пробежала. Смотрю в угол, в потолок, на пол, ищу ответа. Чабаны опомнились, чай стали пить, как ни в чем не бывало, старики полотенца на стол бросили, и мне полегче сделалось. Стою, кривляюсь, как дурной Хаджи, думаю, когда это мучение кончится. Всадник, когда?! А он меня не слышит, у него своя радость, с молнией скакать.

— А что, Рамазан, — спрашивает один чабан другого, — правильно наш кунак овцу зарезал?

— Правильно? — восклицает Рамазан. — Да что ты, Хайрула! Дай Аллах мне так резать! И чтоб рука не дрожала! И чтоб не связывая ног! Ты спрашиваешь «правильно»? Да я полжизни отдал бы, чтобы так баранов резать!

— Да, решительный джигит... — зашумели старики. — У этого мальчика рука мужчины...

Я слушаю их и краснею, и уже совсем тесно становится в сакле, душно, невмочь.

— Врете вы все! — я им кричу. — Кто вашу овцу зарезал?! Не жалко уже?! Сидят тут... сами как бараны! Добрые!.. А я сейчас еще зарезу, понятно?! Сколько хочу, столько зарезу!

Больше ни черта меня не держит в этой сакле. То, что держало, вспыхнуло и стало пеплом. По черным, дымящимся угольям я выбежал вон и увидел солнце, небо, горы,

увидел Боцмана, завалившего хвостом, и особенно задела, задержала взгляд темная расселина впереди. Как будто что-то мелькнуло среди скал. Что-то очень большое и быстрое, темное и жуткое, похожее на черного всадника, скачущего на черном коне...

Где ты был, Диргин-Дарганчу?

Кроме радости есть еще боль, которая тоже «она». Боль прощаний и встреч. Решительность, с которой я говорил «прощай» всему, что вставало поперек дороги, оказалась слабостью, самой большой раной души на моем пути к всаднику. Степной Беркут возникал неизменно, раз за разом являлся из окружающего мира, превращая мое «прощай» в абсурдное «а, это ты...»

Любовь, родственные чувства, привязанности и мерзкое «будьте здоровы», «приходите еще» — весь этот бред был выброшен мною из сознания, вместе с брошенным братом, вместе с ненавистью к рабской покорности матери и живыми людьми, нанизанными на мой нож в переломке между Лермонтова и Центральной. Осталась только дорога. Странный человек, возникший на этой дороге, просто путался у меня под ногами — он словно почувствовал во мне что-то свое, личное, неоконченное, как чувствовал это я в чабанской сакле, пролив кипятка на стол незнакомым людям. То, что мы в последние дни сблизались, и само появление этих непонятных, невидимых уз было для меня каждый раз неожиданной новостью, запечатанным конвертом, подложенным под дверь спящему хозяину. И я уже не знал, радуюсь я или огорчаюсь, заведя Степного Беркута, — слишком много сил отнимало уже одно его появление, после очередного «прощай», перед самым моим носом.

Это было так часто, что я сбился со счета... Это произошло дважды... Этого не было никогда. Такова природа обмана. Но почему же я помню его лучше, чем самого себя? Тогда я уходил от чабанов, от сакли и калмыцкого чая, взяв Боцмана и спальный мешок, я уходил от Степного Беркута навсегда.

Он сидел на камне, на круглом, одиноком камне посреди горного плато, и смотрел на меня, прикрывшись рукою от солнца. И тропинка проходила у самых его ног. Он ждал меня, сидя на единственном заметном камне, и плато, словно мелкое блюдо, окружало его самого, его бороду и рюкзак, и его терпеливую готовность ждать меня до окончания мира.

Подходя, я посмотрел ему в глаза, сплюнул и прошел мимо. Он еще возился, надевая рюкзак, но язык его уже работал.

— Хорошие люди чабаны! Сколько нам провизии дали, у-у-у... Говорят, хорошему человеку не жалко. Полюбили мы тебя, Степной Беркут, только не верим, что церкви без гвоздей рубил...

Он догнал меня.

— Ты тоже не веришь, Мурад?

Я пожал плечами и прибавил шагу.

— Вот они и говорят: нельзя такую махину между небом и землей воздвигнуть, и чтобы злого гвоздя не забить!.. А ты говоришь, отупели! Вот тебе и барашки!

Я остановился:

— Слушай, отстань, а?..

— А ведь рубил, рубил Степной Беркут, — сказал он, завороченно на меня глядя, — вся станица любовалась...

Я присвистнул и покрутил пальцем у виска. Пошел дальше, совсем уже обозленный.

— А чабаны хитро так улыбнулись: «А сруби-ка нам, мастер, мечеть из дерева. Молиться нам в горах негде».

Я даже подпрыгнул.

— Ты знаешь, с чем ты шутишь? — говорю. — За такие слова убивают, дурак. Бычина такая, а языком болтает, будто пять лет человеку! Ты же жираф, телеграфным столбом работай! Тебе что, идти больше негде? Оставь меня!

Он посмотрел так внимательно и говорит:

— Слишком многих бросил, чтобы с тобой остаться.

— Вот врун! — говорю я и ухожу от него. И опять лицо дергается.

— А что, Мурад, не бросил младшего брата? — он мне в спину кричит.

Ухожу я, мало ли что он проревел с досады.

— За руку хватал! «Мурад, останься, я тебе велик дам!»

Я остановился там, где был. Повернулся, смотрю на человека, ничего не понимаю. Что за лицо? Кто это? Чья это борода?

— Откуда ты знаешь? Про велик?

Он улыбнулся, довольно так. Добился своего.

— Ты забыл, какой глаз у Беркута. Все видит.

Я сел на землю и заплакал. Он подошел ко мне, по голове погладил. Но все в мире было не так. Это он думал, что гладил, а я не чувствовал его руки.

— Что ты такой дурак? — спросил я, закрывшись ладонями.

Он засмеялся негромко. Поглаживать продолжал. Я вспыхнул, руку его схватил и отбросил.

— Откуда узнал, говори!! — завопил, как зверь просто.

— Ой ты, ночь крошечная, — он запричитал. — Да просто сказал и все! Сколько братьев Беркут бросил — знает, небось! Да по всей земле эти братья раскиданы! Оттого и говорливым стал Беркут, слишком часто прощался... Сколько у тебя? Один? Вот и молчи, герой!

— Лучше не зли меня, Беркут!

— Беркут не злит.

— Или тогда, что встал!

— Беркут ждет.

— Слушай! Еще одно слово!.. — крикнул я, доставая нож.

Беркут ничего больше не сказал. Это стоило ему большого труда, видно было по глазам его зачарованным. Он шел рядом со мной и смотрел, не отрываясь, как влюбленная дура. Наверное, хотел глазами заменить язык свой неукротимый.

Копилось, видно, в нем напряжение, потом поборол он его, и, когда мы вышли из блюдца, стал Беркут рассеян. Пошли по склону вверх, отдуваясь. На привал остановились, не сговариваясь, — просто вылезли на карниз и сели порознь, отвернувшись. Только Беркут исподтишка за мной подглядывал. Видел я это и ждал. И ничуть не удивился, когда встал он и зашел вперед, блестя глазами. Трудно удивляться, когда ты твердый от злости, как железо.

— Ладно! — говорит он, решительно и бесповоротно. — Ты думаешь, я — человек? Я — Степной Беркут, а это не руки, нет! Это крылья! Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебя обидел кто-то, сильно обидел, а ты взял и надулся, неважно, кто с тобой говорит — я, чабаны, или эти горы, — ты ходишь надутый, ты ползаешь по горам, как червяк! Это разве крылья? Мочалка!

Я выдернул свою руку из лап его. Он нагнулся тут же к лицу моему:

— Вот-вот-вот, сейчас, в глазах! Злость! У-у, как страшно!

— Пошел к черту! Не нравится — не смотри!

— Беркут все может, — говорит он тогда, выпрямляясь. — Беркут вытащит тебя из подвала. Горы! Мы с вами сидим в подвале!!! — кричит он. Кричит, други, и происходит удивительное: эхо подхватывает и раскатывает его мощный, хриплый голос, кидает по всем ушелям — выпускает в тираж, значит, и долго еще стоит в ушах этот крик.

«Горы! Мы с вами сидим в подвале!!!»

В подвале сидел Диргин-Дарганчу. И даже лежал, на такой высоте, что холодно внутри становилось. Солнце лупило в глаза, мешало наслаждаться чистотой неба. Пыль желтая на одежде, на лицах, на зубах скрипела. Желтая галька в изломе горы желтыми боками вонзалась в тела и формировала мягкость человеческую по своему образу и подобию. Лежали Мурад и Степной Беркут — голова к голове, ногами в разные стороны, как стрелки часов, и этим показывали, что времени у них — пропасть. Усталость перетекала из ног и плеч, и поясницы в злобную гальку, желтую от рождения, и какие-то слова говорились под величественной голубишной небесного колокола, тихого и спокойного.

— Беркут, а почему горы в подвале?

— Абуталиб сказал, твой земляк. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.

— Это про меня. Я ударил своего отца ножом.

— А твой отец ударил своего.

— Нет, он сирота. Отца моего отца убила милиция. После войны отряды милиционеров пришли в горы, чтобы разрушать аулы. Идите на равнину, переселяйтесь, говорили горцам, и взрывали их сабли динамитом. Когда горцы сказали: наши могилы здесь, мы никуда не пойдём, — менты взорвали кладбища. Старики и дети шли к морю много дней. От этого глаза у них, у всех, сумасшедшие. Мой отец — страшный человек. Я родился уже на глиняной равнине, где железная дорога и химические заводы. Каждое утро я видел их дым. Они дымят все время, без конца.

— Покажи твой нож.

— Зачем?

— Просто так.

— Держи.

— У меня был лучше.

— Давай, хвастайся. Расскажи, какие у Беркута были кинжалы, сколько народа через них погибло...

— Я бы всем сердцем, Мурад... Ты чувствуешь? На зубах скрипит. Здесь пыль особая. Особый сорт. Забивается в горло и душит насмерть, если совершь. До озера всего десять минут на реактивном самолете, хватит спать, труба! — Беркут вскакивает. — Они не убили всадника! Они не убили нас! Кишка тонка! Всадник не из тех, кто боится динамита!

— Зато ты боишься. Взрослый человек убежал в горы, почему?

— Беркут геолог. Это профессия, Мурад. Я ищу самоцветы.

— А я — Мурад. Это хобби. Ищу летающих свиней. Доходим до озера — и все, хватит, до свиданья!

— Да подожди ты, правда геолог!..

Я ухожу, а он опять меня догоняет, спускается по тропинке, большой человек без имени и фамилии, без про-

шлого, которое он может придумать какое угодно, и без будущего, которое само может быть каким угодно. И, спускаясь впереди, я замечаю, что мы похожи, мы просто ничем не отличаемся друг от друга, мы — один человек, разделенный в пространстве и времени: большой и маленький, молодой и не очень. Мы идем, и мир вокруг нас суетится, то похлопывая по плечу, то кидая в нас камнями, скрывая под словами мерзкую пустоту и с фальшивой улыбкой выспрашивая ближайшую дорогу к облакам.

Где ты был, Диргин-Дарганчу? Кем ты стал? Выше всех и всего находятся только звезды. Далекие звезды разрушают понятие о высоте. Под страной звезд находится страна облаков, а под нею — страна гор. Однажды в страну гор забрели две букашки, большая и малая. Они поднялись высоко, к спящему озеру, чтобы сделать у берега привал и отдохнуть — ведь это, порой, так нужно живой букашке Человеку. Все остальное уходит, теряется, исчезает. Главное — отдохнуть. Блажен умеющий отдыхать! Даже засыпая, он не теряет чувства пути, единого, великого Пути, и госпожа Случайность не имеет власти над его рассудком, пронизанным линией из бесконечности в бесконечность.

Так я думаю.

Озеро, к которому мы с Беркутом вышли, покоилось на дне гигантской чаши, высоко в горах. Это было знаменитое озеро, и к нему стекались сотни тропинок, и даже одна проезжая колея.

Внутри чаши мы увидели людей. Четыре человечка плескались у берега, и тут же поблескивали красной краской два мотоцикла «Ява», сваленные набок, обитые по седалищу рыжими собачьими шкурами.

Это был знак.

Настоящий горец не убьет собаку, не осквернит снятой шкурой собаки своего скакуна. Там, внизу, плескались, бегали, очевидно, пили водку люди с глиняной равнины.

— Кажары, — сказал я стоящему рядом Беркуту. — Это кажары, с равнины. Черные люди, они сходят с ума, не иди туда, Беркут.

Мне показалось, что он не слышит меня. Беркут стоял и смотрел. Котловина лежала перед нами как на ладони.

— Я знаю таких, — продолжал я. — Эти люди с пальцем откусят и руку, и голову.

Беркут посмотрел на меня, а я на него. Был он хмур и глядел неприязненно. Его что-то раздражало, и я подумал, что неприязнь относится ко мне, к моим словам.

— Они тоже чьи-то младшие братья, — сказал Беркут сурово. — Они тоже хватили за руку и кричали: «Не уходи!» Но старшие их бросили. Значит, и мы виноваты перед ними не меньше, и должны искупить свою вину. Прямо сейчас, не откладывая, не прибегая к спасительной трусости.

Говорит он это и, сверкнув глазами, кивает на кажаров. У меня холодок пробегает по спине. С такими мыслями лучше не спускаться тебе, думаю, к озеру. Но его разве удержишь! Сказал он это все и пошел вниз, уверенный в своей правоте. А я уже чувствую, чем эта встреча кончится. Гордый он слишком, Степной Беркут, даже без вины виноватый, слишком щепетилен и прям. Это ведь кажары, от них языком не отделаешься. По части языка они сами сто очков форы дадут.

Смотрю я на Степного Беркута во все глаза и спускаюсь следом, медленно, как та черепаха, несущая его сердце в

ладонях и думаю только о нем. Чего тебе дался, Мурад, этот человек? Пусть он единственный Степной Беркут, ваши пути расходятся, все происходит само собой. Отец бьет маму, на кухне лежит нож, горы скрывают всадника. Ты не делал ничего сам, все происходило, как в течении реки, ты не сомневался, Мурад, и тебя вынесло в море. Зачем же тебе идти за ним? Потому, что он накормил тебя, вытащил с обрыва?

Живой мертвец, твоя жизнь принадлежит ему, но он — безумец, нет ничего страшного в том, что ты бросишь его сейчас. Это будет естественно, если ты замедлишь шаг. Почему же ты идешь, как собачка? Почему эти две ноги шагают, ответь, всадник? Я не разделяю его мыслей! Я иду к тебе, чистый всадник с молнией в руках!

Я, Мурад, иду и больше не думаю, я несущу два стучащих сердца в ладонях и нащупываю в кармане нож. Волны в голове перемешиваются и теряют смысл. Страх проглочен весь, теперь Страх всего лишь шестеренка огромной, пульсирующей машины. Я вижу, как Беркута окружают молодые парни с горящими глазами, четверо парней.

Это мы — две букашки у озера, в горной стране, это к нам подходят четверо веселых хозяев всего сущего — и гор, и равнины, и неба, и чужих жизней. Я плохо разбираю, что они кричат друг другу, это, кажется, по-аварски. Я вижу движение, суматоху впереди и могу сосчитать до пятнадцати от одного удара сердца до другого. Я вижу только, что Беркут скручивает одного из подошедших, быстро выворачивает ему руку и сажает на землю. Хотели его испугать! Человека с его хваткой и зрением! Все не так скверно, Мурад! О чем они говорят? Стаканы, они предлагают выпить. Младшие Братья. Тот, которого Беркут посадил, смеется громче других.

— Ты не русский, — слышу я его голос. — А это кто? — спрашивает он и смотрит на меня. Вперился, чернокопый.

— Братишка. Брат мой младший, — привычно врет Степной Беркут.

— Что-то он на тебя не похож, — говорит этот гусь кажарский и улыбается, зубы скалит.

— Ты тоже на меня не похож, — возражает Беркут. Он спокоен, как слон, или кажется таким. А кажар вспыхивает, воспламеняется сухой газетой:

— Ты хотел, чтобы я на тебя был похожим? — Он оборачивается к своим с усмешкой, а глаза у него безумные, другие, сумасшедшие и дикие. Никогда не знаешь, что такой человек сделает через секунду.

— Все мы люди, — пожимает плечами Беркут.

А равнинный горец только смеется:

— Ты не русский.

— Я — русский, — спокойно возражает Беркут.

— Ты не похож на русского, — горячится парень.

— Почему же?

— Русские так не могут говорить. Клянусь валлах саги, ты аварец!

— Я русский!

Кажар хохочет, хлопнув Беркута по плечу, будто радуется за него.

— Нет, брат, — говорит он, успокоившись. В руке его появляется нож. — Ты не русский. Хохол никогда не посадит Газиява на землю!

— Посадил же, — говорит Беркут и улыбается, бледный, как привидение, как молоко, как бумага хорошего качества, и даже сквозь бороду видно.

Эта сволочь, назвавшая себя Газиявом, огненный малый, горячая кровь, толкает Беркута свободной рукой, и трое кажаров набрасываются на великана, возятся, стараются удержать. Газияв только однажды прижимается к Беркуту, в момент его беспомощности, потом все они отлетают, Беркут расшвыривает эту глину, словно медведь собаку. Я кричу и бегаю с ножом, как дурак, никого ударить не могу. Боцман тоже бесится — зверь, а не собака, все зубы наружу, разве что пламенем не пышет. Что этим орлам оставалось, как только бесславно удрать, отмахиваясь от Боцмана и поддерживая разодранные штаны? Завели они свои «явы» — в мгновение ока — и со свистом, криками, визгом нечеловеческим унеслись вон из чаши. Я к Беркуту поворачиваюсь, а он ходит и тряпки поднимает с камней — кажары рюкзак его рассыпали. Поднимает, а сам шатается; за бок держится, за левый, и пальцы его краснеют, други, поднимает он какую-то тряпку и сам падает. Только после этого я в себя прихожу и понимаю, как называется мой столбняк. Отвращение. Отвращение к нему, к этому нелепому человеку, который ворует чужие сердца и бросает на камни. Шагаю к нему, нож в руке сжимаю, твердую рукоятку.

Вижу, глаза у него закрыты, лежит и говорит что-то неслышно, будто молится. Губы шевелятся, борода. Подхожу, нависаю над ним. Веки его поднимаются, и мир сиротеет — ничего, кроме этих двух глаз, не остается в нем.

— И вот так вся жизнь, — говорит Степной Беркут. Зачем рассказывать пустыми словами об этом его взгляде, я и не знаю. Внутри себя заглянул человек, но глазами не своими, а чужими, далекими, — увидел себя глазами всадника, — и страшно ему стало и смешно. А сказал — будто черту прочертил, еще один горизонт, настоящий. И я прочерчу, дополню мир. Прости меня, Ибрашка, если сможешь. Я вернусь за тобой, обязательно. Только не сдавайся, и ты тоже увидишь. Этому надо научиться: сквозь непогоду видеть, как среди ветра и туч скачет всадник с молнией в руках.

Наверное, я был несправедлив к Беркуту. С Мурадом или без Мурада, его знали и любили многие люди. Несмотря ни на что, он оставался настоящим Степным Беркутом, таким же, как всадник, и для него тоже не существовало времени — вчера, сегодня, завтра — что эта шелуха для Беркутов? Он всегда оставался тем, кем умел и единственно мог оставаться: добрым и сильным героем, капризным и вредным, мягким и смешным, сумасшедшим, осознавшим свое сумасшествие. Недаром же и в наших краях стали появляться эти легенды о нем: как он завязал узлом трамвайный рельс и вонзил в самом высоком месте Чиркейского перевала, и не один чабан видел своими глазами этот рельс, уходя в дальние села. Или — что носил кожаные чарыки на ногах в полметра длины, или — как спасал мальчика от кровной мести и обошел половину Дагестана, не выпуская из рук заряженную винтовку. Я слышал эти басни много позже и долго потом смеялся. Вот как живое становится камнем. Все, достойное слуха, горцы приукрашивают и оставляют на аульском годекане на долгие годы. Может быть, я ошибаюсь, но тот Степной Беркут, которого знал и видел я, был не очень смелым, и даже очень мягким и слабым существом.

Первым делом я отнял у него рюкзак и разворошил до конца. Достал потертый кожаный мешочек с красным крестом на боку и сбегал к озеру за водой.

— Костер бы разжечь, — сказал тоскливо Беркут и

разделся до пояса, покрываясь гусиной кожей. А ведь было не очень холодно... Вру. Просто я не раздевался. Но и неженка он был порядочный. Как он прикасался к своей ране! Не знаю, я не чувствую, когда порежусь, может, я особенный какой? Обработал, значит, рану, остановил кровь. «Под ребрами, — говорит, — прошло. Выдали мне опять небесную индугенцию малой кровью». А тело его, други, все шрамами покрыто, будто трактор по нему проезжал. Глубоких немного, а в основном какая-то рябь по животу идет, на огромной грудной клетке рассыпается. Пока я пальцем не коснулся, он и не замечал, какими глазами я его разглядываю.

— А-а, — он даже засмеялся. — Богатое воображение у этого художника?.. Ты не смотри так, а то Беркут себя картиной чувствует.

— Откуда столько? — спрашиваю.

— Есть, Мурадик, такие люди... — он говорит, и второй бинт наматывает, словно пояс. — Люди, значит... мир они хотят лучше сделать, понимаешь? А у них не получается, только хуже всем становится. Старшие братья их по голове лупят и бросают, а государство сгоняет в одном месте, чтобы снова жизни учить, как маленьких. Колония называется, общего режима. — Он усмехнулся, от боли сморщившись. — Ну так вот, отпускали грехи Степному Беркуту и, конечно, младшие братья. Большой ты, говорят, широкий. Положим тебя на колочую проволоку, чтобы бежать сподручней было. А это я их подбил, бежать-то... Плохо мне что-то, Мурад... Ой, как плохо...

— Лежи! — я ему говорю и оборачиваюсь. А Боцман, дурак, за мотоциклами побежал. Возвращается ни с чем, понурившись.

— Я говорил тебе, это кажары, они слов не понимают. Плевать им на твои порывы, — говорю я со злостью, не глядя на Беркута. Противно мне, но говорю все-таки. — И мой отец такой же, только старый. Каменное тело и глиняные мозги. Из ушей рельсы торчат, и сиденья делают с собачьей шерстью, ты видел? Я знаю, как они собак режут, гады!.. Слушай меня, Боцман!

— Мурад, не надо, — говорит Беркут.

— Шагуй не сделаем, пока ты не вернешься, — обещаю я. — Беги к чабанам, где мы шли, только на тебя надежды, ты видишь? Тащи их сюда, как можешь быстро, при тащи их зубами. Боцман, брат, дружище! — Я обнимаю его, а потом отталкиваю. — Ну или, я тебя прошу! Видишь, что с Беркутом! Ты видишь!! — я стал кричать. Боцман ушел и хвост поджал, глаза прячет и с места не двигается. Беркут смеется.

— Его не обманешь, — говорит. — А как же горы, Мурад? Самые дальние?

И подкатывает мне комок к горлу, такой огромный, что в глазах темнеет.

— Никуда мы не пойдем, — я говорю.

— А всадник? — еще один дурацкий вопрос.

— Нет никакого всадника, — говорю я в темноте, чужим голосом.

— Он появляется в бурю и непогоду, — слышу я голос Беркута, — и в руке его сверкает молния.

— Я прочитал это в книжке, — кричу я, вернее, думаю, что кричу, а на самом деле говорю еле слышно. — Я не знал тогда, что книги все врут, как и взрослые вруны, которые их написали.

— А там, где он проскакал, геологи находят чистые, как слезы, самоцветы, — говорит Беркут, — красные, зеленые, синие...

Больше я не могу быть один. В темноте я тыкаюсь в Степного Беркута и обнимаю его. Прижимаюсь с какой-то силой страшной.

— Мы придем к нему вместе, — говорит Беркут, — и он скажет нам: «Здравствуйте».

Так мы и сидим, обнявшись, и думаем о Нем, каким Он будет. Потом комок переходит в мою грудь и опять превращается в ежа — ядовитого, противного ежа с отравленными иглами. Я отрываюсь от Беркута и говорю тихо — думаю, что тихо, а на самом деле почти кричу:

— Нет никакого всадника. Я пойду с тобой, Беркут, куда хочешь. Знаешь, какой я сильный? Меня в четвертом классе профессором называли, за голову — Мурад быстрее всех задачи решал. По математике. Мы везде пройдем, где угодно, а кушать я остану. Не одними же барашками питаются! Я груши тебе дам попробовать, дикие. Мы через всю землю пройдем!.. Да, Беркут?..

А Беркут лег пока я говорил и глаза прикрыл ладонью. Лежит он так, потом ладонь убирает и смотрит в небо. И глаза у него чужие, и говорит так, будто сам с собой, даже страшно становится.

— Что Степной Беркут может дать Мураду? — говорит он и сглатывает, так, что кадык под кожей двигается. — Он всего лишь бродяга, он никто, перекасти-поле, чудак, немножко гордости и пыль, степная пылюка...

— Не надо, — говорю я ему.

— Была, была любовь, — не слышит меня Беркут, — и где она? Друзья... исчезли те друзья. Душа у меня какая-то... с дефектом.

— Не надо, Беркут, — прошу я, не в себе уже.

— А потом — тюрьмы, лагеря, за то, что извел со света нехорошего человека. Спутники неприкаянных! Пыль, желтая пыль, к ногам приставучая. Видишь и к тебе пристала.

— Не пристала! Не пристала! — я кричу. А он не умолкает, говорит в небо этим проклятым, чужим голосом:

— Как только люди полюбят Степного Беркута, он бросает их и уходит. Не зря его порезали, скотину, воткнули железку в его жирный бок: останись, обманщик! Что-то перегорает у меня внутри.

— Ты мне надоел, — говорю я Беркуту и иду прочь. К озеру иду, утопиться и не всплывать. Лежать на дне и спать, спать, сомкнув веки...

Открыв рот, чтобы вплывали внутрь маленькие рыбки...

— Ну вот! Это другой разговор! — кричит мне в спину Степной Беркут. — Раз — и все! Ты мне надоел! Это понашему!

Не знаю, может, я и улыбнулся тогда. Топиться, однако, как будто расхотелось.

Когда я вернулся от озера, Боцмана нигде не было видно. Послушал все-таки. Знает, что надо, только не любит, когда в глаза ему кричат. Видел он командиров на своем веку.

В ожидании чабанов я собрал крохотный костерчик из каких-то сухих, колючих кустиков, что росли на дальнем берегу, вместе мы соорудили обед, а затем и ужин. Вечером Беркуту стало хуже. «Это заражение крови, Мурад, — сказал он. — Видно, Господь решил отпустить все грехи Степному Беркуту».

Когда стемнело, Беркут сделался безумен: пел какие-то песни, смеялся. Лоб его был горячим и мокрым.

Костер потух, я поил Беркута едва теплым чаем, когда он перестал смеяться и попытался встать.

— Не становись бродягой, — сказал он мне, когда понял, что ничего не выходит. — Видишь, как бродяга заканчивает свой век? Мне стыдно! Перед тобой стыдно!.. Степной Беркут... Мальчик, не бросай родителей! Не бросай! Ты видишь? Как собака и встать не могу. Случайная встреча, случайные слова... Все случайное, все! Стыдно мне... Ой, как стыдно...

Виху, забывается он. Сажу я над ним в темноте, один в этой котловине холодной, и кричу ему, дураку, чтобы не забывался.

— Ты не умрешь! Не умрешь, зараза, я точно тебе говорю! У тебя же хватка!

А он бормочет что-то. Прислушался я, замер.

— Дитина рук не тянет, — бормочет Беркут. — И песни его спета.

— Предатель! — я ему кричу и камни бью кулаками. — Предатель! Вот ты как! Трус!

Он оживает немного. Смотрит на меня:

— Холодно. Беркут озяб.

Я смеюсь над его дуростью многолетней, и слезы глотаю, и бегу за тряпками, за одеялом. Тащу мешок и палатку. Бегу и знаю, что большой я, точно знаю, что большой, и от меня что-то зависит в этой жизни — странной, страшной, мерзкой и все-таки удивительной.

Утром я проснулся от шума, с которым Беркут натирал алюминиевую тарелку. Натирал он ее до блеска и непрерывно что-то говорил, выбравшись из спального мешка, в который, как выяснилось, он прекрасно вмещался. Я же закоченел, задубел, как копченая грудинка, и пока вставал, скидывал с себя капустные одежки — такой холмик из тряпок, который за ночь на мне образовался.

— Как тебе холодно? — спрашивает Беркут, обняв с тарелкой, и отвечает за нее, хрипло: — Колотун что надо! Видишь, как скрючилось все живое в бублики и баранки! А вот и Мурад проснулся, глазки опухшие, мордаха заплакана, не хочет в холодной воде умываться!

— Сам ты заплаканный, — говорю я. — Ревел вчера, как корова. «И спета его песня...»

Беркут смеется.

— Темно было, — говорит. — Я и не разобрал, куда меня ударили. Только ночью, как осенило, вспотел я от пяток до макушки — так пробрало! В запасное ребро! Забыл про него, стареешь, бродяга, думаю. В запасное ребро меня ранили, а это все равно, что палец поцарапать, даже еще меньше! А ты и поверил! Ты не умрешь! Беркут, родной!

Я швырнул в него брезентовую куртку. Поймал он ее, развернул и стал надевать. Его куртка оказалась. Смотрю я, чем потяжелее кинуть.

— Боцман заблудился в горах и исчез, чабанов нет и не будет, чего не скажешь о нашем завтраке. Он готов, Мурад! — восклицает Беркут дурашливо. — Вода в озере плюс четыре по Цельсию, и она жаждет встретиться с твоей мордахой...

— Ты давно проснулся? — я его спрашиваю, а сам глаза продираю. — У тебя с головой не того?..

— А кто сказал, что я спал? — переспрашивает этот Нахал Нахалович. — Лежу я, братишка, в мешочке и думаю: не-е-ет! Несподручно в такой колотун помирать будет. Да и как это можно? Вот потеплеет, птицы вернутся, тогда, может быть...

— А-а, иди ты к черту! — говорю я ему и к озеру спускаюсь. А он по своей привычке в спину кричит:

— Ага! Национальная свирепость проснулась в сыне гор! Кажар, он был сыном кажара! Беркут еще подумает, брать с собой Мурада или не брать. Ты как думаешь? — спрашивает у тарелки.

— Беркута мало порезали, — говорю я ему.

— На этот раз да, — смиряется он с очевидным фактом. И умолкает, и грустит о чем-то, глядя в тарелку, пока я умываюсь.

Но уже через пять минут, за завтраком, начинается странное. Веселость с него спадает, и в какую-то причудливую лазейку проглядывает гримаса — дикое, испуганное лицо с нарисованной улыбкой и следами поцелуев двух сестренек, чьи имена — Боль и Смерть.

— На, возьми, побольше... нет, возьми, эта половина больше! — говорит он мне и сует свой кусок лепешки.

— Они одинаковые. Ты что, Беркут?

— Это ты видишь одинаковые! А я сразу заметил — одна больше, и слюни пустил, представил, какая она вкусная! Я даже делил — одна больше, другая меньше — от жадности. Руки не слушаются. Потом буду следить за каждым куском, по рукам тебя бить и кричать, что сам голоден. Измучаю тебя, а потом в одну ночь все до крошки сожру, чтобы тебе не досталось. Тогда стыд, настоящие муки совести. Знаешь, чем это кончится? Придушу Мурада в спальном мешке, чтобы избавиться от наваждения.

— Да ты сам большой, Беркут, тебе и половинка большая!

— Вот-вот, я знал, что ты скажешь так! Моя жадность все рассчитала, на десять ходов вперед! Ешь, Мурад, ешь не спеша свою половину! А лучше обе половины съешь!

Я только смотрю на него, рот открыл.

— Хозяин — барин, — говорю.

И поест он толком не поел. Раскрошил, разбросал и сам рассердился. Отнял у меня посуду.

— Я все вымою, — говорит. — Хотя это нехорошо, мыло в такую воду сливать. Прямо скажем — свинство это и гадство! И я — свинья, гнусный вредитель! Хочу, чтобы ты это знал! Свинья!

— Все мы свиньи, — пытаюсь я его успокоить.

— А рыбы в чем виноваты? — спрашивает он, шагая к озеру.

Сижу я, глазами хлопаю и даже вздрагиваю, когда новый вопль доносится:

— Что же грязными руками ложку мою? Я же в нечистотах копался! Вчера!

— Помой руки!

— Помыл, с мылом, а все равно как будто грязные. Помню, что десять процентов микробов не смываются. Заражу тебя дизентерией или сифилисом, заболит живот, тело язвами покроется. И все из-за какой-то ложки для супа!.. Давай ее выбросим?

— У нас нет другой.

— Ну и черт с ней! Из-за моей дурости ты не умрешь! И ложка летит в озеро.

Вы знаете, наверно, что такое Страх. Вы видели, как уничтожает человека принесенный и положенный ему в руки липкий комок Страх. Вы знаете страшных людей, которые опасней крокодилов и шакалов только потому, что они, как сосуд с ногами, могут принести в вашу жизнь Страх. Облачко безумия наполнит голосовые связки дрожью, а живот — сосущими червяками, и разум будет лихорадочно метаться в клетке тела, в адреналиновой ван-

не, в горящей коробке головы, презирав свой дом и ненавидя сосуд — Человека, Носящего Зло.

Завтра в двери вашей души постучит чья-то рука. Завтра никто не сможет вам помочь. Завтра, сегодня, вчера страшную пробу берет, выдирая с кожей кусочки сердца, печени, легких, рассекая влажные полости губ и нежные, укромные уголки повседневности — грубо, в кровь, эта рука. Завтра...

Этого человека в моем маленьком городе и вокруг города, и даже в горах люди знают под именем Шапи. «Шапи-милиционер», «Шапи-участковый», «толстый Шапи», «наш Шапи», но чаще всего уважительное «дядя Шапи». Он появился на нашей стоянке у озера — спокойный и неторопливый, прикатил естественно и неотвратимо, своим ходом, с двумя чабанами и Бодманом, который и не подозревал, кого привел. Действительно толстый, с круглыми, немигающими глазами, выпученными прямо в наши души, дядя Шапи был нетороплив, как бегемот, переваливающийся в своем теплом болоте в жаркую, африканскую погоду.

— Салам алейкум, — сказали чабаны, — мир вам.

— Воалейкум ассалам, — ответил я им: и вам мир, значит. А дядя Шапи, он нет, он знал, что такое город — подошел, отдуваясь, и за руку с нами поздоровался, со мной и Беркутом.

— Вы ранены? — спросил он Беркута.

— Наповал, — ответил Беркут.

Дядя Шапи смотрел на него без улыбки.

— Я нашел вас по личной просьбе прокурора района, — сказал он, как всегда не моргая. И, повернувшись к чабанам, добавил просто:

— Что там у вас, доставайте... Будем сидеть сколько надо, чтобы живот согласился на обратную дорогу.

Завтрак, который раскладывают чабаны, еще дымится.

— Мы только что поели, дядя Шапи, — говорю я.

— Иди, садись! — говорит и смотрит мне в душу дядя Шапи. — У меня кусок в горло не полезет, если вы будете сидеть и смотреть.

Вшестером, считая Бодмана, мы рассаживаемся вокруг одеяла и едим в полном молчании. По закону старшинства, первое слово за дядей Шапи, а он не торопится, поглощает нежное мясо той самой овцы, которой я вчера перепиливал горло.

— Я заберу мальчика, — говорит он, наконец, и берет толстыми руками полотенце. — Поедешь со мной, Мурад, соберайся.

Я не знаю, куда и зачем забирает меня дядя Шапи, но Страх уже пляшет внутри самыми дикими телодвижениями и фигурами: заберет, заберет тебя толстый Шапи, ты знаешь, что заберет, и Беркут твой знает, и все, что вам осталось, — это только брыкаться и страдать, обгорелые дети гор.

— Я не поеду, дядя Шапи, — говорю я, вставая медленно-медленно. — Я лучше уберу.

Он смотрит на меня не моргая. Совсем недолго смотрит, и взгляд у него какой-то сонный.

— Сначала сядь, покушай, потом побежишь, — говорит он мне.

И словно фокус какой-то происходит — так же медленно ноги начинают меня вниз опускать, на место.

— Я мог бы взять его под свою ответственность, — слышу я голос Беркута, нарушающий тишину, бесконечно далекий, человеческий голос. — Я руководитель геоло-

гической партии. Мое имя Михаил Воронин. Я имею право приема и зачисления в экспедицию, и нам действительно нужен подручный рабочий. То, что я один, лишь трудности снабжения. У Аварской койсу меня ждут два человека, Александр и Марина Евстигнеевы, лучшая на Кавказе геологическая партия...

— Вы не имеете права придумывать человеку судьбу, — перебивает Беркута дядя Шапи. — Вы сами человек, у которого земля под ногами ходит ходуном. Жизнь разрушит ваши благие намерения. Открыто, днем зарезали двух подростков, один из которых умер. — Дядя Шапи смотрит на меня. — Мухух еще два дня пролежал в больнице, Мурад. Ты разрезал ему живот и легкие. Он выкрикивал твое имя в больнице, и кровь шла у него изо рта... Это произошло в маленьком городе, на глазах у всех. — Дядя Шапи переносит свой свинцовый взгляд на Беркута. — В наших местах у людей очень длинные языки. Брат убитого подростка — молодой рецидивист Алис Ахунов. В день смерти он поклялся отомстить убийце. Мурад бежал в горы — об этом знает весь Чирчюрт, говорят в районе и шепчется половина Дагестана. Я нашел вас первым, потому что обогнал всех. У горцев цепкий глаз, и не все они сочувствуют убийце, даже если ему двенадцать лет. Я говорю вам, что будет новая кровь. Прокурор пригласил меня и сказал: «Шапи, сам приведи Мурада». Тебя ждет следствие и суд, Мурадик. Все знают, что в городе у тебя мама, отец и брат, уже ради их спокойствия я приведу тебя обратно. — Дядя Шапи смотрит на меня и качает головой. — Я не отпускаю тебя к геологам. Больше тебе нечего бояться, Мурад, все кончилось! Собирайся!

— Стойте! — говорит Беркут и хватается за руку Шапи за руку, саживает его силой. — Вы не нашли нас! Мы потерялись в горах, на границе с Грузией!

— Только вам кажется, что это выход, — говорит ему дядя Шапи. — Вы чужой человек, ничего не понимаете в нашем болоте. Ваша работа — искать камни, вы геолог, а не судья и не Всевышний. Ищите камни! Если Мурад потерется на границе с Грузией, тогда придет вертолет — я обещаю! — снимет геологическую партию, и перед судом предстанет ее руководитель. Укрывательство преступника, неподчинение власти и все прежние ваши заслуги.

Дядя Шапи встает:

— Какие у тебя вещи, Мурад?

— Ничего нет, — шевелю я губами. — Боцман.

— Хорошо, — говорит дядя Шапи и вытирает губы, руки, толстые пальцы от жира. — Мы пойдем. Баркала этому столу. Что значит барашка зажарить на открытом воздухе!

Чабаны кивают головами. Согласны, подтверждаем, как бы говорят они, святая правда твои слова, Шапи.

И он забирает меня в свою страну, полную тревоги и Страх, и сонных глаз, и пьяных кажаров, этот человек-сосуд, темный и недоступный, открытый и холодный, точный и безжалостный. Человек, который словно родился прислужником традиций, все равно каких, и традиции сделали его тяжелым и настоящим, как каток. Он знал все наперед и всему определял место и цену.

Страна его ужасна, я был уже в ней и бежал, и возвращение будет подобно пытке.

Еще одно испытание, всадник?

Но я же умру там, превращусь в обрезанного Манаса, в недоношенную крысу из малолетки.

И никогда тебя не увижу.

Еще одно испытание, всадник?

В чем оно заключается? В смерти? Ты молчишь! Ответ своему маленькому адепту. Последняя яма оказалась слишком глубокой, она похожа на пропасть, в которой разбиваются люди. Приспосабливаться к мирку за колючей проволокой, выживать и становиться частью его. Бездна, падение в которую равнозначно разрушению.

Еще одно испытание, всадник?

Я не смотрел больше на Степного Беркута, я не хотел его видеть. Подхватив сумку, я пошел обратно, прочь от озера. Я даже не позвал Боцмана — волкодав сам догнал меня и стал тыкаться в ноги. Я слышал, как за спиной дядя Шапи прикрикивал на чабанов, как они шуршали ногами по камням, шагая за мной. Сначала я шел неровно, голова у меня тряслась на плечах, приходилось держать ее все время прямо на шее. Потом я как-то быстро устал и уже просто ковылял по пройденным местам, стараясь не смотреть на горы. Мы шли гуськом, и скалы вокруг стояли, как огромные, насмешливые предатели. Каждый поворот смеялся надо мной, каменные пальцы указывали, каменные губы растягивались в улыбках, и я опускал голову все ниже и ниже.

Горы давили на меня, как пирамиды, никчемные и ненужные образования, застывшая картина разрушения планетной кожи. Везде, где мы шли, я уже был — но тогда я шел к всаднику бок о бок со Степным Беркутом и был свободен.

Пустая коробка, которую выбрасывают, достав содержимое, старый бинт с засохшей кровью, переставление ног в пустоте — вот чем оказался этот обратный путь. Мы прошли почти все, на что нужно реактивному самолету десять секунд полета, мы прошли еще столько же и приблизились к стоянке чабанов. Когда я вышел на знакомое огромное плато, похожее на блюдце, сердце во мне забило со страшной силой. Я пригляделся, и толчками — все громче и сильнее — из груди моей стал вырываться смех. Дядя Шапи подошел со спины, глядя так же пристально. Я хохотал. Чабаны не могли разделить наши чувства, они безнадежно отстали, переговариваясь друг с другом, такие же унылые, как и я две минуты назад.

На камне, все так же лежащем посреди плато, на круглом валуне, который один выделялся в центре блюдца, на нем сидел человек в брезентовой куртке и прикрывался рукой от солнца.

Не может быть, чтобы в горах, у одного и того же перевала оказались два таких одинаково больших человека с русой бородой и всклокоченными волосами. Не может быть, чтобы у кого-то еще возникла потребность взобраться на этот дурацкий камень и дожидаться психованного мальчишку...

Степной Беркут лениво подбирает ноги и подпрыгивает на корточках, разминая конечности.

Я зашагиваю внутрь блюдца, и следом за мной, со свинцом во взгляде, медленно идет дядя Шапи.

— Что он делает? — не выдерживает дядя Шапи за моей спиной.

— Проверяет крылья, — сжимаюсь я над ним.

Наблюдение за взрослым человеком, подпрыгивающим на корточках и машущим руками, действительно, вызывает некоторые спазмы в организме. Но я вижу другое. Спрыгнув с камня, Степной Беркут раскидывает крылья во всю ширь и, мощно работая мускулами, взмывает вверх. Он фиксирует оперение и начинает парить, курсировать, словно стратегический бомбардировщик, занятый поис-

Дядя Шапи останавливается и произносит магическое заклинание, удерживающее его на земле. «Шайтаны», — говорит дядя Шапи. Он стоит, враз осунувшийся и помрачневший, и смотрит, как два горных шмеля-бомбардировщика заходят в двойное пики.

Делают двойную бочку.

Самое замечательное качество в человеке — его Независимость. Самое прекрасное слово, которое я знаю, — это Свобода. Настоящая жизнь напоминает восхождение по отвесной скале, где остановка вызывает еще большую усталость в пальцах и в носках напряженных ног. Говорят, что воины древности могли спать, повиснув на скале. Вот оно, отличие искусства от жизни! Жизнь требует непрерывного восхождения, изменения, перестановки и распределения сил. Только вверх, против притяжения, в страну облаков и далеких звезд! Не быть во имя чего-то, а БЫТЬ.

Вершина имела скошенную площадку, мы прошли к самому высокому краю, холодея от величия картины мира. Вид, открывшийся, хлынувший, как волна к ногам, не просто захватил все дыхание. Самое внутреннее, недоступное и нежное, что скрывалось в темной оболочке Мурада, оказалось вовлеченным в процесс созерцания огромного пейзажа мироздания. Все прочие горы как-то сразу отделились и уменьшились в размерах, наша вершина оказалась действительно Нашей — единственной и самой великой.

«Я же говорил», — так кричу я, и среди черных, клубящихся туч, покрывших небо и запутавшихся в скалах — там, ближе к равнине, — польхают яркие, белые стрелы. Молнии! Раскаты грома, словно поэмка далеких лавин несется к нам, становится с каждой секундой все громче.

— Да. Это Он.

— Конечно, придумаем, — говорит Беркут. — Мы все можем. И всегда могли, только не знали об этом.

— Придумаем и с отцом, — говорит Беркут. — Только вспомни, какая у меня хватка.

— Что? — кричит Беркут. И слышно его крик еле-еле. Пока я говорил, небесный барабан лопнул где-то совсем рядом. Все утонуло в грохоте. В небе сверкнуло, темнота накатила на ультрамарин, как гигантский коток, и в наши распаренные тела и души хлынул ветер с дождем.

— Нож! — кричит мне Беркут. Во мне тут же нарастает что-то мгновенное, темное...

— Нож выброси! — кричит он, сделав большие глаза и махнув головой.

— Сейчас он будет здесь, — кричит Беркут. Молнии полыхают почти над нами. Я отхожу от обрыва, делаю вдох и кричу, сложив ладони рупором:

— Вса-а-адни-и-ик!!!

— Берку-уг! — зову я, руки мои отбрасывает от Беркута сила молнии. Сквозь ладони и подошвы ног пробивает током, так, что мир в глазах исчезает, скрытый тьмой, и я чувствую только, что отлетаю, кувыркаюсь, падаю, как игрушка природы. Поднявшись, я снова бросаюсь к Беркуту, даже рычу немощно.

— Беркут!!

Поднимаю его голову, большую, русоволосую голову и трясусь, как кочан капусты. Степной Беркут открывает сначала один глаз, потом другой — представляете, под-

лец? — а потом негромко смеется, осторожно так и медленно. Смеюсь и я, и вытираю воду с лица, которое сразу чесаться стало, зараза, и Бодман — я просто знаю — где-то внизу, далеко-далеко от нас, смеется по-своему, по-собачьи, опустив вздыбившуюся было шерсть.

— Я видел его, — говорит Беркут, глядя куда-то в небо.

Я смотрю на него во все глаза.

— Правда?! Он сказал?!

Беркут вновь смеется, кивает головой. Я уже не знаю, врет он или нет, я прижимаюсь к нему, к груди, изо всей силы, и сжимаю веки, чтобы не плакать. Беркут трогает мою голову — раз, другой.

— Беркут полегит еще... Полегит... Слушай, Мурад. У Аварской койсу Санька и Маринка его ждут. Двадцать километров, не больше. Ты дойдешь... Все ищут, ищут самоцветы, в ладонях вертят, а когда не находят, варят себе гречневую кашу. Никуда просто без гречневой каши, даже в вулкан с гречневой кашей спускались. Такие они, Санька и Маринка, серьезные. И чайник у них на огне, и одежда сухая, а Беркута все нет и нет... Ждут они Беркута... Ждут...

Я голову поднимаю:

— А меня?

— И тебя ждут, а как же... Санька и Маринка, и Мурад, красиво... черт...

— Что с тобой, Беркут?

Беркут делает вдох, выгибаясь, глазные яблоки его становятся неподвижными. Я трясусь его, а у самого в груди ворочается, иголками вонзается Страх.

— Не обманывай меня, Беркут! Не обманывай лучше! — кричу. — Скажи честно всю правду!

— В глазах темно. — Беркут начинает смеяться. — Наверное, ослеп. Это бывает. Это пройдет.

— Я знаю!! Я принес тебе несчастье!!! — кричу я отчаянно.

— Ну что ты, вот выдумщик! — Большой человек прижимает мою голову к себе. — Пойдем! Только помоги Беркуту.

Я поднимаюсь и тяну его вверх. Постепенно перестраиваясь, словно кубик Рубика, Беркут встает на ноги.

— Это все всадник, Мурад. Грешникам глаза режет его молния.

— Ты не грешник, ты церкви строил!

— Строил... Чтобы грехи замолить. А только всаднику все равно. Зачем скитаешься, зачем пришел ко мне? Почему сам своего дома не выстроил, сада не посадил? Нет, Мурад, от греха люди бродят по земле, своего или чужого...

— Ты что, совсем не видишь?

— Солнце вижу, — отвечает он.

— Какое солнце... Ты что, Беркут?

— Солнце... — Беркут улыбается и на меня смотрит.

— Я ошибся. Это светится голова друга.

Первое мгновение я ничего не понимаю. Только улыбка его куда-то уплывает в тишине, вместе с горами.

— Жалко, я нож выбросил, — говорю я тихо и, медленно пятясь от него, отрываюсь от его лица, вижу, как растягиваются нити и одна за другой лопаются, больно меня ударяя. — Ты хуже всех взрослых!.. Ты вообще... обманывай кого-нибудь другого!!

Так кричу я и поворачиваюсь.

— Подожди! — зовет Степной Беркут, смеется без всякой опаски и стучит по камням, догоняя. Только я его руку отшвыриваю с плеча. Так это было, други. Сами видите, какой это человек. После великой радости дошла

во мне ненависть до крайней точки, и не мог я больше иначе. Не мог...

Когда идешь впереди, по чужой дороге, обязательно зайдешь не туда, и Степной Беркут обязательно тебя окликнет.

Поэтому я стараюсь, изо всех сил иду правильно. «Изо всех сил» — так можно назвать эту повесть, правдивую лишь своей собственной, книжной правдой.

У Степного Беркута правда своя. Он идет еле-еле, отставая и прихрамывая. Лицо его прорезали морщины, оно осунулось и потемнело. Это не то сияющее лицо, которым Беркут приветствовал меня в первый день нашей встречи. Сейчас, по прошествии великого множества дней, искупавшись в цветной реке времени, я чувствую боль — мне нравится та, давняя, правда Степного Беркута. Я шел к всаднику и уничтожал большого человека с именем Степной Беркут. Он шел за мной, как святой мученик, и взгляд его был чист, а на влажной от дождя куртке расплывалась красная клякса из растрепанной раны.

Но по силе сердечной, по мере его изможденности, полыхала во мне, маленьком мальчике, идущем впереди, уравнивающая нас ненависть. Она сводила мне мускулы, стягивала ребра жестким корсетом, я шел впереди — железный и неистовый — я знал только свою правду.

Рано или поздно это все равно бы произошло, поэтому я не очень удивился, когда услышал свист за спиной. Степной Беркут стоял на развилке и, улыбаясь, показывал в другую сторону.

Я подошел к нему решительно и толкнул руками в живот, сметая с дороги. Беркут уступил, ухмыляясь и морщась от боли одновременно. Я прошел на вторую тропинку и вдруг обернулся:

— Зачем я пошел за тобой? Лучше бы я сдох.

Улыбку смело с его лица. Я уходил, а он качал головой:

— Ты мужчина, Мурад.

Ненависть подбросила меня, заставила обернуться.

— Не мужчина я, понятно?! — закричал я. — И не женщина, и не мальчик, и не Мурад!.. Только я, Я! — не плохой, не хороший — вранье это все! Злой, добрый... откуда ты знаешь, кто я есть?! Ты про себя ничего не знаешь!.. Видал, как ты ревел, сопли развешивал, трус! Ты думаешь, тебе это можно, никто не видит?! А мне было противно! Понятно? Хочу тебя бросить! Хочу!!!

Одного хотения было мало. Ненависть питала меня, и мы шли. Два человека неуклонно двигались к стоянке геологов, что у Аварской койсу. К Саньке и Маринке.

Когда я увидел вертолет, то не сразу понял, что произошло. Горы, вертолет. Мы же идем к геологам! Но потом я увидел милиционеров в черных бушлатах, в черных сапогах, увидел маленького, толстого человека, увидел тех, кого Беркут называл Санькой и Маринкой, и палатку их, старую, неподалеку.

Я услышал шум реки — то шумела, падая на камни, Аварская койсу. Мы пришли. Нас ждали люди, чья правда была общей правдой — общей и незыблемой. Нас собирались запихать в брюхо вертолета именем этой общей правды.

Все, что последовало за отражением крылатой машины в наших зрачках, я не могу рассказывать: я пересказывал это себе тысячи раз и каждый раз врал. Есть такие вещи на свете, истинной формы которых никто никогда не узнает, сколько о них ни говори. Их содержание —

это клубок энергии, где сплетаются десятки человеческих правд. Спросите Беркута, а лучше — Саньку и Маринку, а я буду врать, врать нагло и коротко.

Я вас предупредил. Последний кусочек достоверности — это моя рукопись. Еще полгода после встречи с милицейским вертолетом я не мог разговаривать, я писал, то и дело роняя ручку и выбрасывая начатые листки. Все, что вы прочли, — лоскутки, которые мне понравились более других. Я молчал, как рыба, и ноги с руками двигались плохо — стою, а они подгибаются подо мной, словно сырая резина. Врачи только смеются и руками разводят. А я снова ручку беру — находит что-то — и начинаю вести по бумаге, оставляя след из буковок.

А теперь я возвращаюсь туда, к Аварской койсу, к железной птице, которую привел дядя Шапи.

Так он доказал, что тоже умеет летать.

Мы не знали, что можно возразить ему на это. Мы стояли и смотрели.

Слышите, камни за спиной? Это ковыляет, подходит ко мне бродяга по имени Степной Беркут. Он высокий, увидел уже.

— Дядя Шапи, — произносят губы. — Он прилетел. Он все сделал, как обещал.

— Старшие рассердились, — говорит Беркут. — Будут наказывать. Мне уже больно.

— Пошел ты, — говорю я и сплевываю в сторону вертолета.

Степной Беркут подходит, садится передо мной на корточки, его ладони окружают мои плечи.

— Я должен идти, — говорит он.

Я только смеюсь.

— Иди.

— Там Санька и Маринка, мои младшие, я с ними половину мира в одной упряжке... Я не знаю, что ты натворил, Мурад, но если ты хочешь, чтобы я пошел с тобой... Если так нужно...

— Не нужно! — кричу я.

— Там мои друзья, Мурад.

— Вот и чеши к своим друзьям!

Беркут встает и отворачивается.

— Это недостойно. Они не поверят, что мы прятались за камнями. Их Беркут и Мурад прятались!

— Это глиняный вертолет с глиняными людьми! — настаиваю я его, как маленького. — Всадник с молнией в руках разобьет их, и они сгорят в воздухе, и горы съедят эту жестянку и их жирные скелеты!

— Даже если разобьет! — говорит Беркут. — Я хочу быть с ними, в этом вертолете. Эти люди настоящие. И кровь у них в сердце настоящая. Они прилетели, чтобы наказать, они посадят нас в колонию. Но есть еще Санька и Маринка, есть твой младший брат, они все смотрят на нас! Они видят, как мы прячемся! Мы не можем предать их веру и прятаться, как крысы, всю жизнь.

— Не хочу! — это последнее, что во мне остается. — Оставь меня в покое! Иди сам...

— Мурад... — Его глаза наполняются болью, мрак заволакивает их все больше, и вот они уже колодцы, чердачные окна, открытые в бездну.

— Они все гады! — кричу я. — Я лучше замерзну в горах! Убери свои руки! — Я срываю ладони Беркута с плеч.

— Мы тоже гады! — говорит Беркут, сморщив лицо. Теперь морщины покрывают этот клочок тела сплошной сетью. — А кто не гад?

— Гады!! — перекикиваю я его; поворачиваюсь и ухожу. — Да пошел ты...

Отойдя и резанув глазами в его сторону, я вижу, что большой человек все еще сидит, согнувшись. Я останавливаюсь, я слежу за тем, как Беркут поднимается, как тяжело переставляет ноги, шагая к вертолету. Грудь моя вздымается часто, как у бегуна. Беркута хватают, заламывают ему руки, кричат что-то в лицо. Беркут отвечает. Его запихивают в вертолет, а потом эти двое, в бушлатах, бегут ко мне. Они почти угадывают, они устремляются туда, откуда пришел Беркут.

Им нужен Мурад, мальчик с ножом. Я смотрю, как они бегут — медленно и нелепо, придерживая руками свои синие фуражки, я смотрю, кивая головой, и разговариваю со всадником. Я вижу истекающую из руки молнию, и мои губы тысячи раз произносят слово «Здравствуй». Я поворачиваюсь и раз за разом ухожу во все стороны света, где нет бреховатых железных птиц.

Так я становлюсь пустым местом. Пускай им достанется только пустота, тень человека, затычка, которая нужна для восстановления порядка, — мое тело заткнет хлещущую из их Правды кровь.

Я смотрю, как они бегут, и опускаюсь к Бодману, безмолвному и каменному. Бодман уже знает, что с ним произойдет, и поэтому я стараюсь не смотреть в его черные, странные, не собачьи глаза.

Бегущие хищники завершают пробег дистанции и ломают конечности в танце торможения. Ломаются они еще медленней, чем бегут. Их лапы с восковым налетом касаются моего тела, сначала трепетно и кротко, потом, полные вождения, они впиваются в плечи Мурада, они оттаскивают меня от прекрасной серебристой собаки.

Волкодав, покрывшись пурпурной краской гнева, встает с хрипом, выбрасывает из груди воздух и приходит в движение. Он лает, оскалившись, обнажив сверкающие клыки, он кружит вокруг тела Мурада и в иступленном кипении крови смыкает челюсти на руке милиционера. Брызжет кровь человека, герои застенков отскакивают, и Бодман, развивая победу, кружит вокруг моего вялого, апатичного тела. Он знает, что защищаемое им — мертво. Он не может иначе — гордость его иного порядка — и получает свою пулю с достоинством настоящей кутанги, рожденной для гона овец. Один из милиционеров, задевший за сердце, сосет глазами свою кровь, достает оружие и стреляет в Бодмана, жмурясь и жестоко прикрикивая, — он предает себя дважды. Кутанга скулит, падает и кружит волчком вокруг мертвой, неподъемной головы. Я вяло ударяюсь в тело Бодмана, глажу его руками... пытаюсь погладить — руки не слушают опостылевшего хозяина. Милиционеры просовывают конечности под локти и поднимают Мурада, и несут его, позволяя его телу изредка переставлять ноги. Тело Мурада волочится и от переставления ног виляет вправо и влево, западает назад, размазывая вдрызг гармоничную картину мира. Обвисшее тело пытаются затолкать в вертолет.

Вы любите вертолеты?

Вертеть-лететь. Птицы, парящие в небе, презирают его.

И Степной Беркут не может оставаться в его пузе. Он появляется в дверном проеме, отрывает от себя маленького бульдога — дядю Шапи. Он берет меня на руки, вынимает из рук милиционеров. Он трясет, говорит что-то, а мне все вокруг непонятно и странно — ни слова вымолвить не могу, даже засмеяться, даже застонать. Как тряп-

ка в его ручищах. Он прижимает меня к себе и воеет, словно старуха над мертвым, причитает, а может, просто говорит что-то, тихо и напевно, будто сказку свою рассказывает — я не разбираю слов, уши полны ваты. Менты теребят его снизу и сзади, один залезает к нам, с искаженным лицом, и тут Беркут обнаруживает непочтение к старшим братьям, он продолжает дело маленького Мурада и бьет милиционера в лицо. Эта новая правда Степного Беркута имеет сокрушительную силу. Человек в черном бушлате вылетает из вертолета и, даже не раскрыв крыльев, врезается в камни. Он не умирает, его спасает гнев. Беркут спрыгивает на землю и несет меня куда-то — пустышку моего тела. Спасенный гневом встает, обливаясь струйками крови; он достает пистолет и стреляет в спину Степному Беркуту. Один выстрел. Второй. Третий.

Степной Беркут останавливается, его глаза разглядывают облака, они живут самостоятельной жизнью. Всадник с молнией в руках говорит нам, что мы стали скалами, темными и неумирающими, и дух наш превратился в камень, а голос — в вечное эхо.

Моя голова болтается и выпадает за плечо Степного Беркута. Превратившись в самостоятельный органоид, она видит, как человек в черном бушлате покрывается красными ручейками, стекающими с разбитой макушки, как достает пистолет и направляет на нас. Голова видит выпрыгнувшего из вертолета дядю Шапи, видит, как толкает он Спасенного гневом, и первая пуля впицается в камни рядом с пятками Степного Беркута. Вторая и третья, и четвертая выпускаются бессилием гнева, сведенными пальцами, заломленной рукой, которую держит дядя Шапи, — прямо в живот Земли. Так толстый Шапи отстаивает свою правду — правду уклада, порядка, традиций, — правда Шапи почти узлом завязывает Гнев, скручивает стреляющего милиционера и спасает нас.

Беркут ждет, глядя в небо, и понимает, что выстрелов больше не будет. К нам бегут Санька и Маринка, причем Маринка бежит как-то забавно, придерживая рукою большой круглый живот. Этот живот нравится мне. Я вяло ухмыляюсь и говорю несколько бесплотных, неслышимых слов маленькому обитателю живота, и слышу, как он отзывается из Маринки, — ему нравится бегать, ему уже много, шесть месяцев.

Голова моя переваливается, и я вижу, как дядя Шапи толкает стоящего на коленях милиционера, как тот встает, мотнув от толчка головой, как размазывает кровь и отхаркивается, и плетется к вертолету. Я вижу дядю Шапи, он смотрит на нас — на Саньку и Маринку, на Беркута, на меня, — и тоже сплевывает, коротко и ясно. «А пошли вы...» — говорит нам его правда, его общество выплевывает нас из своего организма, признав как самостоятельную, отдельную и независимую форму жизни... Мы взвалили на себя тяжесть собственных грехов. Мы научились двигаться, или просто безмолвно существовать, как я, рисуя себя в картине мира САМОСТОЯТЕЛЬНО. Мы стали теми, кого не назовешь победителями, — мы просто родились по-настоящему, и теперь по-настоящему БЫЛИ, стараясь отметить проблемском сознания каждый свой шаг, вызывая к жизни множество историй и легенд о горных людях: мальчике и мужчине.

Потому, что дорога наша только началась.

Дядя Шапи повернулся и тяжело полез в вертолет.

А я еще долго не двигался. Я молчал и все учился

делать сначала — думать, двигаться, побеждать и искать самоцветы. Остается только последняя картина, относящаяся к этой истории, и я попробую не соврать, бросая только гордые и смелые цвета.

Ночью, когда Санька и Маринка совсем уже умаялись с нами, кормя и выхаживая, и переодевая, когда они упали в своей палатке и мгновенно исчезли из картины мира в глубоком сне, в ту ночь, окрашенный в красное, Беркут сидел у останков большого костра, который догорел, исчез, оставив только тепло в суставах да красный, светящийся круг, — Беркут сидел, сжимая в руках безвольное тело Мурада, и говорил. Его большая грудь и горланье рождали звуки, похожие на сказку, он говорил, точно пьяный или помешанный, в ночи, он рассказывал о мальчике и Степном Беркуте, которые шли до конца, пока не стали свободными. То и дело он задыхался и прижимал тело Мурада к себе, утыкаясь в него лицом и качаясь, как болванчик, как маятник, и снова говорил, глядя на красные угли, а может, не говорил, а просто пел в ночи, замороженный болью, причудливую и страшную, и диковинную колыбельную песню.

Где ты был, Диргин-Дарганчу?..

В горы ходил, Диргин-Дарганчу...

Благодарю Московский почтамт, пятый подоконник справа, Центральный телеграф, вокзалы, квартиры, дачи, электрички и другие здания города Москвы и Московской области, в помещении которых была написана эта повесть.

1994 год



Изда для Пегаса

«Здравствуйте!» — пишет в редакцию Маргарита Манушевич. «Здравствуй, Рита», — отвечаем мы. Она продолжает: «Ваш журнал — мой старый и хороший знакомый. Поэтому, прочтя о конкурсе, я решила попробовать свои силы. Я живу в Калуге, заканчиваю КФ МГТУ им. Баумана. Хочу предложить на ваш суд свои СТИХийные творения. Очень интересно испытать себя в качестве укротительницы Пегаса».

Маргарита МАНУШЕВИЧ

ГРОЗА

У нас был дождь, и ветер дул,
А там, за облаками
Роняли то и дело стул,
Гремели каблуками.
Чечетку били на столе,
И поднимали тосты...
Эх, плохо людям на земле,
Когда на небе гости!

Обывательский мирок —
На дверях двойной замок,
Занавески, чай с малинкой,
Фотографии, картинки,
На окне стоит цветок.

Обывательский мирок —
Сплетни, байки, шепоток,
Ссоры, крики, руки в боки,
Уговоры и упреки —
Шумный терем-теремок.

Обывательский мирок —
Хитроват и недалек,
В меру добр и в меру вреден,
В меру честен, в меру беден —
Чисто райский уголок!

Обывательский мирок —
Не кутила, не игрок.
Хоть и нету в чувствах лоску,
Мелодрамой выжмет слезку
В заготовленный платок.

Обывательский мирок —
Познавательный урок.
Пусть живет неинтересно,
Пусть осмеян повсеместно,
Ростом мал и кривобок,
Все же я его росток!

ДЮЙМОВОЧКА

Стою, не падаю, держусь
На стебельке, на одноножке —
Невидимая глазу крошка,
Но я паденья не боюсь.

Травинка эта — жизнь моя.
Туда-сюда качаюсь гибко,
И странно мне, что в этой зыбкой
Вселенной — существую! — я!





Здравствуйте, дорогие издатели и создатели журнала «Юность»!

Трогательно было прочитать ваше обращение к подписчикам. «Юность» выписываю всю свою сознательную жизнь, за исключением лет, когда существовал лимит на подписку. Вот и на первое полугодие выписала, а как будет во втором, не знаю... Круг сужается. Отказалась уже от «Нового мира», от «Литературки»...

Жить сейчас художникам все сложнее. Для того, чтобы твои работы увидели, надо выставяться. А это сейчас — проблема. Пыталась делать персональную выставку, да за аренду помещения надо платить вперед очень круглую сумму. Если не умеешь светиться в нужных тусовках, толкаться локтями, гоняться за спонсорами — дело совсем худо. Кто-то из моих знакомых покончил с собой, кто-то подался в сторожа, кое-кто выпекает лажу для художественных салонов. Кормиться же надо. Работы мои потихоньку расползаются, никем не виденные. У художников приезжие люди скупают картины за ничтожные суммы, и за это приходится говорить спасибо.

Нас, художников, просто выводят, как тараканов. Глядеть на окружающее нет сил. В то время как на Олимпе власти всякие там выделявают очередные антраша, испытываешь мучительнейшее чувство от полной неспособности влиять на события. Лишь работа превращается в нишу, где можно спрятаться от идиотизма окружающей действительности. И смотришь на жизнь сквозь слезы — все потеряно, все пропало, все кончено? И не только у меня, у моей двадцатилетней дочери — это же чувство потери смысла и веры во все, что нас окружает.

Жить не хочется, умереть — мешает долг. А жить? Если ее, жизни-то, может, осталось человечеству лет на тридцать-сорок?..

Чем утешиться? Народ ограбили в дым. Все, отложенное про черный день, сгорело. Такого повального

ограбления в мире еще не знали. Но что поразительно, так это то, что вся эта беспрецедентная акция прошла, как будто все это так и должно быть, что только так и можно было обойтись с миллионами наших соотечественников! Ощущение такое, что на этот вопрос наложено вето, табу.

Восемь лет я копила тридцать тысяч «тех» рублей на ЖСК, теперь же с меня, ограбленной, требуют за квартиру мешок миллионов — нет даже сил рассматриваться.

Невыносимо жить в незаконном государстве. Хочется бежать, но куда? Там мы не нужны, здесь тем более.

Заколдованный круг.

Пока мы воюем с собственной нищетой, дельцы потихоньку прибирают к рукам нашу общенародную совместную — только отныне не нашу с вами! — собственность. Вот доделают все окончательно между собой и отнесут нас к разряду быдла. Быдло мы и есть, коль позволяем делать с собой такое. Тут как в «зоне»: если позволил, чтобы тебя «опустили», там тебе и быть. И как, как сопротивляться, хоть бы объяснили!

А эти кровавые распри, войны! Преступность. Обезумевшие человеки убивают себе подобных — каждый день, каждый день! Хочется взвыть: что вы делаете! Мало вам ста десяти миллионов загубленных жизней, сколько надо еще бить, чтобы проняло?

Когда в природе пожар, все животные бегут вместе — лев с антилопой. Бессловесные твари спасаются сообща, почему вы, люди разумные, не объединитесь?! Какую еще надо беду, чтобы она стала действительно общей? А в природе все нарастают угрозы... Если из ста рождающихся детей вполне здоровы только четверо, то понимаете ли вы, люди, эти цифры? Природа нас уничтожает! Ведь если вы, люди, не решитесь жить по-людски, по-божески, все вы погибнете, Земля сбросит с себя весь ваш род человеческий. Хотите такого конца — что ж, убивайте себя и друг друга и дальше!

Прошу прощения.

Когда идешь по лесу — думаешь: жизнь пока еще есть. Но какое пронзительное чувство расставания! Каркнет ворона, но тем оглушительнее потом тишина. Как в живописи, когда черный цвет подчеркивает яркость остальных красок.

Сегодня у меня еще есть день. Дай Бог, завтра тоже будет... И будет еще дождь, вечер, сумерки, запахи... Надо довести себя до состояния идиота, всему радоваться, всему улыбаться. Жизнь даст по голове — буду улыбаться, врежет промеж глаз — опять буду улыбаться.

Говорят, загадочная русская душа. Вот так? Или стань идиотом да улыбайся, или — в петлю? Но что ж, я несмотря ни на что буду внушать себе, что всем все же удастся выжить.

Наталья Лебедева, художник



Погребенный ХРАМ

ПРОШЛОЕ

Позади нас наше прошлое простирается длинной перспективой. Оно спит вдали, как покинутый город в сумраке. Несколько возвышенностей ограничивают его и подымаются над ним. Несколько значительных поступков возвышаются там подобно большим башням, или освещенным, или наполовину развалившимся и склоняющимся мало-помалу под тяжестью забвенья. Листья облетают с деревьев, обваливаются части стены, ширятся большие пространства мглы. Все это кажется мертвым и на вид лишено всяких движений, кроме тех, которыми обманчиво одушевляет его медленное разложение нашей памяти. Но, за исключением этой жизни, заимствованной у самой смерти наших воспоминаний, кажется, что все окончательно застыло, навсегда недвижимо и отделено от настоящего и будущего рекою, которую ничто не может больше перейти.

В действительности же все это живет; и для многих из нас более страстно и глубоко, чем настоящее и будущее. В действительности этот мертвый город — часто самый деятельный очаг существования; и соответственно настроению, с которым они туда возвращаются, одни извлекают из него все свои богатства, а другие их в нем топят.

С нашим взглядом на прошлое происходит то же самое, что с нашим взглядом на любовь, на справедливость, на судьбу, на счастье и на большинство духовных организмов, неопределенных и все же могучих, олицетворяющих великие силы, коим мы повинемся. Мы получаем его готовым от тех, кто нам предшествовал; и даже когда пробуждается наша вторая совесть, та, которая гордится тем, что ничего не принимает с закрытыми глазами; даже когда мы старательно рассматриваем его, мы теряем время, предлагая вопросы тому, который говорит громко и не перестает повторяться, вместо того, чтобы искать, нет ли вокруг него других взглядов, еще не высказывавшихся. Обыкновенно не надо идти очень далеко, чтобы их открыть. Они ждут, чтобы мы заговорили с ними. Впрочем, в своем молчании они не бездеятельны. Возвышаясь над болтливыми убеждениями, они спокойно направляют часть нашей действительной жизни; и, будучи ближе к правде, чем



Рисунки Сергея Некрасова

их удовлетворенные братья, они очень часто проще и прекраснее тех.

Среди этих готовых взглядов особенно определенны те, на которых основано наше представление о прошлом. Благодаря им прошлое кажется нам такую же значительной и непоколебимой силой, как и судьба. Оно — судьба, которая действует позади нас и протягивает руку той, которая впереди нас. Оно передает ей последнее звено наших цепей. Оно толкает нас с той же непреклонной грубостью, с какою та тянет нас к себе. Может быть, его грубость осязательнее и страшнее. Можно сомневаться в судьбе. Это — бог, влияние которого многие не чувствуют, но никто не думает отрицать силы прошлого. Кажется невозможным не испытать раньше или позже его влияния. Даже те, которые не допускают ничего, что неосознательно, приписывают прошлому, всегда ощущают для них, все влияние, все мысли о тайне и о верховном вмешательстве, которые они отнимают у того, что отрицают: они провозглашают прошлое богом — почти единственным и наиболее страшным богом своего опустошенного Олимпа.

Поистине, сила прошлого — одна из самых тяжелых среди всех тех, которые гнетут людей и склоняют их к печали. А между тем ни одна не была бы более покорной, не следовала бы охотнее по тому направлению, которое мы бы ей указывали, если бы умели лучше пользоваться ее покорностью. Если хорошенько подумать, то прошлое принадлежит нам так же, как и настоящее, и на него легче воздействовать, чем на будущее. Столько же, сколько настоящее, и гораздо более, чем будущее, оно всецело в нашей мысли и в наших руках; и это верно не только относительно нашего материального прошлого, в области которого нам еще возможно восстановить, что мы разрушили, но и для тех частей нашего прошлого, которые кажутся безвозвратно утерянными для наших слишком поздних добрых намерений, и в особенности для прошлого нашей нравственности и для всего, что кажется самым непоправимым в нем.

«Прошлое миновало», говорим мы, но это неправда: прошлое всегда существует; мы несем бремя нашего прошлого», говорим мы также, но и это неправда, мы тяжким бременем лежим на нашем прошлом. «Ничто не может изгладить прошлого». И это неправда; настоящее и будущее, при малейшем знаке нашей воли, пробегают по прошлому и вычеркивают все, что им приказано вычеркнуть. «Неразрушимое, непоправимое, недвижимое прошлое». И это также неправда. Недвижимо настоящее, и оно ничего не исправляет в тех, которые так говорят. «Мое прошлое плохо; оно печально, пусто, — говорим мы наконец, — я не нахожу в нем ни одного мгновения красоты, счастья или любви; я вижу в нем только развалины, лишённые величия». И все это неправда, потому что вы в нем видите как раз то, что вкладываете в него в то самое мгновение, когда вы на него смотрите.

Наше прошлое зависит всецело от нашего настоящего и постоянно меняется вместе с ним. Оно немедленно принимает форму сосудов, в которые наша сегодняшняя мысль собирает его. Оно содержится в нашей памяти, и ничего нет более изменчивого, более впечатлительного и менее независимого, чем эта память. Ее постоянно питают и преобразуют наше сердце и наш ум, которые становятся больше или меньше, лучше или хуже, соответственно нашим усилиям. Не совершенные поступки и не события важны для каждого из нас, остаются нам от прошлого и составляют часть нас самих, а нравственное воздействие на нас в настоящую минуту прошлых происшествий, внутреннее су-

щество, развитию которого они способствовали; и эти воздействия, создающие внутреннее верховное существо, всецело зависят от того, как мы относимся к прошлым событиям. Они меняются соответственно нравственной сущности, с которой в нас встречаются. А на каждой ступени, на которую поднимаются наш ум и наше чувство, нравственная сущность наша меняется; и тотчас же самые неизменные факты, которые как будто запечатлены на камне или в бронзе, принимают иной облик, перемещаются и одухотворяются, дают нам более широкие и более смелые советы, увлекают за собою память и из кучи развалин, гниющих в тени, создают город, который снова населяется и над которым вновь восходит солнце.

Мы совершенно своевольно помещаем позади нас известное число событий. Мы отодвигаем их до горизонта наших воспоминаний; и, поместив их туда, мы воображаем, что они принадлежат миру, в котором все соединенные усилия людей не могут более ни поднять цветка, ни осушить слезы. Но вот странное противоречие! Мы допускаем, что мы не властны над ними, но уверены, что они влияют на нас. Правда заключается в том, что они действуют на нас, лишь поскольку мы отказываемся влиять на них. Прошлое самоутверждается лишь для тех, в которых приостановилась нравственная жизнь. Оно закрепляется в своей страшной форме лишь с этого момента. Начиная с него, за нами действительно появляется что-то непоколебимое, и тяжесть того, что мы сделали, ложится на наши плечи. Но, пока мы не перестанем жить умом и волей, оно висит над нашей головой. Подобно тем облакам, на которые Гамлет указывал Полонию, оно ждет, чтобы наш взор придал ему образ надежды или опасения, тревоги или спокойствия, который мы вырабатываем в себе.

Как только замедляется наша нравственная деятельность, прошлые события сбегаются и осаждают нас; горе тому, кто открывает им двери и дает им расположиться у его очага. Они навязывают ему дары, наиболее способные разбить мужество. И самое счастливое и благородное прошлое, когда мы ему позволяем проникнуть к нам не как гостю, которого мы приглашаем, а как паразиту, который насильно занимает место, так же опасно, как самое злое и преступное. Если последнее приносит с собою лишь бессильные утрызения, то первое дарит нас только бесплодными сожалениями; а сожаления и утрызения, которые таким путем проникают к нам, одинаково губительны для нас. Чтобы извлечь из прошлого то ценное, которое в нем содержится, — а в нем содержатся почти все наши богатства, — нужно идти к нему в часы, когда наши силы в полном расцвете, войти в его владения повелителем, выбрать там то, что нам пригодно, и оставить ему все прочее, запрещая ему переступать наш порог без нашего разрешения. Подобно всему, что живет, в сущности, только за счет нашей духовной мощи, оно скоро привыкает повиноваться нам. Может быть, оно попытается сначала противиться нам, будет прибегать к хитростям, к просьбам. Оно постарается разжалобить нас и искушать нас. Оно покажет нам обманутые надежды, радости, которые не повторятся, заслуженные упреки, разбитые привязанности, мертвую любовь, умирающий гнев, растрченную веру, потерянную красоту, все, что некогда питало нашу жажду жизни, и все печали и все счастье, которые скрываются под ее развалинами. Но мы пройдем мимо, не поворачивая головы, отстраняя рукой толпу воспоминаний, как мудрый Одиссей в киммерийскую ночь отстранял с помощью меча черную кровь, которая должна была оживить и на миг одарить даром слова все тени мертвых — даже тень его матери; а их он не должен был вопрошать. Мы прямо направились к такой-то радости, к такой-то печали, к такому-то

утрызанию, которые могут научить нас чему-нибудь; мы поставим определенные вопросы такой-то несправедливости, желая исправить ее, если это еще возможно, или с тем, чтобы при виде такой-то другой, которую мы совершили и жертвы которой уже исчезли, почерпнуть силу, способную поднять нас выше несправедливостей, которые мы чувствуем себя способными совершить сегодня.

Предположим даже, что в нашем прошлом были преступления, которых наши лучшие намерения уже не могут коснуться, ввиду полной невозможности остановить их последствия; все же, если рассматривать, поднявшись над обстоятельствами времени и пространства, широкий план всякого человеческого существования, то эти преступления исчезают из нашей жизни, как только мы почувствуем, что никакое искушение, никакая сила земли не сможет побудить нас совершать подобные им. Они не прощены вне нас, ибо мало что забывается и прощается во внешнем мире; они продолжают оказывать свое материальное влияние, ибо законы причины и следствия чужды законам нашей совести. Но перед судом нашей личной справедливости, — а он один только имеет решительное влияние на нашу внутреннюю жизнь, один судит нас насквозь, и от его приговоров мы не можем уклониться, — дурной поступок, если смотреть на него с большей высоты, чем та, на которой он был совершен, существует лишь для того, чтобы сделать для нас спуск более трудным; и он лишь в том случае имеет право встать перед нами, когда мы снова склоняемся к бездне, которую он сторожит.

Конечно, одна из самых глубоких печалей человеческих — это иметь в своем прошлом несправедливости, все дороги которых, так сказать, заграждены позади нас, так как их жертв невозможно найти, достигнуть, поднять или утешить. Медленнее других забывается горе, вызванное злоупотреблением силою с целью обобрать слабого, который окончательно погиб, или несправедливое и смертельное страдание, нанесенное сердцу, которое нас любило, или попросту пренебрежение к трогательной привязанности, которая давалась нам. Это должно пасть большой тяжестью на нашу жизнь. Но сообразно тому, на чем мы установили нашу совесть, в данный момент от нас зависит, чтобы эта тяжесть подняла или опустила всю нашу нравственную судьбу. Неизбежно, — ибо почти ничего из того, что мы делаем, не умирает — неизбежно чтобы многие совершенные несправедливости когда-нибудь воскресли и потребовали то, что им следует, предъявили бы законные притязания. Они тогда коснутся нашей внешней жизни, но, прежде чем дойти до внутреннего существа, которое находится в центре этой жизни, им придется узнать приговор, который мы сами уже постановили над собой; и свойство этого приговора определить отношение таинственных посланцев, которые являются из глубин, где вырабатывается вечное равновесие причин и следствий. Если мы искренно спросили и осудили себя с высоты нашей новой совести, то к нам явятся со всех сторон не внезапные и угрожающие мстительницы, а доброжелательные посетительницы, почти нежные подруги, которые молча приблизятся к нам. Они знают заранее, что найдут человека, который перестал быть тем преступником, которого они ищут, и вместо возмущения, отчаяния, ненависти, и вместо кары, которая унижает и убивает, они вольют в наше сердце мысли и тоску, которые облагораживают, очищают и утешают.

Из всего, что проистекает из одного и того же источника доверия и страстности, счастливых и сильных отличается от тех, которые плачут и отчаиваются, не столько то, что они совершили или перенесли, сколько то, как они вспоминают о совершенном или перенесенном. Если взять прошлое само по себе, то нет ни для кого счастливого про-

шлого; и те, кому судьба улыбнулась, если они подумают о том, что остается от годов, прожитых в самом большом счастье, имеют, может быть, более основания печалиться, чем несчастные, доживающие конец горькой жизни. Все, что однажды было, — и чего теперь уже нет, — настраивает их на печаль, в особенности очень красивое и счастливое. Объект сожалений — направлены ли они на то, что было, или на то, что могло бы быть, — поэтому приблизительно одинаков для всех людей; и их печаль тоже должна была бы быть одинаковой. А между тем она различна; в одном случае она царит непрерывно, в другом проявляется лишь с большими промежутками времени. Следовательно, она зависит не от внешних фактов, а от того, как человек к ним относится. Победители в жизни — это те, которые не теряют своего времени, замыкая горизонт воображаемой неподвижностью и непоправимостью, те, которые как будто рождаются каждое утро в мире, беспрестанно рождающемся для будущего. Эти победители знают инстинктивно, что все, будто бы уже не существующее, существует еще совершенно девственным, и все, что как будто кончено, только еще завершается. Они знают, что годы, отнятые от них временем, еще продолжают свою работу и, подчиненные новому господину, повинутся только старому. Они знают, что их прошлое всегда находится в движении, что вчерашнее, которое было безотраднo, преступно или уродливо, вернется веселым, невинным и помолодевшим на пути завтрашнего дня. Они знают, что их образ еще не запечатлелся в прошлых днях, что достаточно одной решительной мысли или одного решительного поступка, чтобы все перевернуть. Они знают, что, как бы ни была стара и густа тень, простирающаяся позади них, им стоит только сделать движение радости или надежды, чтобы тень тотчас же повторила это движение и продолжила



его до маленьких развалин раннего детства, и в этих обломках раскрыла неожиданное сокровище. Они знают, что все может стать красивее и лучше обратным воздействием, и что даже мертвые отменяют свои приговоры в глубине могил, чтобы снова судить прошлое, которое сегодня ожило и преобразилось.

Те, которые обретают этот инстинкт с колыбели — счастливы, но разве те, которые не имеют его, не могут его приобрести? Не заключается ли одно из назначений человеческой мудрости в том, чтобы заставлять нас приобретать спасительные инстинкты, в которых нам отказала природа?

Не будем засыпать в своем прошлом. Чем оно счастливее или славнее, тем более оно должно нам казаться подозрительным, если имеет поползновение обхватить нашу жизнь, если оно не меняется непрестанно под нашим взглядом, если настоящее привыкает посещать его не как хороший работник, отправляющийся туда на работу, которую назначил ему сегодняшний день, а как пассивный и слишком доверчивый паломник, который только любителю прекрасными и неподвижными развалинами.

Не нужно относиться к нему с глубоким уважением, которое инстинкт навязывает нам, если из уважения мы будем бояться нарушить его прекрасный строй. Лучшее обыкновенное прошлое, которое знает свое место в туманной дали, чем великолепное прошлое, которое хочет управлять тем, что ему больше не принадлежит. Лучше посредственное настоящее, но действительное, живое и действующее так, как будто оно одно только существует, чем настоящее, гордо умирающее в цепях чудесного «когда-то». Шаг, который мы делаем теперь к неопределенной цели, более важен для нас, чем тысячи верст, пройденные нами прежде к блестящей, но уже завершенной победе. Наше прошлое имело лишь одно назначение, — поднять нас до настоящего мгновения, снабдить нас нужным оружием, опытностью, мыслью и радостью. Если в это именно мгновение оно отнимает от нас или отвлекает к себе частицу нашей энергии, то, как бы оно ни было славно, оно было бесполезно, и лучше бы ему не существовать совсем. Когда мы позволяем ему остановить движение, которое мы собирались сделать, начинается наша смерть, и здания будущего внезапно принимают вид гробниц.

Существует прошлое, еще более опасное, чем прошлое счастья и славы, — это то, которое населено призраками, слишком властными и дорогими. Многие гибнут в объятиях любимых теней. Не будем забывать тех, кого больше нет; но пусть их воображаемое присутствие будет не печалью, а утешением. Соберем и сохраним в душе, верной и счастливой сквозь слезы, дни, которые они нам даровали. Уходя, они оставили нам то, что было в них самого чистого; не будем же терять в том же самом мраке то, что они нам оставили, и то, что смерть отняла от нас. Если бы они сами вернулись на землю, став мудрыми, так как они видели то, что от нас еще скрывает преходящий свет, я думаю, что они сказали бы нам: не плачьте. Вместо того, чтобы оживлять нас, ваши слезы нас истощают, потому что они истощают вас. Отойдите от нас, не думайте больше о нас, пока мысль о нас примешивает только слезы к жизни, которая нам остается в вашей собственной жизни. Мы живем только в ваших воспоминаниях. Но вы напрасно полагаете, что только те из них нас касаются, которые сожалеют о нас. Вспоминает о нас и радуется наши останки все то, что вы делаете, сами не зная того, не оборачиваясь к нам. Если наш бледный образ печалит ваше горячее чувство, то мы ощущаем более чувствительное и неизбежное умирание, чем первоначальная смерть; и когда вы слишком часто склоняетесь над нашими могилами, вы у нас

отнимаете жизнь, любовь и мужество, которые думаете нам вернуть.

Мы — в вас, наша жизнь во всей вашей жизни; и когда вы растете, даже забывая нас, мы тоже растем; и наши тени дышат, как пленницы, тюрьма которых раскрывается.

Если мы узнали что-нибудь новое в мире, в котором находимся, то это, прежде всего, то, что добро, которое мы вам сделали, когда мы, как вы, были на этой земле, не возмещает зла, причиняемого воспоминанием, которое уменьшает силы и ослабляет доверие к жизни.

Упаси нас Бог завидовать прошлому кого бы то ни было. Наше прошлое было создано нами самими для одних нас. Оно единственное подходящее нам, единственное, могущее научить нас правде, которой никто не мог бы нам открыть, вселить в нас силу, которую никто не мог бы нам дать. Хорошее или дурное, блестящее или тусклое, оно для нас как музей, содержащий исключительнейшие, совершеннейшие произведения, понятные только для нас; ибо ни одно совершенное, но чужое произведение не могло бы сравниться с поступком, совершенным нами, с поцелуем, нами полученным, с красотой, нами прочувствованной, со страданием, нами перенесенным, с тревогой, которая нас обьяла, с любовью, которая принесла нам улыбки и слезы. Наше прошлое — это мы сами, то, чем мы были, и то, чем стали, и в неведомой сфере, в которой мы движемся, никто, от самого счастливого до самого несчастного, не мог бы предвидеть, что он потерял бы, если бы заменил чужим следом то след, который должен был сам оставить в жизни. Наше прошлое — это наша тайна, повешенная устами годов. Это самое таинственное изображение нашего существа, условленное и сохраненное временем. Изображение не мертво; всякая мелочь уродует или украшает его, оно еще может просветлеть или потемнеть, смеяться или плакать, выражать ненависть или любовь; оно остается навеки узнаваемым среди мириад изображений, окружающих его. Оно изображает нас позади нас самих, так же, как наши желания и надежды представляют нас в будущем; и оба лица сливаются, чтобы раскрыть нам самим, что мы такое.

Не факты прошлого завидны, а духовная ткань, которая облекает мудрого в воспоминаниях о минувших днях. Эта ткань может быть одинаково ценной, независимо от того, соткана ли она в страдании или в радости, из достатка или из нужды; и нельзя сказать при виде того, как она сверкает над жизнью, на которую она накинута, были ли найдены звезды и камни, оживляющие ее, в жалком пепле хижин или на ступенях дворца.

Нет прошлого пустого или бледного, нет жалких событий — есть только события, которым оказывается жалкий прием. Если бы действительно с вами ничего не случилось, это было бы самым необыкновенным событием, которое когда-либо с кем-либо случилось, и вы могли бы извлечь из него не менее необычный свет. В действительности одни и те же факты, страсти, возможности и случаи ждут и увлекают большинство людей. Обстоятельства и блеск их различны, но менее, чем внутреннее воздействие. Событие очень маленькое и не заверщенное, упав в восприимчивое сердце и душу, легко достигает высоты и нравственной силы явления, которое в ином виде потрясло бы целый народ.

Для того, кто увидел бы прошлое целого собрания людей, если бы он в то же время не видел нравственных последствий всех этих разрозненных и не похожих один на другой фактов, было бы очень трудно сказать, которое из этих прошлых он хотел бы пережить. Может быть, он смертельно ошибся бы, избрав то или иное существование, переполненное, точно громадными драгоценностями, несравненным торжеством и счастьем, между тем как его взор

равнодушно скользнул бы по другому, на вид пустынно-му, но все же населенному ясными волнениями и высокими искупительными мыслями, которые делают его счастливейшим из всех людей, но сами не обнаруживаются. Ибо мы знаем, что довольно одной мысли, чтобы перевернуть так же глубоко, как это делает большая победа или большое поражение, то, что судьба нам дала и что она нам готовит. Она не производит шума, не двигает ни одного камешка на воображаемом наступательном пути. Но она спокойно возводит неразрушимую пирамиду на повороте более действительного пути, по которому следует тайная жизнь; и внезапно все, что с нами случается, до явлений небесных и земных включительно, принимает новое направление.

Самое важное в жизни Зигфрида не то мгновение, когда он кует чудодейственный меч, не то, когда он убивает дракона и заставляет богов уступить ему место, не то также, когда он находит любовь на горящей горе, а — короткий миг, вырванный из вечных предписаний, легкий детский жест, когда, нечаянно приблизив к своим губам одну из своих рук, обгаренных кровью таинственной жертвы, он раскрыл свои глаза и свои уши; он слышит загадочную речь всего, что окружает его, узнает об измене карлика, олицетворяющего злые силы, и внезапно научается сделать то, что он должен сделать.

БУДУЩЕЕ

В известном отношении совершенно непостижимо, что мы не знаем будущего. Вероятно, достаточно было бы какой-нибудь мелочи, перемещения какого-нибудь мозгового центра, иного направления круготечения Брока, прибавки тонкого пучка нервов к тем, которые составляют нашу совесть, для того, чтобы будущее раскрылось перед нами с той же самой ясностью, с той же самой величавой неизменяемой широтой, с какими выявляется прошлое, не только на горизонте нашей личной жизни, но и жизни рода, которому мы принадлежим. Этот странный недостаток — удивительное ограничение нашего ума, вследствие которого мы не знаем, что с нами случится, между тем как нам известно то, что с нами случилось. Нет никакого основания для того, чтобы с абсолютной точки зрения, до которой нашему воображению удастся возвыситься, хотя оно не может там жить, мы не видели того, чего еще нет; то, чего еще нет по отношению к нам, необходимо должно уже существовать и проявляться где-нибудь. В противном случае приходилось бы сказать, что по отношению ко времени мы являемся центром вселенной и единственными свидетелями, которых ждут события, чтобы иметь право свершиться и занять место в вечной летописи причин и следствий. Было бы так же безрассудно утверждать это для времени, как и для пространства, этой второй формы, немного менее непонятной, двойной беспредельной тайны, в которой колеблется вся наша жизнь. Пространство нам ближе, потому что случайности нашего организма ставят нас в более непосредственную связь с ним и делают его более конкретным. Мы можем довольно свободно двигаться в нем по известному числу направлений впереди и позади нас. И ни один путешественник не решился бы утверждать, что города, которые он еще не посетил, станут действительно существующими лишь с того мгновения, когда он вступит в их ограды. А между тем мы поступаем приблизительно так, когда убеждаем себя, что событие, которое еще не случилось, еще не существует.

У меня нет намерения заблудиться, по примеру многих других, в самой неразрешимой из загадок. Скажем лишь то, что время — тайна, которую мы произвольно раздели-

ли на прошлое и будущее, пытаясь понять в ней что-нибудь. Почти несомненно, что само по себе оно лишь обширное настоящее, вечное, неподвижное, в котором все, что случилось, и все, что случится, безостановочно случается, причем «завтра» ничем не отличается, вне преходящего ума людей, от «вчера» или от «сегодня». Можно бы подумать, что у человека всегда было такое чувство, точно простой недостаток его ума отделяет его от будущего. Он знает, что оно там, живое, действительное и совершенное, за какой-то стеною, вокруг которой он не переставал кружиться с первых же дней своего появления на земле. Вернее, он его ощущает в себе известным для одной части его существа, причем это знание, тревожное и беспокойное, не может дойти по слишком узким каналам его чувств до его совести, которая является единственным местом, где знание получает имя, силу, которой можно воспользоваться, и, так сказать, право гражданства в граде человечества. Лишь проблесками, откровениями, случайными и мгновенными, проникают в его мозг будущие года, которыми он полон и властная реальность которых окружает его со всех сторон. Он удивляется, что необыкновенная случайность почти вплотную заперла от будущего мозг, который целиком погружается в него, как запечатанный сосуд погружается, не сливаясь с ним, в самую глубь моря, которое обхватывает его, дразнит и ласкает тысячами волн. Во все времена он пытался найти расщелины в стене, добиться того, чтобы в сосуд что-нибудь просочилось, пробить простенки, отделяющие его разум, который почти ничего не знает, от его инстинкта, который все знает, но не может пользоваться своими знаниями. Кажется, что это ему не раз удавалось. Были ясновидцы, пророки, сибиллы, пифии, в которых болезнь, случайная или искусственная перенапряженность нервов допустили необычайные общения между сознательным и бессознательным, между жизнью



индивидуума и жизнью рода, между человеком и его невидимым богом. Они оставили об этой возможности общения свидетельства такие же неоспоримые, как все свидетельства истории. С другой стороны, так как эти странные толкователи, эти великие и таинственные неврастеники, по нервам которых струились и сплетались таким образом настоящее и будущее, были немногочисленны, то люди открыли, или думали, что открыли, эмпирические приемы, чтобы научиться почти механически разгадывать раздражающую и вечно существующую загадку будущего. Люди льстили себя надеждою, что смогут вопрошать таким образом бессознательное знание предметов и животных. Оттуда явилось объяснение полета птиц, внутренностей жертв, течения звезд, огня, воды, снов и все способы гадания, которые передали нам древние авторы.

Мне показалось любопытным проследить, в каком положении находится теперь эта наука о будущем. У нее нет более ни прежнего великолепия, ни прежней отаги. Она уже не составляет части общественной и религиозной жизни народов. Настоящее и прошлое обнаруживают перед нами столько чудес, что ими достаточно утоляется наша жажда чудесного. Вседело поглощенные тем, что есть или было, мы почти отказались от расспрашивания того, что могло бы быть или будет. Но старая и почтенная наука, так глубоко коренящаяся в непогрешимом инстинкте человека, не заброшена. Ею не занимаются явно. Она скрылась в самых темных углах, в среде людей самых грубых, самых легковверных, самых непрощенных и презираемых. Она пользуется приемами ребяческими и наивными; но тем не менее она тоже в известной мере преобразилась. Она пренебрегает большинством приемов первоначального гадания; она нашла другие, часто странные, иногда смешные, и сумела воспользоваться несколькими открытиями, которые вовсе не были предназначены для нее. В эти темные убежища я последовал за нею. Я хотел видеть ее не в книгах, но на деле, в действительной жизни и среди скромных и верных приверженцев, которые доверяют ей и ежедневно просят у нее совета или поддержки. Я пошел туда без предупреждения, не веря, но готовый поверить без предвзятого мнения и заранее приготовленной улыбки, ибо, если не следует слепо принимать никакого чуда, то еще хуже слепо смеяться над ним; и во всяком упорном заблуждении обыкновенно скрывается превосходная истина, которая ждет часа своего рождения.

Немногие города представили бы мне более обширное и плодородное поле для исследований, чем Париж. Поэтому я там и произвел свое разыскание. Чтобы начать его, я выбрал минуту, когда проект, осуществление которого (не зависевшее от меня одного) должно было иметь для меня большое значение, был на весу. Я не буду входить в подробности дела, которое само по себе не интересно. Достаточно будет, если скажу, что вокруг этого проекта было множество интриг и несколько могущественных и враждебных желаний, борющихся против моего. Силы уравновесивались, и по человеческой логике невозможно было предвидеть, куда склонится победа; следовательно, я мог предложить будущему очень определенные вопросы, что является необходимым условием, ибо, если многие жалуются на то, что оно им ничего не говорит, то это часто происходит оттого, что они вопрошают его в минуту, когда ничего не готовится на горизонте их существования.

Я последовательно посетил астрологов, хиромантов, падших и благодушных сибилл, которые хватают умением читать будущее в картах, в осадке кофе, в отвешивании яичного белка, распущенного в стакане воды, и т. п. (ибо ничем не нужно пренебрегать; и если аппарат иногда странный, то все же случается, что частица истины скрывается под самыми бессмысленными приемами). Но, главным об-

разом, я посещал самых знаменитых гадальщиц, которые под именем сомнамбул, ясновидящих, медиумов, умеют заменить свое сознание сознанием и даже отчасти бессознательностью тех, которые обращаются к ним; они, в сущности, самые прямые наследницы прежних пифий. Я встретил в этой неуравновешенной среде много обмана, притворства и грубой лжи. Но мне также пришлось наблюдать некоторые явления любопытные и бесспорные. Их недостаточно, чтобы решить, возможно ли человеку поднять завесу иллюзий, которые закрывают от него будущее, но они освещают странным светом то, что происходит в месте, которое мы считаем самым неоскверненным; я говорю о «святой святых погребенного храма», где наши самые сокровенные мысли и силы, таящиеся за ними и неведомые нам, появляются и исчезают помимо нас и на ощупь отыскивают таинственную дорогу, ведущую к событиям будущего.

Излишне было бы рассказывать, что со мною произошло у этих прорицателей и гадальщиц. Я ограничусь кратким отчетом о самом любопытном случае. Впрочем, он резюмирует большую часть других; и психология всех приблизительно одинакова.

Гадальщица, о которой идет речь, одна из самых известных в Париже. Она утверждает, что в состоянии усыпления воплощает душу неизвестной девочки, по имени Юлия. Заставив меня сесть за стол, отделивший ее от меня, она предложила мне говорить Юлии «ты» и обращаться с ней мягко, как с семи- или восьмилетним ребенком. После этого ее черные глаза, руки, все тело стали в продолжение нескольких секунд неприятно подергиваться, волосы ее распустились; выражение лица совершенно переменялось и сделалось детски-наивным. Ясный и звонкий детский голосок раздался из этой крупной и зрелой женщины и спросил меня, слегка пришепывая: «Чего ты хочешь? У тебя неприятности? Для себя ли ты пришел ко мне или для кого-нибудь другого?» — «Для себя». — «Хорошо; помоги мне немного; проводи меня мысленно туда, где находятся твои неприятности».

Я сосредоточил внимание на проекте, который занимал меня, и на отдельных актерах маленькой и еще скрытой драмы. Тогда, мало-помалу, после нескольких предварительных колебаний, причем я не помогал ей ни словом ни движением, она действительно проникла в мою мысль, стала в ней читать, точно в слегка затуманенной книге, очень точно определила местоположение происходящего, узнала главных действующих лиц, описала их общими чертами, по-детски непоследовательными и отрывочными, но странно-точными и верными. «Это очень хорошо, Юлия, — сказал я ей, — но все это я знаю; следовало бы раскрыть передо мной, что случится». — «Что случится... Вы все хотите знать, что случится; но это очень трудно...» — «А все же?.. Как кончится дело? Выйду ли я победителем?» — «Да, да, я вижу; не бойся, я помогу тебе; ты будешь доволен...» — «Но враг, о котором ты говорила мне, тот, который противится мне и хочет мне зла...» — «Нет, нет, он не тебе хочет зла, это из-за кого-то другого... Я не вижу ничего... Он ненавидит его, страшно ненавидит!.. И потому, что ты любишь того, другого, он не хочет, чтобы ты сделал то, что ты хотел бы сделать...» (Она говорила правду.) — «Но все-таки, — настаиваю я, — дойдет ли он до конца? не уступит ли он?» — «Не бойся его... Я вижу, что он болен, он недолго проживет». — «Ты ошибаешься, Юлия, я его видел третьего дня, он совершенно здоров». — «Нет, нет, это ничего не значит; он болен... Это незаметно, но он очень болен... Он должен скоро умереть...» — «Но когда и как?» — «На нем кровь, и вокруг него и везде кровь...» — «Кровь? Что же это? Дуэль? (Я одно время думал найти предлог и вызвать его.) Несчастный случай, убийство,

месть?» (Это был человек несправедливый, который причинил много зла многим людям.) — «Нет, нет, не спрашивай больше, я очень устала... Дай мне уйти...» — «Не раньше, чем я узнаю...» — «Нет, я ничего не могу сказать... Я слишком устала... Дай мне уйти... Будь добр, я помогу тебе...»

Такой же припадок, как и в начале, охватил тело, в котором замолк детский голосок; и сорокалетняя маска вновь покрыла лицо женщины, которая точно пробудилась от долгого сна. Нужно ли прибавить, что мы никогда не виделись до этой встречи и что так же не видали друг друга, как будто родились на разных планетах.

С менее характерными и менее убедительными деталями, результаты большинства опытов с действительно усыпленными гадалыщицами были, в сущности, подобны данному. Для особого рода проверки я послал к женщине, которую «Юлия» избрала своей толковательницей, двух знакомых, на добросовестность и ум которых я мог положиться. Подобно мне, им нужно было поставить важный и определенный вопрос, который только случай или судьба могли разрешить. Одному из них, вопрошавшему ее о болезни друга, Юлия предсказала близкую смерть; и события оправдали ее предсказание, хотя в ту минуту, когда она дала его, выздоровление казалось гораздо более вероятным, чем смерть. Другому, который спросил ее, как окончится процесс, она отвечала довольно уклончиво; но сама от себя открыла ему местонахождение предмета, который был очень дорог вопрошавшему, но пропал так давно, и поиски были так тщетны, что вопрошавший был убежден в том, что больше о нем не думал.

Что касается меня, то предсказание Юлии сбылось отчасти, т.е. хотя я не вышел победителем в главном, дело все же устроилось удовлетворительным образом в других отношениях. Смерть моего противника еще не приключилась, и я охотно освобождаю грядущее от обещания, которое оно дало мне невинными устами ребенка из другого мира.

Весьма удивительно, что можно таким образом проникать в последнее убежище нашего существа и там читать лучше нас мысли, чувства, иногда забытые или отвергнутые, но всегда живые или еще не выраженные. Поистине, может вызвать недоумение тот факт, что чужой человек заходит глубже нас в наше собственное сердце. Это освещает особым светом природу нашей внутренней жизни. Напрасно мы отражаем себя, замыкаем себя в себе, наше сознание не насыщается нами; оно ускользает и не принадлежит нам; и если нужны особые обстоятельства, чтобы другой проник в него и завладел им, то все же очевидно, что в нормальной жизни наше «внутреннее я», как его прозвали с глубокой интуицией, которая часто встречается в этимологии слов, является чем-то вроде форума, духовного рынка, где большинство тех, у кого там есть дело, свободно расхаживают, погружают взоры и выбирают истины особым образом, и гораздо свободнее, чем мы думали до сих пор.

Но оставим этот вопрос, не входящий в состав того, что мы изучаем здесь. Я хотел бы определить в предсказаниях Юлии часть неизвестного, чуждого мне самому. Пошла ли она дальше того, что я знал? Я этого не думаю. Когда она говорила мне о счастливом исходе дела, она говорила, в сущности, о том, что я предвидел, что могло, в крайнем случае, удовлетворить грубый эгоизм моего инстинкта, хотя моя воля, верная основному долгу, решила всем пожертвовать, лишь бы только ради мелкого личного торжества не изменить этому долгу. И поэтому замечательно, что в сообщениях подобного рода самый тайный голос инстинкта раздается отчетливее, чем голос самой определенной

воли. Так точно, когда она объявила мне о смерти противника, она только обнаружила тайное желание того же инстинкта, одно из тех постыдных и малодушных желаний, которые мы скрываем от нас самих, причем они не подымаются до нашей мысли. Предсказание было бы пророческим лишь в том случае, если бы, наперекор всякому ожиданию, всякому правдоподобию, эта смерть приключилась скоро после предсказания. Но, даже в этом последнем случае, мне кажется, что не лифия прозрела бы будущее, а я, мой инстинкт, мое бессознательное существо предвидело бы событие, тесно связанное с ним. Она читала бы во времени, не непосредственно, как во всемирной книге, где записано все, что должно случиться, а через меня, сквозь меня, в моем собственном прозрении, и только передала бы то, что моя бессознательность не могла сообщить моей мысли.

Я думаю, что то же самое произошло с теми двумя знакомыми, которые посетили ее. Тот, кому она предсказала смерть друга, имел, вероятно, несмотря на уверения разума дружбе, внутреннее, естественное или пророческое, но властно заглушаемое убеждение, что больной погибнет, и гадалка нашла это убеждение среди сладких надежд, пытавшихся ее обмануть. Что касается второго, неожиданно нашедшего потерянное, то трудно знать чужое настроение с достаточной точностью решения, было ли там ясновидение или просто воспоминание. Тот, который потерял данную вещь, может быть, не совсем не знал, где и при каких обстоятельствах он потерял ее. Он утверждает, что до того никогда не имел об этом ни малейшего понятия, что, напротив того, он был убежден, что вещь была не потеряна, а украдена, и никогда не переставал подозревать



одного из своих слуг. Но возможно, что бессознательная и как бы заснувшая часть его существа заметила место, куда вещь была положена, и помнила о нем, хотя его ум, его бодрствующее «я» не обратило на это никакого внимания. В таком случае, не менее удивительным чудом, хотя и другого рода, ясновидящая нашла и пробудила тайное и почти животное воспоминание и привела его к человеческому свету, дойти до которого оно напрасно пыталось бы.

Обстоит ли дело так же со всеми предсказаниями? Удовлетворялись ли тем, что отражали, передавали и подымали до мира понятного инстинктивное прозрение людей и народов, внимавших им, предсказания великих пророков, сибилл, пифий? Пусть каждый примет ответ или предположение, внушенное ему его собственным опытом. Я высказал свои, с простотою и искренностью, которых требует вопрос, касающийся природы сущего.*

Я повторяю: почти невероятно, чтобы мы не знали будущего. Я представляю себе, что мы стоим перед ним как перед забытым прошлым. Мы могли бы постараться вспомнить о нем. Разные факты намекают на то, что это не невозможно. Надо бы только открыть или снова найти дорогу к этой, предшествующей нам памяти.

Я понимаю, что нам не дано знать заранее о волнениях стихий, о судьбе планет, земли, царств, народов и рас. Это нас не касается прямо, и мы знаем об этом в прошлом только благодаря догадкам истории. Но то, что должно развиться в небольшой сфере годов, выделяемой нашим духовным естеством и объемлющей нас во времени, как раковина или кокон обнимает в пространстве моллюск или насекомое, это и все внешние события, связанные с этим, вероятно, записаны в этой сфере. Во всяком случае, было бы гораздо естественнее, чтобы оно было записано, чем понятно, отчего оно не записано. Тут действительность борется с иллюзией; и ничто не мешает нам верить, что здесь, как и везде, действительность в конце концов победит иллюзию. Действительность — это то, что случится с нами, так как оно уже случилось в истории, объемлющей нашу, в неподвижной сверхчеловеческой истории вселенной. Иллюзия — это непрозрачное покрывало, сотканное из быстротечных нитей, именуемых: вчера, сегодня и завтра, которыми мы затягиваем действительность. Но нет не-

* Другие лица, над которыми я производил свои изыскания, дали менее любопытные результаты, хотя того же порядка. Так, например, я посетил многих хиромантов. Глядя на роскошные квартиры этих пророков, читающих будущее по руке, которые, за одним почетным исключением, открывали мне одни пустяки, я уже хотел посмеяться над наивностью их клиентов, когда один из моих друзей указал мне, в переулке близ городского ломбарда, на квартиру такого пророка, который, по его словам, лучше всех уразумел и развил великие традиции науки Дебаролля и д'Арпентиньи.

В шестом этаже ужасного дома-муравейника, на чердаке, служившем и гостиной и спальней, я застал скромного старика, доброго и вульгарного, речь которого больше напоминала консьержа, нежели пророка. Я от него добился немногого, но людям более нервным, чем я, именно двум-трем женщинам, судьба и характер которых были мне достаточно известны, он с удивительной точностью открыл заботы, тревожившие их мысль и сердце, начертил главные линии их существования, указал на распутья, где их судьба медлила или меняла направление, поразительно верно угадал несколько почти анекдотических фактов (путешествия, любовные приключения, чужие влияния, случайные происшествия). Даже приглянув во внимание ту силу само-внушения, благодаря которой наше воображение, воспламеняясь от соприкосновения с тайной, немедленно определяет самое смутное указание, я все же должен сказать, что он нарисовал перед ними их прошлое и настоящее по плану несколько условному и символическому, но в столь верных чертах, что они, при всем их недоверии, вынуждены были признать в них рисунок своей собственной жизни. Что же касается его предсказаний будущего, я должен сознаться, что ни одно из них не сбылось.

Нет сомнения, в этих интуициях было нечто большее, чем случайное совпадение. Очевидно было, хотя в меньшей степени, то же нервное общение бессознательного с бессознательным, которое мы видим у сомнамбулы. С тем же феноменом я встретился у одной гадалки на кофейной гуще, но в форме более случайной и нервной, и поэтому я на этом случае не остановлюсь.

обходимости, чтобы все наше существо вечно оставалось рабом этой иллюзии.

Позволительно даже спрашивать себя, не было бы ли одним из главных поводов к удивлению для жителя иной планеты, который бы посетил нас, наше необыкновенное неумение познать что-то столь простое, неоспоримое, совершенное и необходимое, как будущее. Теперь это нам кажется до того невозможным, что нам трудно вообразить, каким образом достоверная действительность грядущего опережала бы возражения, которые мы ей делаем во имя органической иллюзии нашего ума. Мы, например, говорим ей: если бы в момент, когда мы предпринимаем дело, мы могли знать, что исход его будет несчастлив, мы не начинали бы его; и вследствие этого, раз где-то во времени должно быть написано до нашего вопроса, что дело не состоится, так как мы от него откажемся, мы не могли бы предвидеть исхода того, что еще не начиналось.

Чтобы не заблудиться на этой дороге, которая завела бы нас в место, куда ничто не призывает нас, нам достаточно будет сказать себе, что будущее, подобно всему сущему, вероятно, более связано и логично, чем логика нашего воображения, и что все наши колебания и нерешительности будут включены в его предвидения. Впрочем, мы можем быть уверены, что ход событий не изменился бы оттого, что мы заранее знали бы его. Во-первых, будущее или часть его знали бы лишь те, которые пожелали бы обременить себя трудом его познания, так же, как прошлое или часть своего настоящего знают только те, которые достаточно разумны и храбры, чтобы вопрошать его. Мы быстро применились бы к учению этой новой науки, подобно тому, как мы применились к учению истории. Мы вскоре стали бы отличать зло, которое мы могли бы избежать, от неизбежного. Самые мудрые уменьшили бы для себя сумму последних, а остальные пошли бы навстречу им так же, как они теперь идут навстречу многим очевидным бедствиям, которые легко предсказать. Сумма наших разочарований была бы немного уменьшена, но не настолько, насколько мы надеемся, ибо наш разум уже умеет предвидеть часть нашего будущего, если не с материальной очевидностью, о которой мы мечтаем, то, по крайней мере, с моральной достоверностью, часто удовлетворительной, и мы замечаем, что большинство людей не извлекает пользы из этих, столь доступных предвидений. Они пренебрегали бы советами будущего, как внимают, не следуя им, указаниям прошлого.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА — ВАЛЕРИЮ РОНЬШИНУ

Ну как не поверить в существование разных измерений? Редколлегия и жюри единодушно присудили премию имени Катаева выдающемуся русскому прозаику-мистiku **Валерию Роньшину**. Но вот открываем № 1 за нынешний год, вглядываемся в фотографии лауреатов — Роньшина нет среди них, тайные силы похитили фотографию и стерли текст. Пришлось ответственному секретарю произнести святое заклинание, и вот он, недостающий лауреат журнала 1994 года — Валерий Роньшин.

Смотрите, запоминайте, читайте этого замечательного автора в нашем журнале.





**Уж сколько их упало в эту
Бездну, разверстую в дали!**

М. Цветасва

Когда я взялся за изучение творческого наследия художественной группы «И.В.У.», то прежде всего мне бросились в глаза размытость очертаний и контуров в составе, идея, воплощения и смысле выставленцев художественного андеграунда. Все выставки многозначительны и многообусловлены, да и сам жрец и кормчий Бананов достаточно эфемерен и луннолик в своей многопрофессиональной трехгранности. Судите, однако, сами...



19 ноября сурового 1994 года в туманных джунглях московского спального гетто, под звуки житейских домовых и индустриальных барабашек, произошло одно, незначительное для человека и великое для нечеловеков, перформансное светопредставление в отдельно взятой местечковой галерее под кодовым именем «Беляево». Замкнулся круг Вселенского допотопства, и потоки художественного блюда забулькали на поверхности ума и безумия. Правду сказал один досточтимый: «Безумцу Фэбов кричим мы гимны!» Итак, Бананов коротко и ясно замкнулся на Малевиче и получил ИВУ, не древо познавательное, а совсем «Иной Вид Удовольствия», — худой и невежественный ТРУ... не «ТПРУ!» и не «ТРУ-ЛЮ-ЛЮ», а ТРУП.

Труд из круга создал квадрат, и человечество из ясного вошло в темное око ночи... Но прежде воплощения — в небесах играли флейты, двигались тени «Пришельцев с лудками» (коих горящими объектами изобразил худ. А. Федорчук). Так консорт флейт «FLAUT DOLCI» под управлением Сергея Корчагина порочно начинал в порыве «прорыва» грандиозное «Замыкание круга Сансары» в «Беляево». И в назначенный срок родился человек, чтобы пройти за 1,5 часа весь жизненный путь и возвратиться в чистилище.

Казимир Малевич родился однажды в студеную зимнюю пору во городе во Киеве. Лунноликий Бананов, по непроверенным сведениям, родился в Москве. «Беляевскую» легенду об этом в зале «Детства и Юности» поведали экспрессивной пластикой Тарас Бурнашов и Александра Конникова. Но долог был еще шоу-путь до (зала) «Зрелости». Казимира Малевича мама пока еще учила рисовать квадратики, а Бананов пока еще тусовался в детском садике со своими будущими сподвижниками Юрием Грошевым и Денисом Михайловым, которые и украсили зал «Детства — Юности» своим «детским творчеством».

Творчески незрелые акты Малевича все еще не приносили желанных плодов — ни импрессионизм, ни кубофутуризм. «Победа над солнцем» не случилась, и принцип коллективного творчества возобладал. Бананов же, музыкально сформулировав в дуэте с А. Якушиным эту «Прощай молодость», из эмиграции духовной окунулся в потусовочное бытие московской Богемии, заявив устами А. Аникина: «Ничто так не мешает художнику, как умение рисовать».

Персональная квартирная «Выставка Подарка» у Бананова, проходившая под девизом: «Дари, чтобы не было мучительно больно...», предъявила зрителям вещественные доказательства теплой дружбы друзей еще с детского сада. Это был отчет детства перед неминуемо надвигающейся зрелостью.

— Прощай молодость, — как бы

Владимир ЦАПИН



декламировал отчаянный Бананов, бросаясь, то в пучину кабацкой «Потусовки на Малой Грузинской», то в «Новогодний беспредел в ЦДХ», с распитием водки из елочных «кремлевских звезд», что привело его к апогею броуновского творческого подвижничества и передвижничества — в муниципальную галерею «Кунцево», где долгожданная «Весна — местами КРАСНА» от жара космического эроса и возбуждения и где художественная ТРУП-ПА «И.В.У.» со лживой утопией и гнилым оптимизмом концептировала образ-символ Весны — «бой-бабы» — «бабищи» — «лихой девки» — «гулящей» — «блудницы» — «гологрудой Свободы» — «жрицы сексмагии» — «баядерки» и «гейши»...



и — уф! — тут-то Бананов, зараженный идейным оптимизмом неумолимого директора Всероссийского общества скрытого типа «Малевич-центр», Марины Текманжи (есть такой центр под Москвой), уже окончательно созревает и естественным путем попадает в зал «Зрелости».

Зрелый же, тридцатитрехлетний, кубофутурист Малевич, в азарте творческой игры делает ставку на «Бубновый валет» и выигрывает. Его «Черный квадрат», этот шедевр выразительного концепта, убил в искусстве предельно постижимую простоту холста, оставив авангарду возможность лишь отступать тропками небытия.

Отступая в спешном порядке, Бананов решается на отчаянный шаг, замыкая порочный круг, поглощенный бездонной черной дырой Малевича и Текманжи, он совершает «Короткое замыкание круга Сансары», т. е. художественный перфоманс «от порочного зачатия — к порочному зачатию» через статичный и динамич-

ва и портретов инопланетных «большоголовых» Дениса Михайлова.

Жизнь окончена. Начинается зал «Чистилища» и «Загробный зал». Если домысливать легенду, то Бананову тут в будущем объяснят, в чем он заблуждался, организовывая «потусовочные

Бананов один в трех лицах, а таких потомки чтут — в квадрате, в кубе, в конвертируемой валюте, непорочно размножают и продают, расширяя и зачерняя черноту черного квадрата человечества. А пока душа его¹ очищается, Сергей Тененбаум играет тихую и глубокую космическую музыку, Дмитрий Кожеников демонстрирует свои свисающие бестелесные и бесполое «сталактиты» моделей наномира, это по сути малевичские «архитектоны» на уровне микромира атомов и молекул, что, на взгляд авторов, отражает загадочные «метаморфозы контурного мира», превращая микромир в макромир, а микрокосм мысли автора в макрокосм восприятия адепта.

Продолжая развивать легенду о Бананове, предположим, что, очистившись, наконец, в зале «Чистилища», душа его перейдет в «Загробный зал». Там, на фоне метафизической живописи Крестьяна Айхенберга его встретит райскими песнями, литургией Бортиянского и Чеснокова, женский вокальный ансамбль московского музыкального



Сергей Тененбаум (Бананов)



ный (экспозиционный и театрально-музыкальный) образный показ художественно смоделированной единичной реинкарнации человека.

Легенду об этом великом подвиге нашего героя изображали в зале «Зрелости» И. Исаев и Т. Колядов, а Николай Горелов представил *фотографики* о мифологическом вожде муз Бананове. Графика Михаила Краевского представляет Бананова-Гаутаму, растворенного в пустоте сущего, где самого Бананова, как личности, уже нет. На этом история Бананова прерывается. Где он будет перфоманчить и перфоманствовать, с кем он будет иметь «Иной Вид Удовольствия», статично или динамично, — неизвестно. Известно только, что Малевич, в пору старости замученный супрематизмом, наконец, порывает с ним и беспредметно кончает жизнь в Ленинграде. А в зале «Старости», Евгений Марианович Шварц с тремя партнершами, под аккомпанемент Сергея Тененбаума, отплясывает супрематический вальс на фоне юродивой графики Лены Зубко-



выставки», и где в зале «Зрелости» он слюкавил сверх всякой меры, и отчего в зале «Старости» у него не хватило духу признаться в собственной беспомощности, короче, подведет итог и баланс жизненных успехов и промахов, и будут взимать строго по счетчику — и как с отца-продюсера, и как с сына-художника, и как с духа-музыканта.

колледжа под управлением Н. Б. Буяновой. И там душа его², очистившись от скверны, будет готовиться, при содействии высших сил³, к дальнейшему воплощению. (Как когда-то душа Малевича готовилась воплотиться в Бананова.) Ведь не родившись, не будешь ребенком, а не пройдя детства, не станешь взрослым.

Я не брал на себя столь высокую миссию — проанализировать жизнь человека до смерти и после нее. Я попытался поведать легенду о Бананове, которую помогли мне создать: Сергей Тененбаум, Международная федерация художников ЮНЕСКО, творческое объединение «Малевич-центр» и художественная труппа «Иной вид удовольствия» совместно с галереей «Беляево».

1 Душа — исп. Оля Логинова, ведущая студии театра танцев Центра досуга и творчества на Полянке.

2 Душа — исп. Валерия Солонина, артистка театра «+1».

3 Высшие силы — исп. Колядов и Исаев, артисты театра «+1».



СПОСОБОМ «С БОДУНА»

Мировая поэзия знает немало всяких забавных и хитроумных способов слагания стихотворений. Одни поэты предпочитали писать лежа, другие — стоя за конторкой. Маяковский использовал автобус — езда по московским улочкам двадцатых годов задавала необходимый ритм его стихам. Кто-то предпочитал писать утром, после чашки кофе, кто-то вечером, после чая, а для кого-то рабочим днем стала темная ночь, «когда все доброе ложится, а все недоброе встает», как справедливо отмечал классик. Есть и замечательный способ — писать «с бодуна». Многие ошибочно предполагают, что выражение это принадлежит жаргону или, как сейчас стали научно выражаться, сленгу. Однако Дм. Громов из моего родного и любимого Подмоскovie, точнее — из весьма известных Люберец (опубликован впервые на «Задворках» прошлогоднего апрельского номера), исследуя древние рукописи, отыскал в их ворохе искусно нарисованные на китайском натуральном шелку иероглифы. Быстро ос-

воив китайский, изыскатель перевел незнакомые тексты на русский язык, и что же оказалось?! Перед ним лежали стихи! Их автор был широко известный до нашей эры поэт Бо Дун. Вот некоторые вехи его автобиографии. Родился в эпоху Тан, в детстве служил посудомоем в харчевне некоего Чжу. Став взрослым, сохранил к «старикашке Чжу» теплую и бескорыстную привязанность. В зрелом возрасте «попал в случай» и сделал неплохую придворную карьеру, что совершенно естественно для китайцев той эпохи. С императорской миссией совершил поездку в отдаленные страны. Трагически погиб в возрасте 78 лет, отравившись кислым вином. По преданию, на его могильном камне была высечена строчка из его творчества: «Я буду всегда». Как живой свидетель, готов подтвердить: это сущая правда!

А теперь — для более полного представления о китайском классике — несколько миниатюр, любезно переданных мне Дм. Громовым (лично).

*Нес из харчевни старого Чжу
флягу с красным вином.
Выпала фляга из слабых рук,
разбилась на черепки.
Голову безутешно склонил,
сизжу в дорожной пыли.
Вот влагой кровавой набух песок,
но выпить его нельзя!!!*

*У старикашки трактирищика Чжу
сотня кувшинов с вином.
А у меня, у славного Бо,
сотня отличных стихов.
Разве позволит мой старый друг
от жажды мне умереть?
Разве не рад я ему отдать
все то, что есть у меня?*

*Три года прошло с тех пор, как я
шел в компании Чжу.
Уж третий час, не мигая, гляжу
туда, где родная страна.
А здесь, на чужбине, страшно,
темно,
холодно — жить нельзя.
Падает снег, завывает пурга.
Площадь, брусчатка, Кремль...*

*Гуляя по горным склонам, нашел
первый весенний цветок.
Принес его в свой бамбуковый дом
и до утра созерцал.
Я умащал духами его
и поливал вином.
Увы, все тщетно — цветок увял.
Плохо ему среди нас...*

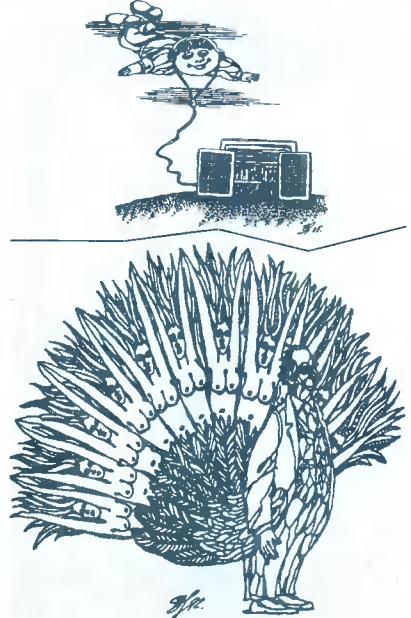
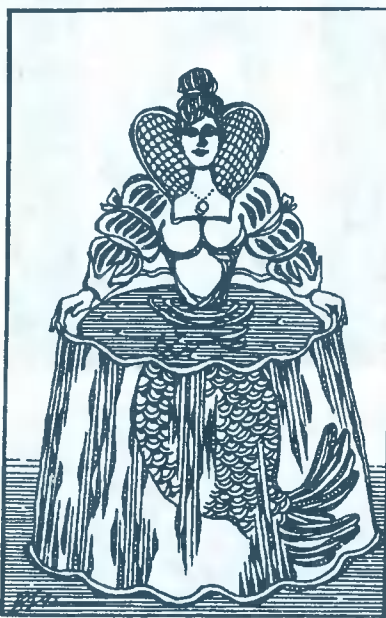
*Лежу в излучине Хуанхэ,
забыл уже сколько дней.
Ночью слежу движение звезд
и огни кораблей.
Днем обучаюсь у науки
полетам среди листьев.
Все спутал: день с ночью,
лето с зимой,
запах хлеба со вкусом травы.*

*Я прибыл в столицу из дальних мест
взглянуть на Великий Дворец,
За императора выпить вина,
выпить вина за Китай.
Лежал на лужайке перед Дворцом,
но грозный стражник пришел...
Не понял мой душевный порыв
этот поганный мент...*

Итак, выявлен основоположник. Полагаю, читатели почуют аромат Бо Дуна, который — тут он, конечно, прав — «будет всегда». Теперь очередь за последователями. Их к нам на «За-



Сегодняшний наш
"тур карикатур"
представлен работами
**Владимира
СЕМЕРЕНКО**
из Санкт-Петербурга.



Заспанный восход
В запахе росы...
Здравствуй, черный кот,
Кот моих невзгод.
Холодно и скользко.
С далью не считаясь,
Выезди, повозка,
Прошлое из мозаи...

*А ко мне подошел манекен
И сказал: «Кореш, дай закурить».
«Я согласен, но только в обмен,
Если дашь свой костюм*

пальто.
Я всю зиму кантуюсь в плаще».
Он сперва удивился, как смог,
И со скрипом кивнул на склады:
«У меня там течет потолок».
Я ответил не глядя: «Лады».
Без усилий почти удалось
На халтуре его провести.
Он сказал: «Ты сегодня мой гость.
Забирай,

*В каждом чете узнавая нечет,
Может быть, когда-нибудь
пойму
То, что все всему противоречит,
Не противоречо ничему...*

Поезд следует в дуло,
заползает сонной мухой.

Кому _____
(Фамилия, инициалы)

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе появляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала "Юность"

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал "Юность" обязательна.
К сведению уважаемых авторов:
редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.
Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах
обращаться в издательство "Пресса" по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. "Правды", 24.

Формат 84X108 1/16.

Тираж 32100

экз. Заказ № 176

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-74-60.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:
(342) 25-98-80 (г. Пермь).

© "ЮНОСТЬ", 1995 г.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Таисия ПЬЯНKOBA

Онегина звезда.

Повесть 2

Геннадий ГОЛОВИН

Жизнь иначе.

Повесть. Начало 10

Рустам ГАДЖИЕВ

Всадник с молнией в руках.

Повесть 62

ДОМ ПОЭТОВ

Сергей КОЛБАСЬЕВ 56

Задворки Дома поэтов 94

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений САБУРОВ

Святые Кирилл и Мефодий как
идеологи авангарда 7

Григорий ДУПЛЕНСКИЙ

Гений посредственности 41

Николай УЛЬЯНОВ

Замолчанный Маркс 44

Морис МЕТЕРЛИНК

Погребенный храм 84

20-я комната 92

КОНКУРС «УЗДА ДЛЯ ПЕГАСА»

Стихи

Маргариты МАНУШЕВИЧ ... 82

К НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ 83

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Карикатуры

Владимира СЕМЕРЕНКО 94

На стендах «ЮНОСТИ»

Россия возвращается к корням. Возрождается многое уже успевшее кануть в лету. И на арт-мир накатываются новые волны русского реализма, явственной наступает эпоха посткойцептуального искусства, возвращающая нас к подлинно русским культурным ценностям на переломном этапе, когда авангардные эксперименты в стране выдохлись и стали вторичными для ее художественного осмысления бытия.

На этом фоне стала актуальной живопись художника Алексея Алексеева, демонстрирующего приверженность к колоритной пейзажной лирике XIX века и к скромным и строгим городским пейзажам. Увлеченность Алексеева пейзажной темой не случайна. Художник учился на худграфе МГПУ, продолжая традиции старой школы.

У Алексеева глубокие творческие корни, его отец, старшие брат и сестра — профессиональные художники, сторонники реализма. Насыщенная художественная атмосфера с детства определила раннее формирование его живописного стиля. Любимыми художниками для него всегда были Левитан, Коровин, Серов.

Активная выставочная деятельность помогает Алексееву в осознании своего места в мире искусства. Не так давно прошла его выставка «На стендах «Юности».

Владимир Цапин



«Букет». Холст, масло.



«Последняя осень». Холст, масло.



«Вечер. Сретенский бульвар». Холст, масло.

Клиентам, особо требовательным к изысканным художественным изделиям, мы предлагаем:

- фарфоровые и майоликовые камины;
- фарфоровые люстры и бра;
- светильники, рамы для зеркал;
- декоративные плакетки, блюда, вазы любых размеров и форм;
- чайно-кофейную и десертную посуду ведущих авторов «Гжели».



Творческие работы наших мастеров, полный ассортимент изделий могут предложить только фирменные магазины «Гжель».

Гжельские изделия расписываются только вручную.

Фирменные торговые точки в Москве

1. Представительство и фирменный магазин, постоянно действующая выставка-распродажа. Лихов пер., д. 12/2, тел. 299-29-53.
2. «Совинцентр». Краснопресненская наб., д. 12, тел. 253-23-59.
3. Гостиница «Славянская». Бережковская наб., д. 2, тел. 941-89-68.
4. Кинотеатр «Красный Октябрь». Вишневая ул.
5. Фирменный магазин «Гжель». Московская обл., пос. Электроизолатор, д. 52, тел. 5-95, 64, 220-68-99, доб. 278.

Крупные универмаги Москвы, торгующие изделиями Гжели

1. ГУМ. Красная площадь, д. 3, тел. 926-34-03, 921-78-62.
2. Магазин «Арбатская Лавица». Арбат, д. 27, тел. 290-46-69, 290-56-89.
3. Универмаг «Бухарест». Ул. Каховка, д. 18, тел. 121-74-11.
4. Универмаг «Вешняки». Вешняковская ул., д. 18, тел. 374-99-95.
5. Магазин-салон «Русский сувенир». Кутузовский пр., д. 9, тел. 243-64-95.

